С. В. Максимов

КРЫЛАТЫЕ СЛОВА




С. В. Максимов

КРЫЛАТЫЕ СЛОВА






МОСКВА «ТЕРРА» — «TERRA» 1995

ББК 81.2Р
М15

Художник
И. САЙКО

Максимов С. В.
М15 Крылатые слова. — М.: ТЕРРА, 1995. — 512 с.
ISBN 5-300-00158-9

Сергей Васильевич Максимов (1831—1901) — очеркист, этнограф и путешественник, в истории российской литературы известен как талантливый писатель и знаток народной жизни. В его книге «Крылатые слова» приведены разъяснения многих русских идиоматических выражений, показано, как в глубинах языка отражается история народа.

М $\frac{4602020101-207}{А30(03)-95}$ Без объявл.

ББК 81.2Р

ISBN 5-300-00158-9

ПРЕДИСЛОВИЕ

В одном из суворинских календарей помещен был объяснительный список тех изречений и слов, взятых из иностранных языков, которые часто употребляются в различных газетных и журнальных статьях. Эти чужие замечательные мысли, в немногих словах высказанные по большей части латинскими классиками, конечно, потребовали не только перевода, но и указаний на первоначальные источники, как корень и причину их происхождения. Для незнакомых с иностранными языками, для громадного большинства газетных читателей, вовсе не знающих латинского языка, тот календарь по истечении года не был забыт и брошен, как вчерашняя театральная афиша, а сделался настольной справочной книгой. В ней газетный читатель мог находить объяснение мимолетных выражений из мертвых языков от изъезженных «suum cuique», «sapienti sat», «dixi» и тому подобных до недавнего внушительного возгласа отставного железного германского канцлера «beati possidentes».

Я задался подобной же задачей, но сделал опыт в противоположном направлении, остановившись для объяснений не над учеными и книжными апофегмами, а над теми мимолетными разговорными, так сказать, летучими и крылаты-

ми словами и ходячими выражениями, которые исключительно принадлежат отечественной речи, имеют корень в русском разнообразном мире и даже получили значение народных пословиц и поговорок. С наибольшим вниманием необходимо было (само собой разумеется) остановиться на толковании тех из них, которые, в переносном смысле, с утратой первоначального, оказались либо темной бессмыслицей, либо даже совершенной чепухой. Иные из этих изречений, принятых по на́слуху и на веру, но непонятных, не только бессознательно и безотчетно срываются с языка в обиходной разговорной речи, но также ежедневно проникают в журнальную и газетную печать, уже как бы по навыку узаконенными и, по-видимому, для всех и каждого обязательными к разумению.

Конечно, по самому смыслу основной задачи, не привелось рыться в классических сочинениях, а необходимо было обращаться прямо к живому источнику текущей народной жизни, к народным преданиям, верованиям и сказаниям — и всего чаще к отечественной старине, когда родилась и сама пословица и придумались всякие поговорки, то есть во времена первобытной простоты речи.

Объяснения одних выражений и слов следовало искать в юридическом быте древней Руси, в приемах розыскного процесса с отвратительным полосованием человеческих спин (слова «подлинный», «подноготный», «московские правды» и т. п.). Толкование других выражений и пословиц можно было найти в мирно налаженной и спокойно текущей струе сельской жизни, свободной в ее бытовых проявлениях: земледельческих, промышленных, ремес-

ленных и т. д. (таковы выражения: «баклуши бить», «попасть впросак», «лясы точить», «нужда заставит калачи есть», «ни кола — ни двора», «канитель тянуть», «у черта на куличках», «сила солому ломит»). Смысл третьих подсказывается и восстанавливается доселе сохранившимися (и лишь отчасти исчезнувшими, но памятными) народными обычаями и верованиями (слова: «чересчур», «чур меня»; выражения: «семь пятниц на неделе», «горох при дороге», «на улице праздник» и прочее). Многие из бытовых пословиц оправдываются бывалыми событиями, успевшими облечься в форму притчей и в некоторых случаях анекдотов («собаку съел», «на воре шапка горит», «вора выдала речь», «огонь и попа жжет», «семипудовый пшик», «хоть тресни» и другое). Этим последним способом с полной откровенностью народ поспешил объяснить и оправдать свои недостатки и характерные свойства: «задний ум», «русский дух», «русские сваи»; что вообще значит — делать и поступать по-русски, «привечать, угостить» и т. д. Среди всех подобных выражений (вообще сравнительно небольшого количества) в замечательно редких случаях доводится искать толкований в языках соседствующих с нами инородцев (вроде: «кавардак», «алала», «ни бельмеса»), а поиски за словами, вкравшимися в русский язык из европейских языков, составляют уже особенный самостоятельный труд, предстоящий в будущем. Теперь представляю, кстати, лишь несколько образчиков («галиматья», «в мае родиться», «камень в воду» и прочее).

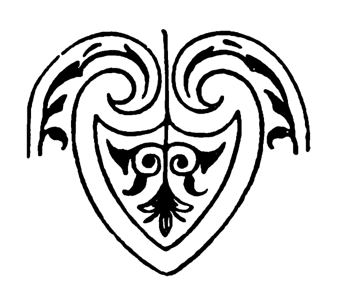
Углубляясь в дремучий и роскошный лес родного языка, богатого, сильного и свежего, краткого

и ясного, на этот раз, конечно, довелось пробраться лишь по опушке его. Здесь легче было осмотреться, пересчитать все, что было наглазным, и произвести исследования и дать описание (одному из первых) — всему многочисленному разнообразию родов, видов и пород до валежника включительно.

При объяснении темных слов и непонятных выражений пришлось остановиться на тех из них, которые подсказаны были личной памятью либо подхвачены на лету при случайных беседах, либо указаны запросами лиц, обративших внимание на эту работу. В значительной доле сослужил делу драгоценный памятник отечественного языка: Толковый словарь живого великорусского языка В. И. Даля, и, конечно, не раз случилось прислушиваться к тем объяснениям, которые даны были раньше, с целью их поверки и оценки. Те и другие необходимо было принять, по старой памяти и школьной привычке, как классный урок по предмету русского языка: стараться разгадать эти своеобразные темы как загадки, по мере сил и разумения, и явить скрытую тайну в полном освещении с надлежащей обстановкой и обязательными подробностями. Если, по Св. писанию: «когождо дело явлено будет — день бо явит», то по народной пословице: «загадка — разгадка, а в ней семь верст правды». Quod potui — feci, — скажу древнейшим и авторитетным крылатым выражениям из совершенно чужого языка (хотя бы оно и достаточно уже попорхало по белу свету): faciant meliora potentes!




КРЫЛАТЫЕ СЛОВА






Долетают до слуха отрывочные выражения из разговора двух встречных на улице про третьего:

— Сам виноват: век свой бил баклуши — вот теперь поделóм и попался впросак.

— Грех да беда на кого не живет — огонь и попа жжет. Погоди: будет и на его улице праздник.

Эти жесткие выражения упрека и мягкие слова утешения, принятые с чужих слов на веру, до такой степени общеизвестны, что во всякое время охотно пускаешь их на ветер, не вдумываясь в смысл и значение. Равным образом и сам их выговоришь не одну сотню раз в год, в уверенности, что поймут другие: можно смело пройти мимо. Мало ли вращается в обыденных разговорах разных метафор, гипербол, пословичных выражений и поговорок? — За всеми не угонишься.

Впрочем, мы на этот раз общему примеру не последуем, хотя бы и по тому поводу, что в иной поговорке слышится совсем уж бессмыслица: будто бы огню дано особое преимущество и попа жечь, а, стало быть, может найтись и такой, пред которым бессилен горящий и палящий огонь.

Да, наконец, что это за баклуши, и какой такой просак? И где эта улица, на которой, кроме места для прохода и проездов, полагается еще и праздничное время?

Любознательные пусть не скучают тем, что им придется по примеру русского мужика, который для тех поговорок до Москвы ходил пешком и при этом износил трое лаптей, — углубиться в давно прошедшие времена и побывать в местах весьма глухих и отдаленных.

ОГОНЬ ПОПА ЖЖЕТ

В смутное время Московского государства или в народную *разруху* не только потрясена была русская жизнь в корень, но и сдвинута со своих оснований.

Когда, с призванием дома Романовых, все понемногу начало успокаиваться, и все стали осматриваться и принялись чинить разбитое и разрушенное, — появилось первое стремление к новшествам. А так как русский человек издревле жил преимущественно верою, то в этой области и обнаружились первые попытки исправления и первые нововведения. К тому же, приводилось улучшать, приводить в порядок и ставить все на меру лицу духовному — царскому отцу патриарху Филарету Никитичу. Будучи *великим господином*, он в церковных и религиозных делах действовал как знаток и разбирался как могущественный и полноправный хозяин. В его *памятях и грамотах* мы находим и первые следы появившегося в народе духа сомнения и попыток идти вперед к чему-то новому и неизвестному, и его крутых святительских мер к искоренению уклонений в народном быту и искажений в церков-

ных обычаях и обрядах. Особенную строгость и требовательность Филарет предъявлял лицам духовного сана и чина, желая от них неусыпных наблюдений за паствою: напоминал старые указы, писал новые, доходил до искоренения вековых народных понятий, основанных на обычаях, суевериях и предрассудках. Обращал он внимание и на такие мелочи, которые ускользали от близоруких или присмотревшихся глаз, и на такие народные привычки и свойства, пред которыми все писаные указы всегда были бессильны. Не разрешил он отпевать и хоронить по церковному обряду тех, кто вином опьется, купаючись утонет, с качелей убьется; не позволял третьего брака и т. п.

Конечно, и после этих указов миряне продолжали жить с некрещеными женами, женились на тех, которые находились с ними в кумовстве и сватовстве, качались летом на качелях и на зимних святках надевали хари, а поповские старосты самих блюстителей нравов, то есть духовных чинов, *которые пьют и бесчинствуют*, хватали в кабаках и правили пени по два рубля, по четыре алтына, по полутора деньги с каждого.

Уряжая с уверенною строгостью писаными указами живучие и шаловливые нравы, патриарх, подумавший и о благочинии церковном, озаботился, между прочим, об замене рукописных служебных книг и разослал по церквам печатные для просвещения и многолетнего государского здоровья.

Чтобы *имя Божие славилось и за государей Бога молили*, раздавали те книги по собственным

церквам и монастырям и торговым людям в лавки за ту цену, во что те книги стали в печати, без прибыли. Так, например, за триодь постную брали 1 рубль 8 алтын и 4 деньги, за цветную 1 рубль 18 алтын, за минею — 1 рубль 10 алтын, за часовник полуполтину. Разослали в то же время с нарочными людьми и печатные служебники и потребники.

Это было в 1622 году. Чрез три-четыре года (1626), после того как разослали новые печатные служебники, спохватились: стали отбирать их и исправлять в них роковую опечатку, которая, как тать в нощи, подкралась и сильно огорчила. Начались розыски и хлопоты и на печатном дворе в Москве, и по ближним и дальним уездам. Поехали по церквам поповские старосты, стали отбирать и печатные, и рукописные служебники и потребники. Смутились всего больше старики-попы, натвердившие молитвы и возгласы по старым *памятям*. Стали примечать и миряне что-то недоброе в поповских делах и прислушиваться. Объявилась суетня и начались хлопоты из-за этого одного слова: и стало то слово велико и страшно, и изнести его не всякому оказалось под силу и в должную мощь по велению.

В служебниках печатных и служебниках письменных, писанных с печати, в возгласе на освящение воды в навечерие Богоявления было сказано: «Сам и ныне, Владыко, освятив воду сию Духом твоим святым и огнем». Теперь велено прилог «*и огнем*» уничтожить и не говорить, и чтоб старый поп не натыкался, а бойкий и грамотный — не набегал на это слово, указано его

замазать (пишущему эти строки доводилось в архангельских церквах видеть это слово в книгах дониконовской печати заклеенным бумажкой).

Указ исполнили. Описывали нижегородские десятины Костромского уезда, города Кинешмы и Кинешемского уезда поповские старосты (то есть благочинные): «Привез воскресенский поп Стефан Дементьев с посаду и из уезду десять служебников печатных, да служебник письменной, да потребник печатной. Что приложено в них было прилог «огня» в водосвящение богоявленские воды в молитве: Сам и ныне Владыко, освятив воду сию Духом твоим святым, а прилог *огня в том в одном месте в них замазали»*. И такие операции произвели в 12 случаях (см. «Русская Историческая Библиотека», изд. археологическою комиссиею, т. 2, Спб., 1875, № 221).

Успокоились таким образом на том, что замазали чем-то слово в книгах; но что могли предпринять против языка поповского, который, как и у всех простецов, оказался без костей и молол по навыку? Легкое ли дело с таким легким словом бороться, когда натвердело оно в памяти и закреплялось на языке не один только раз в году, именно, за вечерней под Богоявление, а срывалось с перебитого языка и пред Иорданью на другой день, и во многие дни, когда приводилось освящать воду в домах по заказу, и на полях по народному призыву, и на Преполовение, и на первого Спаса по уставу, и в храмовые и придельные церковные праздники для благолепия и торжества перед литургиями. Если начать приво-

дить на память все водосвятные дни и всему числу молитв этих подводить точный счет, то окажется весьма затруднительным.

Стали спотыкаться на этом лишнем и запретном роковом слове чаще всех, конечно, старики-священники. Как его не вымолвить, когда сроднился с ним язык? Старый священник, хотя, по пословице, воробей старый, которого на мякине не обманешь, да и слово — тоже воробей: вылетит — не поймаешь. Стало быть, тут спор о том, кто сильнее? Догадливый и памятливый стережется не попасть впросак. Идет у него все по-хорошему, начинает истово и ведет по уставу *косно, со сладкопением, не борзяся*, а попало слово на глаза, то и пришло на мысль, что приказано: говорить его или вовсе не говорить? А легкое слово тем временем село на самом кончике языка: и сторожит, и дожидается, когда ему спрыгнуть придет черед и время, и вылетит, что воробей: лови его! Да изымется язык мой от гортани моея! В книге-то слово запретили, а в памяти тем самым закрепостили еще больше. А тут вон и свидетели беды такой обступили со всех сторон; другие даже нарочно и уши насторожили, словно облаву сделали, как на какого-нибудь красного зверя.

В самом деле, как на тот раз и свидетелям быть спокойными и безучастными: скажет поп это слово и точно горячий блин схватил или проглотил ложку щей с пылу горячих. Потянул с силой воздух, тряхнул головой; иной и ногой с досады пристукнул и плечами покрутил. Обидчивый, с досады, надумал поправляться и опять

налетал на беду, — никак ему с этого слова не сорваться. И дивное-то дело: смотрит поп в книгу, пред ним слова стоят, а он про огонь вспоминает, про огонь говорит. И на воду глядит и ее видит, как быть ей надо, а, к удивлению всех, называет ее огнем. Так и сложилась в то время (и до нас дошла) насмешливая поговорка: *в книгу глядит (или на воду глядит), а огонь говорит.* С тех самых пор начал огонь *жечь попа* в особину, в исключение пред другими. Стала ходить вековечная, несокрушимая в правде пословица о неизбежности для всякого человека беды и греха, с новым привеском, вызванным полузабытым мелким историческим случаем. Впрочем, только этой незлобивой насмешкой народ и покончил с церковным словом, смущавшим священников, но сам нисколько не убедился в том, чтобы легкой помаркой можно было покончить с великим смыслом и глубоким значением самого слова и объясняемого им предмета. С огнем не велит другая пословица ни шутить, ни дружиться, а знать и понимать, что он силен. Силен живой огонь, вытертый из дерева, тем, что помогает от многих приток и порчей с ветру и с глазу, а между прочим, помогает при падеже скота, если провести сквозь него еще не зачумленную животину. Божий огонь, то есть происшедший от молнии, народ боится тушить, и если разыграется он в неудержимую силу великого пожара, заливает его не иначе как парным коровьим молоком. Огонь очищает от всякие скверны плоти и духа, и на Ивана Купалу прыгает через него вся русская деревенщина, не исключая и петербургских, и за-

граничных немцев. Святость огня, горевшего на свече во время *стояний* на чтении 12-ти Евангелий в великий четверг признается и почитается даже в строгом Петербурге, и непотушенные свечи из церквей уносятся бережно на квартиры. В местах первобытных и темных, где, как и в Белоруссии, языческие предания уберегаются цельнее, почитание огня обставляется таким множеством обрядов, которые прямо свидетельствуют о том, что в огне и пламени не забыли еще старого бога Перуна. На Сретеньев день (2 февраля) в тех местах в честь огня установился даже особый праздник, который и зовется *громницей*.

В юридических обычаях еще с тех времен, когда люди находились в первобытном состоянии, огонь служил символом приобретения собственности. Вожди народных общин, вступая а новые земли, несли горящие головни, и вся земля, которую они могли занять в течение дня с помощью огня, считалась собственностью племени. Так как огнем же добыты от лесов пашни и у нас по всей Руси, то по этому в древних актах населенные при помощи таких способов места постоянно называются огнищами и печищами. Около очага, то есть около одного огня, группировались потом семьи; из них вырастали целые села. Появилось в древней Руси прозвание пахарей огнищанами, справедливое в обоих значениях: и от очага и дыма, и от расчистки срубленного и спиленного леса. Сохранилась до сих пор в костромских лесах огнищевая соха, которая легче прыгает через древесные корни по новинам, потому что у нее сошник или лемех

прямой, то есть не укрепленный под известным углом, нáкось.

Впрочем, если вообще около огня походить — долго не кончить: велики ему честь, хвала и почитание среди православного русского народа до сего времени.

ВПРОСАК ПОПАСТЬ

Попасть впросак немудрено каждому, и всякому удается это не одну тысячу раз в жизни, и притом так, что иногда всю жизнь те случаи вспоминаются. Между прочими, попал впросак тот иностранец, который в нынешнем столетии приезжал изучать Россию и, увидев в деревнях наших столбы для качелей, скороспело принял их за виселицы и простодушно умозаключил о жестоких варварских нравах страны, о суровых и диких ее законах, худших, чем в классической Спарте. Что бы сказал и написал он, если бы побывал в городе Ржеве? Побывши в сотне городов наших, я сам чуть-чуть не попался впросак, и на этот раз разом в два: и в отвлеченный, и в иносказательный, и в самый настоящий. Расскажу по порядку, как было.

Шатаясь по святой Руси, захотелось мне побывать еще там, где не был, и на этот раз — на Верхней Волге. С особенной охотой и с большой радостью добрался я до почтенного города Ржева, почтенного главным образом по своей древности и по разнообразной промышленной и торговой живучести. Город этот, старинная

«Ржева Володимирова», вдобавок к тому, стоя на двух красивых берегах Волги, разделяется на две части, которые до сих пор сохраняют также древнерусские названия: Князь-Дмитриевской и Князь-Федоровской, — трижды княжеский город. Когда все старинные города лесной новгородской Руси захудали и живут уже полузабытыми преданиями, Ржев все еще продолжает заявляться и сказываться живым и деятельным. Не так давно перестал он хвалиться баканом и кармином — своего домашнего изготовления красками (химические краски их вытеснили), но не перестает еще напоминать о себе яблочной и ягодной пастилой (хотя и у нее нашлась, однако, соперница в Москве и в Коломне) и под большим секретом — погребальными колодами, то есть гробами, выдолбленными из цельного отрубка древесного с особенным изголовьем (в отличие от колоды вяземской), за которые истые староверы платят большие деньги. Не увядает слава Ржева и гремит главнейшим образом и в приморских портах ржевского прядева судовая снасть, парусная бечевка и корабельные канаты: тросты, вантросты, кабельты, ванты и ходовые канаты для тяги судов лошадьми. Эта слава Ржева нескоро померкнет. Не в очень далеких соседях разлеглась пеньковая смоленщина, которая давно проторила сюда дорогу, и по рекам и по сухопутью, и с сырцовой пенькой и с трепаной, а пожалуй, и с отчесанной.

Обмотанными той или другой густо кругом всего стана от низа живота почти по самую шею, то и дело попадаются на улицах молодцы-пря-

дильщики (встречных в ином виде и в другой форме можно считать даже за редкость). Промысел городской, таким образом, прямо на глазах и при первой встрече. Полюбовались мы одним, другим молодцом, обмотанным по чреслам, пока он проходил на свободе: сейчас он прицепится и мы его в лицо не увидим.

В конце длинного широкого и вообще просторного двора установлено маховое колесо, которое вертит слепая лошадь. С колеса, по обычаю, сведена на поставленную поодаль деревянную стойку с доской струна, которая захватывает и вертит желобчатые, торопливые в поворотах шкивы. По шкивной бородке ходит колесная снасть и вертит железный крюк, вбитый в самую шкиву. Если подойдет к этому крюку прядильщик, то и прицепится, то есть приспустит с груди прядку пенькового прядева, перехватит руками и станет спускать и пятиться. Пред глазами его начинает закручиваться веревка. Крутится она скоро и сильно, сверкая в глазах и, чтобы не обожгла белого тела и кожи на руках, надеты у всех рабочих кожаные рукавицы или голицы. Прихватит ими мастер свежую бечевку и все пятится, как рак, и зорко пред собою поглядывает, чтобы не оборвалось в его рукавицах прядево на бечевке. Он уже не обращает внимания на то, что невыбитая кострика либо завертывается вместе с пенькой в самую веревку, либо сыплется, как песок, на землю. Пропятился мастер на один конец, сколько указано, скинул бечевку на попутные торчком стоящие рогульки с семью и больше зубцами, и опять начинает снова.

Время от времени, когда при невнимании или при худой пеньке, разорвется его пуповина и разъединится он и со слепой лошадью и колесом, — он тпрукнет и наладится. Впрочем, иные колеса (и, конечно, на бедных и малых прядильнях) вертит удосужившаяся баба, а по большей части — небольшие ребята.

Так нехитро налажен основной механизм прядильной фабрики первобытного вида. К тому же, по старинному закону, и это маленькое заведение кочует: оно переносное. У хозяина невелик свой двор и притом короток, а на вольном воздухе свободней работать, если время не дождливое и не осеннее. Вот он и выстроил свой завод прямо на общественном месте, вдоль по улице — вдоль по широкой. Кто хочет тут проехать — объезжай около; там оставлено узенькое место: лошадь пройдет и телегу провезет. Остальную и бо́льшую половину улицы всю занял заводчик: выдвинул колесо. Отступя от него аршина на два, он вбил доску со шкивами и дальше вдоль, один за другим, по прямой линии, стойки или многозубцы на кольях. Колья эти вбил прямо в размокшую и мягкую землю просохшей городской водосточной канавы, как вздумалось. И по кольям знать, что они порядочно покочевали: били их по головам до того, что измочалили. Вертит колесо в 16 спиц, длиною в $2^1/_4$ аршина, баба в ситцах, а на другом конце валяются обгрызенные поленья-«сани» с прикрепленной бечевкой от колеса и припрыгивают, словно бумажка на нитке, которой любят играть молодые котята. По мере того как колесо крутит

веревку, эти полешки, или сани, пошевеливаясь, двигаются ближе к машине.

В Ржеве вообще нет никакого уважения к улицам или по крайней мере о них господствует своеобразное понятие: они далеко не все служат для проезда. В окрестных местах неспуста ходит слух о том, что есть такие в этом городе улицы, что если незнающий тамошних обычаев заедет в них, то его либо убьют, либо, на лучший конец, исколотят. В самом деле, по нормальному плану, утвержденному правительством, улицы эти не только существуют на ватманской бумаге за кудрявыми подписями чиновничьих рукописаний, но и на самом деле возведен по краям порядок домов лицевыми фасадами, а где и задами: и ворота видны, и калитки имеются. Все заросло травой вгустую и плотную, как поется в песне: «улица-улица моя, трава-мурава зелененькая».

Действительно, в Ржеве по такой улице не проедешь, потому что там и сям выстроены столбы с перекладиной, до которой самый высокий мужик не достанет рукой. В полное подобие виселиц, на всех перекладинах ввинчены рогульками крепкие железные крючья. Это — большие заводы больших хозяев, у которых со дворов выходят на простор прешироквие ворота. У одного такого заводчика оказалось 20 колес: по 12 человек на каждом — это прядильщики. Затем 28 человек колесников да 56 вьюшников. Эти последние на каждую вьюху наматывают девять пудов пеньки, то есть 27 концов по 4 нитки, и работают по три перемены.

Я зашел в одну из таких диковинных непроезжих улиц и, прямо у широких ворот на задах большого дома едва не был сбит с ног и не подмят под сапоги с крепкими гвоздями. Выступила задом из ворот и пятилась до самой средины улицы целая ватага рабочих, человек в двадцать, а тотчас, следом за нею, другая такая же. Все спины широкие, гладкие, крепкие, серые, белые, синие, — такие можно только загадать в воображении на богатырей, а видеть отчасти у татар на Нижегородской ярмарке. Здесь они с молодых лет до старости ворочают тяжелые товарные места, из-под которых виден бывает только один медленный перебор цепких, крепких и устойчивых ног.

Ржевские богатыри, выдвинувшись из ворот, покрутились на середине улицы перед виселицей. Здесь весело и громко они переговаривались, пересмеиваясь и насмехаясь, и опять, с гулом и быстро, потянулись вперед, куда потребовали их во́роты с колесами, установленные в конце двора под навесом. Эти веселые молодцы считаются первыми бойцами на кулачных боях, которые извести во Ржеве никак не возможно. Тут все налицо, что надо: ребятки, что вертят колеса — застрельщики, рабочие одного большого хозяина — враги и супротивники соседнего заводчика. Да и самый город с незапамятной старины разбит Волгой на две особые половины, под особыми, как сказано выше, прозваниями: правая сторона за князя Дмитрия Ивановича (Князь-Дмитриевская), левая — за Федора Борисовича (Князь-Федоровская), а место, в котором выходить

может стенка на стенку, где хочешь, если уже удалось отбить от начальства почти все улицы. Если же начальство несогласно, то Волга делает в окрестностях города такие причудливые, как бы по заказу, изгибы и колена, что за любым так ухоронишься, что никто не заметит и не помешает побиться на кулачки.

Я заглянул на тот двор, куда ушла шумливая и веселая ватага бойцов, и увидел на нем целое плетенье из веревок, словно основу на ткацком стане. Кажется, в этом веревочном лабиринте и не разберешься, хотя и видишь, что к каждой привязано по живому человеку, а концы других повисли на крючках виселиц. Сколько людей, столько новых нитей да столько же и старых, чет в чет понавешено с боков и над головами. Действительно, разобраться здесь трудно, но запутаться даже на одной веревочке — избави Бог всякого лиходея, потому что это-то и есть настоящий бедовой «просак», то есть вся эта прядильня или веревочный стан — все пространство от прядильного колеса до саней, где спускается вервь, снуется, сучится и крутится бечевка.

Все, что видит наш глаз на дворе, и протянутое на воздухе, закрепленное на крючьях, и выпрядаемое с грудей и животов, вся прядильная канатная снасть и веревочный стан носит старинное и столь прославленное имя «просак». Здесь, если угодит один волос попасть в «сучево» или «просучево» на любой веревке, то заберет и все кудри русые и бороду бобровую так, что кое-что потеряешь, а на побитом месте только рубец ос-

танется на воспоминание. Кто попадет полой кафтана или рубахи, у того весь нижний стан одежды отрывает прочь, пока не остановят глупую лошадь и услужливое колесо. Ходи — не зевай! Смеясь, поталкивай плечом соседа, ради веселья и шутки, да с большой оглядкой, а то скрутит беда — не выдерешься, просидишь в просаках — не поздоровится.

НА УЛИЦЕ ПРАЗДНИК

Не забывая ржевских улиц, вспомним, к слову и кстати, про всякие на Руси улицы. Смотреть же, где настоящие баклуши бьют, пойдем потом в другую и дальнюю сторону.

Не только та полоса или дорога, которая оставляется свободною для прохода и проезда *у лица* домов, между двумя рядами жилых строений, называется улицей, но и весь простор вне жилья, насколько хватает глаз, все вольное поднебесье означается этим именем во всей северной лесной Руси. Старинный народ, любя селиться на просторе и прорубаясь в темных дремучих лесах, хлопотал именно о том, чтобы открыть глазам побольше видов. Для этого он беспощадно рубил деревья, как лютых и непримиримых врагов, в вековечной борьбе с которыми надорвал свои силы. Затем уже он поспешил встать деревней так, чтобы кругом было светлое место. Не оставлялось на корню ни одного деревца подле жилья. Оттого там, в лесных русских селеньях, всякий человек, пришедший с воли,

незнаемый, а тем более нежеланный и даже недобрый, называется человеком «с улицы», с «ветру». Там, если приглашают приятеля «пойти на улицу», то это вовсе не значит посидеть на завалинке или пошататься между рядами домов, а значит погулять на вольном воздухе, в поле и в лесу. Собственно, тех улиц, которые мы понимаем и чувствуем под этим строгим именем и образцы которых, с европейского примера, указал нам Петр Великий, — в прямую стрелу проспектов, коренные русские люди пробивать и проламывать не умеют. Они настолько о том не заботятся, что выводят их, как бы намеренно и совсем противно Петровскому вкусу и указам, и вкривь, и вскользь, и вкось, и тупиками, и такими узкими, что двум не разъехаться. В тупиках или глухих улицах нет вовсе сквозных проездов, в узких же — с трудом прилаживаются обочины или тротуары для пешеходов, а в настоящих и коренных городах и во всех деревнях, без исключения, уличных полос вдоль дороги даже вовсе не полагается. Не селятся люди, как прямее, а стараются жить и строиться, как ладнее. Уважая и любя соседа, пристраиваются к боку и сторонкой так, чтобы его не потеснить, и потом жить с ним в миру и согласии: не всегда в линии, как в хороводе, а отчего же и не вроссыпь? Должно строиться так, как велят подъемы и спуски земли, берега рек и озер, лишь бы только всем миром, или целой общиной. Без мирского строя, без общинных законов, как известно, нигде и никогда русские люди и не останавливались на жительство, потому что воевать с могучей и суровой при-

родой и с докучливым инородцем одиночной семье было не под силу. Не только земледельцы, но и отшельники в монастырях жили артелями. Только в тех случаях, когда их кругом облагали беды и нужды и приходилось ютиться друг к другу как можно теснее и ближе, зародилось что-то похожее на нынешние улицы с проулками и закоулками. Так сталось в больших городах, спрятавшихся за двумя-тремя стенами. Здесь, когда развилась, обеспечилась и развернулась жизнь и стали разбираться люди по заслугам, по ремеслам и занятиям, — отобрались бояре в одно место и устраивались. Духовные, торговые, ремесленные и черные люди выбирали свои особые места и строили избы друг против друга и рядом, чтобы опять-таки не разделяться, а жить общинами, и всем быть вместе и заодно. Старинная городская улица, как сельская волость, естественно, сделалась политической и административной единицей, устроила свое управление. Она выбирала себе старост и выходила на торжище или площадь, когда собирались другие общины-улицы судить и думать, такать не только о делах своего города, но и всей земли, тянувшей к нему податями и сносившей в него разнообразные поборы.

В Пскове и Новгороде несколько улиц, будучи каждая в отношении к другим до известной степени самобытным телом, все вместе образовывали «конец», а все вместе концы составляли целый город, как Новый Торг (или нынешний Торжок) с семнадцатью концами, или улицами, как и государь Великий Новгород, с пятью, «господин Великий Псков» с шестью концами. По

этим действительно великим центрам и сильным примерам взяли образцы все множество больших городов в северной России вплоть до Камчатки, так как вся Русь по хвойным лесам устраивалась исключительно новгородским людом и по новгородским образцам. Уладились в них улицы — стали они общинами; жители назвались «уличанами» и еще охотнее и вернее «суседями». Сближаясь интересами, делали и судили дела за «единый дух», в полное согласие: своего не давали в обиду. Как на Прусскую улицу в Новгороде, населенную боярами, хаживали с боем другие улицы, и на Торговую подымался Людин конец, где жила рабочая и трудовая чернь, так и в остальных старых лесных городах ходили кулачным боем, стенка на стенку, на Проломную или Пробойную (срединную) улицу Ильинская (нагорная) и Власьевская (окраинная). По русскому древнему обычаю, где ссорились и дрались, тут же вскоре и мирились как в те времена, когда бои затевались из-за политических несогласий, так и потом до наших дней, когда большие вопросы измельчались до домашних дрязг, до простого желания порасправить свои могутные плечи, ради удовольствия и досужества или из уважения к обычаям родной старины. Задорнее других были улицы плотницкие и гончарные, сильнее всех — мясницкие, или, по старинному, «кожемяки», — вольный слободский народ из окольных пригородных слобод.

Захотят свести счеты — и пустяшный повод разожгут из конца в конец города так, что станет каждому досадно и всем невтерпеж. А вышла

стена в улицу, и мальчишки вперед бегут задирать, другая стенка смекает и, как вода с гор сливается, она выступает навстречу первой, немедля. Бежит каждый в кучу, в чем слух застал, и, засучив рукава выше локтей, каждый приготовился к бою. Когда направят ребятишек, тогда разгорятся, и сами погонят малых назад. Большие и сильные начнут выступать, могучие силачи — «кирибеевичи» — издали смотрят и ухмыляются, пока не придет их час и не позовет своя ватага на дело, в помощь. Были на улицах свои старосты, — бывали и свои молодцы-силачи, по 25 пудов поднимали и клали на сторону лихих супротивников, как снопы, по десятку. Были на улицах свои силачи (теперь их смирили и повывели), были и свои красавицы; нарождались свои обиды и придумывались насмешливые прозвища и укоры за недостатки и прегрешения; жили свои свахи и знахарки. И непременно для всякой избы, в каждой улице обязательны были свои праздники, с пирами и пирогами, с гулянками, брагой и орехами. На кулачных боях подерутся, изместят накипелые за долгое время обиды на сердце, а на уличных праздниках — «братчинах» — помирятся, размоют руки и нагуляются. Оттого-то мудреный смысл русской улицы, опять на народном языке извратился: «улицей» стали называть всякую гулянку с хороводными песнями, соберется ли она у деревенской часовни или на лужайке за овинами. Улица этого рода и звания не лежит неподвижно в пыли и грязи, а капризно кочует с облюбленного места на хорошее, новое, — в последние времена в московских ситцах и сукон-

ных сибирках, веселыми ногами и с улыбающимися праздничными лицами.

«Петровские суседи, — пишет старая летопись, — разбивши костер старый (то есть башню, как называли их во Пскове) у св. Петра и Павла, и в том камени создаша церковь святый Борис и Глеб». Вот и указание на время праздников и повод к ним, если только они падают непременно на летнее время и по возможности на безработное. Богатые города, впрочем, последнего не соображали, им до этого дела не было: на город всегда работала деревня и за него она хлопотала. На улице в городе тогда и праздник, когда подойдет он в главном или придельном храме той церкви, которую, действительно, всегда строила на своей грязной улице, своим трудом и коштам вкупе и складе вся жилецкая улица. Если попадет тот церковный праздник на теплое время, придумается такой, когда чествуют какую-либо явленную или чудотворную икону Пречистой Богоматери. Впрочем, большая часть и таких богородских празднеств как раз установлена на летнее время: и казанская, и тихвинская, и смоленская — всероссийские и другие многие местные, «местночтимые».

Не без причины приходится подольше останавливаться на этом объяснении обиходной и столь распространенной поговорки. Как тот же огонь, который исключительно жег старинных попов, — «на улице праздник», представляемый в лицах, становится уже таким же преданием и с таким же правом на полное забвение. Мы переживаем теперь именно это

самое время. Однако около сорока пяти лет тому назад я еще был очевидцем и свидетелем такого уличного праздника в далеком, заброшенном и полузабытом костромском городе Галиче, который некогда гремел на всю Русь своим беспокойным и жестоким князем Дмитрием Шемякой, и до сих пор славится плотниками и каменщиками[1].

В моей детской памяти ярко напечатлелось необычное повсюдное безлюдье в городе, не исключая всегда шумливой рыночной площади, и припоминаются теперь огромные толпы народа, сгрудившиеся на одной улице, главной и трактовой, называемой Пробойной. Почтовый ямщик не решился по ней ехать и свернул в сторону, зная, что Пробойная на этот день принадлежит празднику. Большие неприятности и очень тяжелые последствия ожидали того смельчака, который рискнул бы расстроить налаженные хороводы и другие игры. Вся Пробойная превратилась в веселый и оживленный бал, развернувшийся во всю ширину и длину ее: «улица не двор — всем простор». Несколько хороводов кружилось в разных местах чопорно и степенно, по-городскому, с опущенными глазами, с подобранными сердечком губами, выступая в середине густой стены из добрых молодцев, еще в длинных на тот раз си-

---

[1] Впрочем, еще в 1857 году писали в «Москвитянин» Погодина из Новгорода: «С главных улиц праздницкие (так называемые там хороводы и гулянки) уже исчезли, а справляются еще по закоулкам и пригородным слободкам: Троицкой и Никольской».

бирках, теперь, ради куцего пальто и жилетки, совершенно покинутых.

Все девушки вертелись в кругу с лицами, закрытыми белыми фатами, в бабушкиных, шитых позументами и унизанных каменьями, головных повязках и надглазных поднизях или рясках, в коротеньких со сборами парчовых безрукавных телогреях, в широких, вздутых на плечах кисейных рукавах и со множеством колец на руках (галицкий наряд пользовался на Руси, вместе с калужским и торжковским, равною известностью и славой). Хороводы собственно были очень чинны и степенны, а потому скучны. Ни одна девушка не решалась поднять фаты, а покусившийся на это смельчак жестоко поплатился бы перед молодежью-уличанами своими боками. Веселились, собственно, на том и другом конце, где большие и малые играли в городки или чурки. И в самом деле, было забавно смотреть, когда из победившей партии длинный верзила садился на плечи крепкого коротыша и ехал на нем от кона до кона, и гремела толпа откровенным, несдерживаемым хохотом. Веселились еще по домам, смотревшим на эту улицу большей частью тремя или пятью окнами, где для степенных и почтенных людей было сварено и выдержано на ледниках черное пиво и брага и напечены классические рыбники, поддерживавшие славу города, который расположился около тинистого большого озера, прославившегося в отдаленных пределах северной России ершами, крупными и вкусными.

Теперь эти праздники там совершенно прекратились, когда на смену хоровода привезли из

европейской столицы прямо от Марцинкевича досужие питерщики французскую кадриль. Готовые пальто и дешевые ситцы победили вконец бабушкины сарафаны и шубейки, и в народные песни втиснулся нахалом и хватом, с гармонией и гитарой кисло-сладкий ветреный и нескромный романс. Теперь и в глухих местах пошло все поновому, и на улицах праздников мы больше никогда не увидим, и иных, как только эти иносказательные, пословичные, понимать не будем.

БАКЛУШИ БЬЮТ

Баклуши бить — промысел легкий, особого искусства не требует, но зато и не кормит, если принимать его в том общем смысле, как понимают все, и, особенно здесь, в Петербурге, где на всякие пустяки мастеров не перечтешь, а по театрам, островам и по Летнему саду — их невыгребная яма. Собственно, незачем и ходить далеко, но за объяснением коренного слова надобно потрудиться, хотя бы в такую меру, чтобы подняться с места, пересесть в Москве в другой вагон и, оставив привычки милого Петербурга, снизойти вниманием, не фыркая и не ломаясь Хлестаковым, до Нижнего Новгорода. Нижним непременно и обязательно следует по пути полюбоваться: стоит он того! Перехвастал он и острова, и Поклонную гору, что под первым Парголовом. Красота его видов — неописанная. Есть у него соперник в городе Киеве, да еще обе эти силы не мерили и не вешали, а потому

сказать трудно, кто из них внешним видом привлекательнее и красивее.

Если посмотреть на Волгу и ее берега со стороны города, хотя бы с так называемого и столь знаменитого «откоса», то простор, разнообразие и широкое раздолье в состоянии ошеломить и ослепить глаза, обессилевшие в тесных и душных высочайших коридорах столичных улиц и проспектов. Там, на Волге, в этом месте все есть, к чему бессильно стремятся всяческие и все вместе взятые театральные декорации, размалевывая прихотливые изгибы реки, зелень островов и бледноватую синеву леса, обыкновенно завершающие задние планы картины. Все это здесь могущественно и величественно, как те две реки, которые вздумали именно в этом месте начать обоюдную борьбу своими водами. На них — перевозный паром, на котором установлено до двадцати телег с лошадьми и работает до десяти крепких татарских спин веслами, величиною в газовый столичный столб. Этот уродливый и большой дощаник кажется ореховой скорлупкой. До того высока гора и до того мелко, как игрушечные изделия на вербах, вырисовываются на противоположном низменном берегу церкви села Борок. Теперь уже оно не оправдывает своего лесного названия: леса очень далеко ушли в глубь синеющего горизонта. Но зато какие это леса, те, которых не видно (но они еще уцелели там, дальше, за пределом, положенным силе человеческого взора), леса «чернораменные»: керженские, ветлужские! Их редкий из читающих людей не знает. Ими вдохновился покойный знаток Ру-

си П. И. Мельников (Андрей Печерский) в такую меру и силу, что написанная им бытовая поэма сделала те леса общественным народным достоянием, в виде и смысле крупного художественного вклада в отечественную литературу.

Следом за ним на короткое время и мы заглянем сюда, в эти интересные леса, куда П. И. Мельников сумел так мастерски врубиться для иных целей. В этих первобытных дремучих дебрях, которые также начинают изживать свой достопамятный век, хотя, после П. И. Мельникова, и не осталось щепы, зато процветает еще щепеное промысловое дело.

В самом деле, эти боры и раменья или совсем исчезли, или очень поредели: много в них и обширных полян, и широких просек, и еще того больше ветровалов и буреломов, то есть либо поваленных вырванными с корнем, либо переломленных пополам яростным налетом ураганов. Правду сказать, таких сорных и неопрятных лесов нигде больше не встречается, не по одной лишь той причине, что здесь производится издавна опустошительная порубка деревьев на продажу, которой подслужилась столь известная в истории староверия река Керженец. В лесах этого Семеновского уезда Нижегородской губернии издавна завелся и укрепился промысел искусной обработки дерева в форме деревянной посуды, говоря общепринятым книжным термином, или попросту, заготовляется на всю Русь и Азию «горянщина» или щепеной товар: крупная и мелкая домашняя деревянная посуда и утварь. Сильный ходовой товар — лопаты, лодки-долбушки (они

же душегубки), дуги, оглобли, гробовые колоды (излюбленные народом, но запрещенные законом). Для разносных и сидячих торговцев, с легким или съестным товаром и для хозяйства — лотки, совки, обручи, клепки для сбора и вязки обручной посуды — это горянщина; и мелочь: ложки, чашки, жбаны для пива и квасу на столы, корыта, ведра, ковши — квас пить, блюда, миски, уполовники и другое — это щепеной товар. От этой мелочи и мастера точильного посудного дела называются «лошкарями». Они мастерят и ту ложку «межеумок», которою вся православная Русь выламывает из горшков крутую кашу и хлебает щи, не обжигая губ, и «бутызку», какую носят бурлаки за ленточкой шляпы на лбу вместо кокарды. Они же точат и те круглые расписные чашки, в которых бухарский эмир и хивинский хан подают почетным гостям лакомый плов, облитый бараньим салом или свежим ароматным гранатным соком, и в которые бывшая французская императрица Евгения бросала визитные карточки знаменитых посетителей ее роскошных салонов.

Для такого почетного и непочетного назначения ходит с топором семеновский мужик по раменьям, то есть по сырым низинам, богатым перегноем. На них любит расти быстрее других лесных деревьев, почитаемое всходу проклятым, но здесь почтенное дерево — осина. Оно и вкраплено одиночными насаждениями среди других древесных пород и силится устроиться рощами, имеющими непривлекательный вид по той всклокоченной, растрепанной форме деревьев, ко-

торая всем осинам присуща, и по тому в самом деле отчаянному и своеобразному характеру, что осиновая роща, при сероватой листве, бедна тенями. Ее сухие и плотные листья не издают приятного для слуха шелеста, а барабанят один о другой, производя немелодический шорох. Это-то неопрятное и некрасивое, сорное и докучливое по своей плодовитости дерево, которое растет даже из кучи ветровалов, из корневых побегов и отпрысков, трясет листьями при легком движении воздуха, горит сильным и ярким пламенем, но мало греет, — это, непохожее на другие, странное дерево кормит все население семеновского Заволжья. Полезно оно в силу той своей природной добродетели, что желтовато-белая древесина его легко режется ножом, точно воск, не трескается и не коробится, опять-таки к общему удивлению и в отличие от всех других деревьев.

Ходит семеновский мужик по раменьям и ищет самого крупного узорочного осинового пня, надрубая топором каждое дерево у самого корня. Не найдя любимого, он засекает новое и оставляет эти попорченные на убой лютому ветру. То дерево, которое приглянется, мужик валит, а затем отрубает сучья и вершину. Осина легко раскалывается топором вдоль ствола, крупными плахами. Сколет мужик одну сторону на треть всей лесины, повернет на нее остальную сторону и ее сколет, попадая носком топора, к удивлению, в ту же линию, которую наметил, без циркуля, глазом. Среднюю треть древесины, в вершок толщиной, или рыхлую сердцевину, он бросает в лесу: никуда она не годится, потому что, если

попадет кусок ее в изделие, то на этом месте будет просачиваться все жидкое, что ни нальют в посудину. Наколотые плахи лесник складывает тут же в клетки, чтобы продувало их: просушит, и затем, по санному пути, свезет их домой. Эти плашки зовут «шабалой» и ими же ругаются, говорят: «без ума голова — шабала». Есть ли еще что дряннее этого дерева, которое теперь лесник сложил у избы, когда и цены такой дряни никто не придумает? Есть ли и человек хуже того, который много врет, без отдыха мелет всякий вздор, ничего не делает путного и мало на какую работу пригоден.

Шабалы семеновский мужик привез в деревню «оболванивать»: для этого насадит он не вдоль, как у топора, а поперек длинного топорища полукруглое лёзо и начнет этим «теслом», как бы долотом, выдалбливать внутренность и округлять плаху. Сталась теперь из шабала «баклуша», та самая, которую опять надо просушивать и которую опять-таки пускают в бранное и насмешливое слово за всякое пустое дело, за всякое шатание без работы с обычными пустяковскими разговорами. Ходит глупая шабала из угла в угол и ищет, кого бы схватить за шиворот или за пуговицу и поставить своему безделью в помощники, заставить себя слушать. Насколько нехорошо в общежитии «бить баклуши» — всякий знает без дальних объяснений: насколько нехитро сколоть горбыльки, стесать негодную в дело блонь, если тесло само хорошо тешет, — словом, бить настоящие, подлинные баклуши — сами видим теперь. Таких же пустяков и ничтожных тру-

дов стоит это праховое дело и в промысле, как и в общежитии.

В самом деле, притесал мужик баклушу вчерне и дальше ничего с ней поделать не может и не умеет — так ведь и медведь в лесу дуги гнет, — за что же баклушнику честь воздавать, когда у него в руках из осинового чурбана ничего не выходит? Впрочем, он и сам не хвастается, а даже совестится и побаивается, чтобы другой досужий человек не спросил: каким-де ты ремеслом промышляешь? Однако с баклушника начинается искусство токарное. Приступают к самому делу токари, лошкари: мастера и доточники (настоящие), по общему правилу, с Покрова и работают ложки и плошки до самой св. Пасхи. Вытачивают, кроме осиновых, из баклуш березовых, редко липовых, а того охотнее из кленовых. За ложку в баклушах дают одну цену, за ложки в отделке ровно вдвое. При этом осиновая ценится дороже березовой, дешевле кленовой. Да и весь щепеной товар изо всех изделий рук человеческих — самый дешевый: сходнее его разве самая щепа, но и та, судя по потребам, в безлесных местах лезет иногда ценою в гору. Если дешева иголка по силе и смыслу политико-экономического закона разделения труда, то здесь, около деревянной посуды, еще дробнее разделение это, когда ложка пойдет из рук в руки, пока не окажется «завитой» (с фигурной ручкой), «заолифленой» (белилами, сваренными на льняном масле) и подкрашенной цветным букетом, когда, одним словом, ее не зазорно и исправнику подложить к яичнице-скородумке, на чугунной сковородке, с топленым

коровьим маслом. Для господ и сами лошкари приготовляют особый сорт: «носатые» (остроносые) и тонкие самой чистой отделки: «едоку и ложкой владеть».

Ложка в привычных руках так быстро оборачивается, что один человек вытачивает их в день до 250 штук из березовых и осиновых баклуш. Кленовых больше полутораста в день не успевают сделать, зато им и цена другая: за тысячу белых из березы и осины дают 5—7 рублей; за ту же тысячу кленовых 25—30 рублей. Если бы не отставал от ремесла семеновский лошкарь (все-таки коренной землепашец) на весеннюю, летнюю рабочую пору, то есть ровно на полгода, он, при скорости и легкости работы, завалил бы ложками и чашками все базары и ярмарки в России, и между ними не пройти бы покупателям ни к каким другим рядам — из ряда «горянского».

Стоит у лошкаря его мастерская в лесу: это — целая избушка на курьих ножках, без крыши, только под потолочным накатом и немшоная: лишь бы не попадал и не очень бил косой дробный дождик в лицо и спину. В избе дверь одна, наподобие звериного лаза, и окно одно подымное да другая дыра большая. В эту дыру просунул хохломский токарь толстое бревно, насадил на том его конце, который вывел в избу, баклушу и приладился к ней точильным инструментом, К другому концу бревна, что вышел на улицу, прицепил лошкарь колесо, а к нему привязал такую лошадь, на которую, если свиснуть, она остановится, если крикнуть да нукнуть, она опять начнет медленно переставлять разбитые

ноги. Ей все равно: она знает, что надо слушаться и ходить, надо хвостом вертеть, а иногда и сфыркнуть в полное наслаждение и для развлечения. «Тпру!»,—значит, десять чашек прорезал резец — теперь другую баклушу следует насаживать на бревно, а готовые чашки с того бревна, то есть баклуши, будут откалывать другие. В третьих руках ложечная баклуша так отделается, что станет видно, что это будет ложка, а не уполовник. Четвертый ее выглаживает, пятый завивает ручку, у шестых она подкрашенною сушится в печах и разводит в избе такую духоту и смрад, что хоть беги отсюда назад и прямо в лес. Кто бы, однако, ни купил потом эту ложку, всякий сначала ее ошпарит кипятком или выварит, чтобы эта штучка была непоганая да и не липла бы к усам и губам.

Покупать у лошкарей готовый щепеной товар станут «лошкарники», кто этим товаром торгует в посаде Городце и селе Пурехе (в последнем главнейшим образом). Они умеют доставлять и продавать эти дешевые, но непрочные изделия туда, где их успевают скоро изгрызать малые ребята, делая молочные зубы, и ломают сами матери, стукая больно по лбу шаловливых и балованных деток, привыкших дома бить баклуши.

ЛЯСЫ ТОЧАТ

В тех же заволжских лесах, о которых было сказано прежде и где бьют настоящие баклуши и вытачивают из них бесконечного разнообразия

вещи, также не обманным, а настоящим образом «точат лясы или балясы».

Там не ведут шутливых разговоров на веселое сердце, в свободный час и досужее время, истрачивая их на пустяки или «лясы», на потешную или остроумную болтовню. Усердно и очень серьезно из тех же осиновых плах точат там фигурные балясины, налаживая их наподобие графинов и кувшинов, фантастических цветов и звериных головок, в виде коня или птицы: кому как вздумается и взбредет на ум или кто как выучен с малых лет. Работа веселая, позывает на песню и легкая уже потому, что дает простор воображению и нередко руководится рисунком, которым можно угодить, заслужить похвалу и «наводку». Делается напоказ для бахвальства и идет на украшение лестничных перил, поручней на балконах и т. п. — все не в прямую пользу и не для всякого мужика, сколько его ни народилось на свете, а только для богатого и, стало быть, тщеславного. В глазах лошкарей, приготовляющих нужные всем и полезные вещи, такое веселое занятие кажется менее внушающим уважения за последствия и точеные, на разный рисунок, столбики — пустяковиной, сравнительно с ложкой, чашкой и уполовником. Лесной житель привык видеть в природе отупляющее однообразие и обязан всегда любоваться ее строгим и хмурым видом и среди нее жить чаще буднями, чем праздниками. С другой стороны, на обоих оживленных берегах Волги, среди открытого простора и бесконечного движения, особенно «На горах», народились охотники на яркие

и пестрые безделушки, которым придают они большую цену, — особенно богатые судохозяева. Отвечая спросу и угождая вкусу поволжских богачей, в среде семеновских токарей издавна завелся особый сорт промышленников, которых и называли «балясниками». Их досужеству обязаны были своей пестротой и красотой все те суда, в особенности коноводки и расшивы, которые плавали вдоль Волги. Когда они выстраивались рядами, во время Макарьевской ярмарки, в самом устье Оки, вдоль плашкоутного наводного моста, — выставка эта была действительно своеобразною и поразительною. Такой в иных местах уже и нельзя было встретить. Она местами напоминала и буддийские храмы, с фантастическими драконами, змеями и чудовищами. Местами силилась она уподобиться выставке крупных по размерам и ярких по цветам лубочных картин, а все вместе очень походило на нестройную связь построек старинных теремков, где балкончики, крыльца, сходы и повалуши громоздились одни над другими и кичились затейливой пестротой друг перед другом. Идя по мосту с Нижнего Базара города на песчаный мыс ярмарки, нельзя было не остановиться и можно было подолгу любоваться всем этим неожиданным цветным разнообразием.

Строгий деловой и казенный вид однообразных пароходов, которые в последнее время, по американскому способу, стали уподобляться даже настоящим многоэтажным фабрикам и заводам, сбил спесь с расшив и коноводок до такой степени, что они теперь почти совершен-

но исчезли. Исчезло с ними вместе в семеновских лесах и специальное ремесло балясников, уступив места подложным — тем ловким людям, которые «лясы точат — людей морочат», хвастливыми речами «отводят глаза и заговаривают зубы», а угодливыми поступками берут города, то есть все то, чего не достигают другие люди честным трудом и прямыми заслугами. Много таких мастеров в больших городах и в высших сословиях.

ЛАПТИ ПЛЕТУТ

Лапти плести в иносказательном смысле, собственно, значит путать в деле и в разговоре. Так по крайней мере разумеет сельщина и деревенщина («путает, словно кашу в лапти обувает»). В городах применяют это выражение к тем, которые медленно, вяло и плохо работают, и применяют, пожалуй, также основательно, так как самый хороший и привычный работник на заказ успевает приготовить в сутки лаптей не больше двух пар. Легко плетутся: подошва, перед и обушник (бока); замедляется работа на запятнике, куда надо свести все лыки и связать петлю так, чтобы, когда проденутся оборы, они не кривили бы лаптя и не трудили бы ног в одну сторону. Не всякий это умеет. «Царь Петр (говорит народ) все умел делать, до всего дошел сам, а над запятником лаптя задумался и бросил. В Питере тот недоплетенный лапоть хранят и показывают». Оправдывая таким неверным ска-

занием самое немудреное дело на свете, предоставленное в деревнях ветхим старикам, которые уже больше ничего не могут делать, народ около лаптя умудрился выискать некоторые поучения, выдумал и пустил в оборот еще несколько обиходных выражений. Из области технических деревенских производств вообще взято довольно выражений для живого языка и ежедневного руководства. Кому, например, не удавалось слыхать на своем веку, как «гнут или несут околесную», говорят пустяковину, и притом длинно, бесконечно, как след колеса кладут по окольной дороге. Точно также все слыхивали, как сулят друг другу рожна — заостренный кол и притом в наклонном положении, тычком, и тому подобное, в таком обильном количестве, что за всем невозможно уследить.

Кто шатается без дела и не находит места, где бы найти работу и присесть за нее, — тот «звонит в лапоть». Кто вдруг и сразу захотел сделать дело, да не вышло — остался хвастливый ни при чем, — говорят тому в укор: «это не лапоть сплесть!» Обеднел кто по своей неосмотрительности, которая, однако, не возбуждает сожаления, про того говорят, что он переобулся из сапог в лапти; а случается, что «переобувают» другие ловкие люди—товарищи в деле и в предприятии. На кого ничем нельзя угодить, хоть разорвись, — на того «черт плетет лапти по три года кряду». Собственно, «лапти плесть: однова в день есть» — немного заработаешь, потому что пара лаптей дороже 3 и 5 копеек бывает редко, и то подковыренная паклей или тем же лыком.

Между тем на этого явного и всеми основательно обвиненного врага и злодея красивых и, по применению к общежитию, наиболее полезных и дорогих деревьев истрачивается ежегодно неисчислимая масса. Достаточно вспомнить, что на лыки для пары лаптей обдирается три молоденьких липовых деревца и что только в таком раннем возрасте (до 4—6 лет) они способны удостоиться чести превратиться в обувь. Ее добрый мужик в худую пору изнашивает в одну неделю в количестве двух пар.

Происходит это от умения ровно подбирать сплошной ряд лыковых лент в дорожку по прямой черте, а также и от добросовестного выбора только самых чистых лык. Не всякое лыко годится в лапотную строку, отсюда и распространенное выражение: «не все в строку, не всякое лыко в строку», обращаемое советом к тем, которые чрезмерно взыскательны и строги, и к тем, которые неразборчивы в делах, расточительны до излишества в словах и т. п. «Не все лыком, да в строку», — кое о чем можно и помолчать.

Пока еще дадут мужику возможность обуться в сапоги и в том ему помогут, лапоть все-таки сохранит достоинство отличной обуви: дешевой и легкой для ходьбы по лесам, и притом зимою — теплой, а летом — прохладной. Свалился он с ног на улице или завяз в грязи — не жалко, слез терять не станут, а догадливая баба поднимет на палку и поставит в огороде: начнет лапоть ворон и воробьев пугать.

В ДУГУ ГНУТЬ

Не в иносказательном, всем понятном смысле, а в прямом, породившем это общеупотребительное «крылатое слово», дуги гнут не одни только медведи, а те же простые мужики-сермяги. Медведи в лесу дуги гнут — не парят, а если переломят, то не тужат. Парит и тужит тот, кто работает этот покупной и ходовой товар на базары обычно в то время, когда настоящий медведь, отыскавши ямы в ветровалах, заваливается в них спать до первых признаков весны. Зимой — временем, столь вообще властным в жизни нашего народа — и дуги гнут, и колеса тут же, по соседству, работают, и сами же собирают их. Особых мест не предоставлено: самый промысел стал теперь кочевать, отыскивая подходящие леса в нынешнее время их поголовного и бессовестного истребления. Например, ильмовые и вязовые дуги считались самими лучшими и предпочитались другим, а теперь там, где владычествовало чернолесье (в срединной России), илим, как говорят, ходит в сапожках, то есть можно еще найти, но деревья оказываются никуда не годными: всегда с гнилой сердцевиной. Поневоле стали обращаться к ветле и осине. Осина и на этот раз нуждающихся в ней выручает. В 35—50 лет возрастом та осина, которая вырастает на «суборовинах» или на возвышенных местах, прилегающих к настоящим борам, не хрупка и прямослойна, а потому признается годной: из нее гнут дуги и ободья. Но где же ей сравниться с высокими качествами древесины илима или вяза. Если живописному дереву — вязу задалась глубо-

кая и рыхлая, а в особенности свежая и сырая почва по низменным пологостям рек и оврагов, он дает древесину очень вязкую и твердую, крепкую и упругую. Ее трудно расколоть; она не боится ударов и при этом прочна. С ней много хлопот столярам, но зато в изделии она красива по темно-коричневому цвету ядра и по широкой желтоватой заболони, и хорошо при этом полируется.

На смену исчезающих вязов всегда, впрочем, годится и даже напрашивается ветла или ива различных пород и многочисленных названий (верба, ракита, бредина, лоза, чернотал, шелюга и т. д.). По России она распространена повсеместно, а в средней полосе, где умеют гнуть дуги и полозья, она является в наибольшем количестве. Ивушка за то воспевается в песнях чаще прочих дерев, потому что докучливо мечется в глаза: по лесам, между другими деревьями, по рекам, оврагам, на выгонах, по сырым покосам. Может она расти на сухих песках и бесцеремонно лезет в чистые мокрые болота, причем растет необыкновенно скоро: даже срубленный пень быстро покрывается множеством молодых побегов. Вот почему и дуга — чаще ветловая, уподобляемая весьма образно в живом народном языке человеческой неправде: «Если концы в воде, так середка наружу; когда середка в воде — концы наружу».

За то, что эти деревья упруги, — с ними обычно поступают так. Сначала непременно парят. На это дело годится всякая жарко натопленная банька, а где уже этим промыслом живут и кормятся, там относятся к делу с большим вни-

манием и почтением. Там гнут дуги на две руки: либо на котловой, либо на огневой парне. Для этого приспособлены и особые заведения: простой деревянный сруб, смахивающий на плохую избенку, аршина на два в вышину. На потолке навалено земли и дерна, сколько он сможет сдержать, а сквозь стены внутрь проведены две слеги и прорублена дыра с дверкой, чтобы можно было пролезать. В оконце мужик влезет, на слегах уложит вязовые кряжи, на полу зажжет поленья дров и вылезет вон чернее черта. Дверцу в оконце за собою он запрет. Дрова тлеют, а кряжи млеют. Ветлы и вяз так распариваются, что гни их потом, куда хочешь. Это — огневая па́рня. А если налить водой котел, подложить под него огонь и заставить пустить пар также в наглухо закрытую парню, то и сыр-могуч дуб сдается: придвигай теперь станок и сгибай дерево — не сломится. Свяжи только концы веревкой, даже хотя бы и мочалом (ценой всего на копейку) и оставь лежать: кряж попривыкнет, слежится, ссыхаясь и замирая так, как ты того хочешь. Когда дуги остынут, их обтесывают топором, потом проходят скобелью, затем просушивают в теплых избах. На просушенных можно уже вырезать всякие узоры, а потом и кольцо продеть, и колокольчик повесить. На охотников, сверх всего, приготовляется краска из коры крушины (которую кое-где, кстати, называют «кручиной»). Толкут ее в порошок и разводят кипятком: выходит оливковый цвет. В расписной, кичливой дуге и не узнаешь теперь красивого вяза и величественного, гордого и могучего дуба.

КОЛОКОЛА ЛЬЮТ

— По городу сплетни пошли, и одна другой несбыточнее и злее, — что это значит?

— Колокол где-нибудь льют.

— По деревням бродят вести и соблазняют народ на веру в них. Иная хватает через край, а хочется ей верить: придумано ловко.

— Не верьте, не поддавайтесь: это — колокольный заводчик прилаживается расплавленный колокольный состав из олова и меди вылить в форму и застудить, чтобы вышел из печи тот вестовщик, который, как говорит загадка, сам в церкви не бывает, а других в нее созывает.

Этот обычай народился, конечно, в то время, когда деревянные и чугунные доски, подвешенные к церковным дверям, начали заменять звонкими благовестниками. Шел обычай, вероятно, из Москвы, где, кстати, на Балканах, рядом и о бок с колокольными заводами, живут в старых и ветхих лачужках первые московские вестовщицы и опытные свахи. Вся задача на этот раз состоит в том, чтобы пустить слух самый несбыточный и небылицу поворотить на быль. Мудрено ли? С древних времен мудреные небылицы и дикие вести и слухи привыкли ходить по стогнам этого города на тараканьих ножках, и под них здесь никогда не нанимали подвод.

Выходила сплетня обыкновенно прямо с колокольного завода, а выпускали ее в угоду хозяину и с полною верою в ее несомненную пользу, как обязательный придаток к искусству отливки, заинтересованные удачею дела его пособники. С

Балкан быстро перелетала весть, как по телеграфной проволоке, в Рогожскую, оттуда перекидывалась, как пожарная искра по ветру, в благочестивое Замоскворечье, а отсюда разлеталась мелкими пташками по Гостиному двору и по всем трактирам, с прибавками и подвесками.

— Проявился человек с рогами и мохнатый: рога, как у черта. Есть не просит, а в люди показывается по ночам: моя кума сама видела. И хвост торчит из-под галстука. По этому-то его и признали, а то никому бы невдогад.

Это глупое известие — самое употребительное в таких случаях везде и в такой степени, что его можно назвать «колокольным». Конечно, бывают и другие сплетни, каких в Москве вообще не оберешься. Доходит дело до того иногда, что самые недоверчивые люди впадают в сомнение: в сущую ли правду следует верить ходячему слуху или и в самом деле какой-нибудь тароватый церковный староста заказал новый колокол? Вообще следует сказать, что этим церковным благовестникам не только приписывается врачебная сила (например, для глухих, для больных лихорадками и прочих), но народное суеверие зачастую подозревает в них нечто мыслящее и действующее по своему желанию. Так, например, один сослан был в ссылку за то, что, когда во время пожара хотели бить набат, он «гулку не дал». Царь Борис углицкий колокол сослал в Тобольск за то, что он целый город собрал на место убиения царевича Димитрия. При подъемах новых на колоколенные башни иные упрямятся и не поддаются ни силе блоков, ни тяге веревок, предвещая нечто недоброе и во всяком

случае зловещее. В Никольском уезде Вологодской губернии, на реке Вохме, невидимый колокол отчетливо и слышно звонил, указывая место, где надо было строить церковь. Это было в 1784 году. В 1845 году эта церковь сгорела: причем колокола тоскливо и жалобно звонили, — и с той поры сберегается там поговорка: «Звоном началась — звоном и кончилась». Не говорим уже о чрезвычайном множестве провалившихся городов с церквами, которые не перестают в известные дни слышно звонить и под землею, и под водами в реке нижегородского города Большого Китежа. В одной Белоруссии я знаю таких мест больше десятка. В заволжских лесах Макарьевского уезда Нижегородской губернии большой колокол Желтоводского монастыря будто бы и по сие время подает знак на св. Пасху в святую заутреню, когда начинать христосоваться в тех селениях, которые разобщены с селами и лежат среди дремучих лесов, в 60 верстах от города Макарьева, и т. п.

Не забудем также и тех исторических фактов, когда колокола имели даже и политическое значение. Перевозка их из одного города в другой служила одним из знаков утраты самостоятельности. Оба вечевые, новгородский и псковский, перевезены в Москву (псковичи так и говорили царскому послу: «Волен князь в нас и в колоколе нашем»). В XIV веке Александр Суздальский, возведенный ханом в достоинство великого князя, перевез соборный колокол из Владимира в Суздаль. Тверские князья Константин и Василий Михайловичи должны были отправить в Москву соборный колокол, как знак зависимости от Калиты, и т. д.

В самой Москве, в которой еще в XVII веке, по свидетельству иноземцев, насчитывалось до пяти тысяч колоколов «дивных слышанием», — впоследствии оказалось удобным «стоять под колоколами», в прямом и переносном смысле, то есть в последнем значении «слышать» не всегда подколокольный звон, но и сущую «правду-матку». В 60-х годах мне показывали в Москве того оглашенного, который «ходил под колоколами», то есть принял столь редкую вообще, но не уничтоженную и новым законом «очистительную присягу».

Ограбил он, под видом опекуна, капитал сирот, и когда подросшие наследники потребовали отчета, а улик и доказательств никаких в руках не имели, он согласился «пройти под колоколами». Обычно сделали ему сначала увещание в церкви, и он потом присягал на кресте и Евангелии при колокольном звоне во вся и среди всенародного множества, которое едва не разрушило церковные стены. Шел он туда посреди живой стены народа с непокрытой головой, но вышел (как и всегда во всех таких случаях) неоправленным: люди таким крайним и резким случаям опасаются верить. Они внутренне убеждены, что «Бог очистительной присяги не принимает». Она остается лишь в виде добровольной сделки ответчика со своею совестью, да приканчивает дело с наследниками или вообще с обвинителями, не добившимися удовлетворения иными средствами.

Московский купец, среди белого дня, на виду всей Ножевой линии Гостиного двора, наполненной праздными зубоскалами и несомненными остряками, купец, прогулявшийся по Красной

площади под колоколами Василия Блаженного и Казанской, считался человеком отпетым: на него указывали пальцами. Жил он, точно на том свете, всеми покинутым и презираемым.

НА ВОРЕ ШАПКА ГОРИТ

Рассказ довольно простой для объяснения и к тому же весьма известный. Кто его успел забыть, тем напомню.

Украл что-то вор тихо и незаметно и, конечно, скрыл все концы в воду. Искали и обыскивали — ничего не нашли. Думалось на кого-нибудь из своих близких. К кому же обратиться за советом и помощью, как не к знахарю? И, не знаясь с бесом, он, как колдун, умеет отгадывать.

Знахарь повел пострадавших на базар, куда обыкновенно все собираются. Там толпятся кучей и толкуют о неслыханном в тех местах худом деле — все о том же воровстве.

В толпу эту знахарь и крикнул:

— Поглядите-ко, православные: на воре-то шапка горит!

Не успели прослушать и опомниться от зловещего крика, как вор уже и схватился за голову.

Дальнейшего объяснения не требуется, но два однородные рассказа просятся под перо. Для полноты же и надлежащей точности обязан я напомнить о существовании однородных анекдотов — из восточных азиатских нра-

вов (например, один записан в каком-то даже учебнике для переводов с русского под мудрено длинным заголовком «Верблюдовожатай»). Тем не менее два представляемые мною — коренные русские.

Посланный министерством государственных имуществ лесничий (по фамилии, сколько помнится мне, Боровский) описывал леса Печорского края и бродил по ним, тщетно разыскивая цельные лиственничные рощи, ходил, конечно, с астролябией и со съестными запасами. За ним бродила целая партия рабочих — таких простаков, что даже позднее этого события я не нашел у них замков, кроме деревянных против блудливой рогатой скотины. У этих устьцылемов также, по обычаю, была сплочена артель, хотя она при таком казенном деле и заказе и не нужна была вовсе. Сбились в артель, или «котляну», как говорят там, то есть «покрутились» все в один котел и кошель или составили артель продовольственную, чтобы уваривались щи погуще, а каша покруче: «Артельно за столом, артельно и на столе».

Все шло хорошо. Котляна была крепка и работой, и товарищеским согласием. Ходит лесничий по глухой и мокрой тайболе — не налюбуется. Вдруг жалоба: пришли все, сколько народу ни было (и вор пришел, конечно, вместе с прочими), и просят:

— Вор завелся — изведи! Вот у этого смирного парня запасные теплые пимы (сапоги) украли. Где их укупишь теперь, когда заворотят осенины? А в пимах-то были у него деньги за-

прятаны: не так, чтобы очень много, однако около рубля — говорит.

— Стрелы бы тому в бок, кто такую напасть навел! Ты — ученый, все произошел: помоги нам — укажи вора!

Не желая «дискредитировать науки», ученый (по званию и в самом деле) лесничий решился поддержать и уважение к себе, и веру в привезенные им из самого Питера знания. Придумал он позвать предварительно на совещание одного старика, который пользовался у всех большим уважением и был, что называется там, «умная башка».

— Не думают ли на кого товарищи, дедушко?— спрашивал старика молодой лесничий.

— Да все — хорошие люди. Все по артели-то, что и по работе, равны, как восковые свечи перед Богом в матушке церкви. Одинаково горят!

— Однако и пальцы на руках не все равны, — заметил лесничий.

— Так ведь эдак-то — борони Бог! — выйдет, пожалуй, у тебя, что кто меньше ростом, тот и виноватый. На такой закон ты не выходи: согрешишь! Может оказаться при такой скорости, что все мы тому злому делу причинны. Думай по-божески!

— Есть у вас парень чужой, пришлый — один изо всех не ваш: не он ли побаловал? Может быть, ему чужих-то и не жалко?

— Был чужой — стал теперь свой, и парень он больно хороший. Замечаем, по котляне-то, что он есть лютой: «есвяной» такой парень! Ну, да ведь на работушке силу-то тратит, из котла опять

ее назад берет. Не сумлевайся — не кори молодца, — ох грех великий!

— На мои глаза больно он шустер и пройдошлив: ловчей всех ваших.

— А и слава те, Господи! Скоро из котла ложку таскает да есть потораплливается, — это, по нашим приметам, и очень прекрасно. Скор на еду — значит скор и в работе. Однако с чужой ложки не хватает: пошто же на него напраслину выводить за это за самое?

Увидел ученый лесничий, что с атаманом артели не сговоришь; у заступника ее ничего не добьешься: правит он закон и обычай — стоит за артель горой.

Послушал лесничий того совета, который сказал ему старик, уходя:

— Коли хочешь узнать сущую правду, ты ищи ее по-другому. Сделай милость, не пугай парня, не обижай его и никому на него не указывай. А я с тем и ухожу, что словно бы и не слыхал от тебя ничего. Суди по Божьему!

Оставшись один, лесничий задумался. Перед глазами сыр-бор да мшины, ветровалы да буреломы: ничего от них не допросишься. Вдруг на глаза ему попала астролябия: он так и прискочил с места. Из памяти его никак не выходит тот самый пришлый рабочий: на Печоре он к одному нанимался — отошел, у другого — тоже не сжил до срока. Надо было показать и старику, и артели, что этот человек нетвердый, а стало быть, и ненадежный, в отмену от прочих и — вероятнее других — виноватый.

Поставил лесничий всех своих рабочих в круг, по знакомому всем им знахарскому способу. Чтобы они не сомневались, он около них и круг очертил палкой, и зачурал:

— Синус — косинус, тангенс — котангенс, диагональ, дифференциал, интеграл. Бином Ньютона выручай! Астролябия и мензула, помогайте!..

Рабочие так и застыли на месте: угадал и угодил барин страшными словами. Когда же он поставил в самой середине их круга астролябию, раздвинул ее ножки и сам к ней приблизился, — они уже и глаза опустили в землю, и волоса на бородах не шелохнутся. Заподозренный лесничим рабочий установлен был прямо против северного румба компасика.

— Смотрите все на меня!

Лесничий шибко разогнал стрелку: она посуетилась, помигала под стеклом и встала перед ним острием прямо против того парня. Его так и взмыло:

— Врет она на меня. Она сможет указать и на другого. Я не согласен. Надо, по закону, до трех раз пытать. Гони ее опять!

И во второй раз, конечно, стрелка указала его: все молчат, словно мертвые. Лесничий опять проговорил «замок» по новому и снова разогнал стрелку. Все повыступили с мест; подозреваемый дальше всех. Стрелка побегала, вздрагивая, и, словно охотничья собака, тыкалась и суетилась, обнюхивая и отыскивая виноватое место. Рабочие старались догнать стрелку глазами и, как вкопанные, остановили их вместе с нею на парне. А он

уж пал на колена и лицо в траву спрятал. Полежал и говорит:

— Моя вина: берите вашу вещь! Ничего теперь не поделаешь! Ваш меч — моя голова!

Артель долго не расходилась, посматривая то на «начальника», то на мудреный «штрумент». Качали все головами и не могли надивиться:

— Ведь ишь ты! Словно перстом указала.

На подобную же находчивость известного проповедника, московского митрополита Платона указывают в двух анекдотах. По одному из них он обличил плотника, укравшего топор у товарища в артели в то время, когда Платон строил свой исторический скит Вифанию, в 3 верстах от Троице-Сергиевой лавры. Я передал его в «Задушевном слове» для старшего возраста в VIII т., в №№ 5 и 6. Теперь заменяю его более коротеньким, заимствованным из книжки «Русского Архива», но совершенно однородным с тем, который передан был мною в 1885 году.

«Однажды докладывают митрополиту Платону, что хомуты а его шестерике украдены, что ему нельзя выехать из Вифании, а потому испрашивалось его благословение на покупку хомутов. Дело было осенью, грязь непролазная от Вифании до Троицкой лавры, да и в Москве немногим лучше. Митрополит приказывает везде осмотреть, разузнать, кто в этот день был, и т. п. Все было сделано, но без всякого успеха. Митрополит решается дать благословение на покупку, но передумывает. Он распорядился, чтобы в три часа, по троекратному удару в большой вифанский колокол, не только вся братия, но и

все рабочие, даже живущие в слободках, собрались в церковь и ожидали его.

В четвертом часу доложили митрополиту, что все собрались. Входит митрополит. В храме уже полумрак. Перед царскими вратами в приделе Лазаря стоит аналой и перед ним теплится единственная свеча. Иеромонах, приняв благословение владыки, начинает мерное чтение псалтыря. Прочитав кафизму, он останавливается, чтобы перевести дух, а с укрытого мраком Фавора раздается звучный голос Платона:

— Усердно ли вы молитесь?

— Усердно, владыко.

— Все ли вы молитесь?

— Все молимся, владыко.

— И вор молится?

— И я молюсь, владыко.

Под сильным впечатлением окружающего и отрешившись мысленно от житейского, вор невольно проговорился. Вором оказался кучер митрополита. Запираться было нельзя, и он указал место в овраге, где спрятаны были хомуты».

После указанных случаев, конечно, нет надобности прибегать к объяснению однородного и прямо-таки из них вытекающего пословичного выражения *«вора выдала речь»*. Однако не могу удержаться, к слову и поспопутью, чтобы не передать народной легенды, выслушанной мною в тех же местах, где сотворил свое чудо лесничий, — сказание о бродячем попе и встречном угоднике. Не мог мне рассказчик с точностью определить его подлинное имя, но толковал:

— Ссылаются иные на Миколу угодника, что наши приморские и водяные места «порато» полюбил: «От Холмогор до Колы тридцать три Миколы» — сказывают в народе, а, говорят, их больше.

— Здешние старухи, «однако», думают на батюшку Иова Праведного, что видел ты могилку в Ущелье-селе. Там его Литва убила: «честную его главу отсекоша». А он, угодник Божий, как охранял свою матушку-черкву!..

Затем следовали тому доказательства в настоящей легенде, которую я записал там, на реке Мезени, и теперь о ней, кстати, вспомнил. Вспомнил тамошние ущелья, почернелые от времени деревянные церкви и жалобы высокого роста отца Разумника на такой холод в них по зимам, что коченеют руки, и без муфты из пыжиков (молоденьких олешков) нельзя обедни петь: не уронить бы потир из окоченелых рук на великом выходе. Вспоминается и этот бедный примезенский, пинежский и кевродьский народ, которому и свою избу вычинять очень трудно и некогда: все в отлучках за промыслами и за ячменным хлебцем вдали, где-нибудь на море.

При такой-то церкви жил и тот поп, о котором сохраняется в тамошнем народе живая память. Жил он, конечно, на погосте: на высокой и красивой горке, — далеко кругом видно. «Звону много, а хлеба на погосте ни горсти».

На погостах, как известно, крестьяне не селятся иначе, как на вечные времена до второго Христова пришествия. Их кладут около церкви в гробах, а живут в трех-четырех избах только церковники: поп-батюшка с многочисленным се-

мейством и работницей, да кое-где дьякон да два дьячка, если не считать на иной случай старого и безголосого, доживающего свой век «на пономарской вакансии».

На таком-то погосте проживал и тот священник, с которым случились дивные происшествия.

Жил он тут очень долго — и сильно маялся. Окольным мужикам было не лучше, да те по крайней мере зверя били, а священникам, приносящим бескровную жертву, как известно, ходить на охоту, то есть проливать кровь, строго воспрещено издревле. Если крестьян очень потеснит нужда и обложит со всех сторон бедами, они выселятся на другое место и семьи уведут. Стало в храме добрыми молельщиками и доброхотными дателями меньше. В тех местах, сверх того, охотлив народ уходить в раскол беспоповщины: свадьбы венчают кругом пня; хоронят мертвых плаксивые бабы; при встрече со священником норовят изругать и плюнуть на след. Не стало попу житья и терпения, хоть сам колокольне молись, а про одного себя пел он обедни что-то чуть ли не десять лет кряду. На этот раз, по необычному на Руси случаю, этот поп был очень счастлив: вдов и бездетен.

Решился он на крайнее дело: со слезами отслужил обедню в последний раз в церкви, поплакал еще на могилках, да по пословице «Живя на погосте, всех не оплачешь». Помолился он на все четыре стороны ветров, запер церковь замком и ключ в реку бросил. Сам пошел, куда глаза глядят: искать в людях счастья и такого места, где бы можно было поплотнее усесться.

— Идет он путем-дорогою (рассказывал мне, по приемам архангельского говора, нараспев, старик с Мезени). Шел он дремучей тайболой, низко ли — высоко ли, близко ли — далеко ли, «челком» (целиком), — ижно пересадился, «изустал». Навстречу ему пала новая (иная) дорога. А по ней идет старец седатой и с лысиной во всю голову, «шибко залетной» (очень старый). Почеломкалися: кто да откуда, и куда путь держишь? — Да так, мол, и так (обсказывает поп-от). — «Да и я, батюшко, тоже хожу да ищу по миру счастья (старец-от): хорошо нам теперь, что встрелись. Худо «порато», что ты черкву свою покинул и замкнул: ты в гости, а черти на погосте. И какой же приход без попа живет? Не урекать мне тебя, когда в дороге встрелись, а быть, знать, тому, как ведется у всех: пойдем вместях. Я тоже бедный. Станем делить, что есть вместе, чего нет — пополам».

Согласилися. Шли — прошли, до большущего села дошли: в «облюделое» место попали. Постучались оны под окном в перву избу: пустили их ночевать и накормили вдосталь-таки, не «уедно да улёжно». Да и обсказывают им про такое-то ли страшенное матерущее дело. У самого богатеющего мужика один сын есть, как перст один: вселился в того богателева сына бес лукавой. Днем бьет его до кровавой пены, ночью в нем на нехороший промысел ходит: малых деток загрызает, да стал и за девок приниматься. Заскучали мужички, а пособить нечем. Сам отец большие деньги сулит, кто беса выгонит: бери сколь на себе унесть сможешь. А поп-от тут и замутился умом, и товарищу покучился.

— Хорошо бы теперь деньги-то на голодные зубы. Эка вто́ра, и лих мне! — способить (лечить) не умею.

А старец-от на ответ:

— Однако попробуем — я умею. Ты ступай затым за мной бытьто бы я тебя затым в помощники взял.

Пришли оны к богателю и обсказались. Вывели к ним парня, что моржа лютого: глазищи кровью налиты и словно медведь норовит как бы зубами схапать, да ногтями драть. Старичок взял свой меч и рассек его пополам: одну половинку в реке помыл, другую половинку в реке помыл. Перекрестил обе, сложил вместях: стал жив человек. И пал затым ему сын в ноги, благодарит Миколу многомилосливого.

«Вот тут я тебе на Николу рассказываю, — заметил старик,— да, надо быть, он самый и был, затым, что у него в руках ниоткуда меч взялся, как его и на иконах пишут. А черковь-то свою он завсегда при себе имеет. Носит он ее на другой руке: за то, знать, он попа-то и попрекнул при встрече».

Дошло у них дело до расчета. Богатый мужик в своем слове тверд, что камень: привел их в кладуху, кладену из кирпича, да столь большую, что и сказать неможно. Справа стоят сусеки с золотом, слева стоят сусеки с серебром: по медным деньгам лаптями ходят, денег — дивно. «Берите, сколько на себе унесете!» И почал поп хватать горстями золото: полну пазуху навалил, полны карманы наклал (знаешь какие они шьют глубокие), в сапоги насовал, в шапку: «жадает». Начал уж за щеки золотые деньги закладывать, да еще товарища в бок

толкает: «Что же ты не берешь? — и приругнул даже. — Победнился». — «А мне-ка, — говорит старец, — ничего не надо». — «Да хоть чего-нибудь схвати!» (поп-от). Сказано: поповы глаза жадные, завидущие. Взял старец с полу три копиецки и разложил их по карманам и третью за пазуху пехнул. И из села пошли. Поп «одва» ноги волочит — столь тяжело ему! Прошли лесом, а он и «пристал»: отдохнуть припросился, «ясти» похотел. Из себя «телесной» такой мужик был!

Пеняет ему старец, святой угодничек:

— Вот ты денег-то нахватал, а хлеба на дорогу не выпросил. Денег при себе много, купить не у чего, а на животе «скёт». Я вот запаслив: у меня три просвирки осталось. Одну дам тебе, другую — сам съем. Отдохнем, да поспим маленько, проспимся: я третью просвирку пополам разломлю.

Съел поп свою просвирку, да словно бы ему еще хуже стало. Скажу уж, согрешу с попом вместе: попово-то брюхо из семи овчин шито. Старец положил кулачок под головку и заснул батюшко, а поп-от из кармана у него просвирку-ту схитил и съел, и спит, словно правой. Пробудился старец: нету просвирки. «Ты, поп, съел?» — «Нету, — говорит. — Может, зверь лесной приходил? — Мало ли его по лесу-то шатается. — А может, и птица стащила? — Да вон коршун-то над головами вьется — знать разохотился: глядит он, нет ли у тебя еще запасной, а я не ел». — «Делать нечего — дальше пойдем!»

«Похряли и опеть». Супротив пала им наустрету река большая да широкая, что наша Печо-

рушка: воды-те благо. А на ней — ни карбасика, ни лодочки, хоть бы на смех колода какая, плот, сказать. Поп затосковал, «беднится», а старец догадался: «Иди за мной, ничего, что нет на реке мосту». И пошли по водам, как по стеклышку. На середке-то старец остановился, да на самом-то глубоком месте помянул и спросил о просвирке. — «Нету, — говорит поп,— не ел». И стал тонуть. «Признавайся до зла: вишь, как худо бывает». — «Нету, — сказывает,— не видал просвирки». Охлябился поп, что «урасливой» (упрямой) конь. И по шею в воду ушел. И в третий раз уж из-под воды выстал, высунул голову: и булькает, и волоса отряхивает, и захлебывается, а все свое твердит: «Не ел я твоей маленькой просвирки: много ли в ней сыти-то? Обозлит только!» — «На нет и суда нет: пойдем, значит, дальше».

Вышли на берег отдыхать надо. «Ты бы, батько, посчитал, сколько ухватил с собой денег-то». — «А теперь и впрямь самое время». Хватил поп в кармане и вытащил уголья. Сунулся в другой — те же самые черные-расчерные уголья, и за пазухой они же, а в сапогах уж он надавил одну черную пыль. Так он и заревел, задиковал. А старец почал его унимать, да разговаривать. «Ужоткова,— бает,— и я свои денежки смекну». Взял рукой в карман, где лежала копиецка, — вытащил пригоршню золота; где другие две копиецки лежали, там то же самое золото. У товарища и слезы высохли. Стал старец сгребать золото в три кучки, — у товарища и глаза запрыгали. — «Вот я опять стану делиться: эту кучку тебе». И сгребает ее: которая монета отваливается, ту опять в ту же

кучку кладет и поправляет. А сам задумался глубоко так-то, словно бы скрозь землю ушел. Вторую кучку стал складывать: «Это,— говорит,— мне». Третью начал сгребать: а у него, надо быть, и глаза не видят, и пальцы не слушаются, и кладет-то их, словно бы отдыхаючи, а глаза у него слезинками застилает. Рассыпается кучка врозь и никак он эту последнюю-то наладить не сможет. Долго он ее складал. А поп-от таращил-таращил глазищи-то, да как спросит:

— А эта-та, третья кучка, кому?

— А тому, кто просвирку съел.

— Да ведь я просвирку-то съел.

«Скажи на милость (нравоучительно толковал мой рассказчик): тонул — не признался; увидал деньги — я, говорит, просвирку-ту съел. Ох грехи наши, все мы таковы! — Не выносить нам платна без пятна, лица — без сорому».

Поделившись двумя случайными примерами, никак нельзя не припомнить, что в тех дальних местах не так давно приходилось наталкиваться воочию на остатки старинной простоты и честности. Например, в архиве г. Повенца, в делах бывшей Паданской нижней расправы (Олонецкой губ.), сберегались записки должников, обеспечивавших долг обязательством: «да будет мне стыдно и волен он пристыдить меня привсенародно». Не могло быть в этих случаях пущего позора, когда снимали с воров и неплательщиков на базарах и на сходках шапки на квит, в полный расчет. Отсюда и объяснение поговорки: «Вор с мошенника шапку снял» (то есть уличил), «С недруга хоть шапка долой» и другие им подобные. Насколько зазорно для жен-

щины, когда ее «опростоволосят», и всем неприятно «опростоволоситься», настолько и для мужчин важно держать голову покрытою. Наши старинные послы в чужих землях не снимали перед королями своих горлатных шапок. Им это раз заметили. Старший посол отвечал:

— У нас шапку сымают, когда в нее горох насыпают.

У ЧЕРТА НА КУЛИЧКАХ

Русский человек вообще любит часто вспоминать про эту нежить, нечистого, лукавого и злого духа, причем богомольные люди стараются незаметно сделать рукой крестное знамение или творят про себя глухую молитву. Иные «чертыкаются», впрочем, не столько в сердцах, сколько по дурной, худо сдерживаемой привычке. Посылают и недруга, и докучливого человека, и всех «ко всем чертям» или в «тартарары», еще не так далеко, как это кажется и как думают о том сами сердитые и вспыльчивые люди. Богатырские сказки и священные легенды учат, застращивая, и уверяют, назидая, что как вымолвишь черта, так он тут и появится с длинным хвостом и острыми рогами. Он готов купить душу и потом оказывать за то всякие услуги. Около святых, по пословице, они любят водиться даже в особину, как и в болотах, в таком множестве, что, кажется, здесь у них самое лакомое и любимое место для недремлющей и неустанной охоты и стойки. Если же кто живет у черта,

да еще при этом на куличках — это уже так далеко, что и вообразить трудно. Последнее выражение только в таком смысле и употребляется, хотя (следует заметить) произносится неправильно. Никакого слова «кулички» в русском языке нет и уменьшительного имени этого рода ни от какого коренного произвести невозможно. От кулича выйдут куличики, а от кулика — куличќи с знаменательным переносом ударения. Если же восстановим в этом слове одну лишь коренную букву и скажем «на кулижках», тем достигаем настоящего смысла выражения и можем приступить к его объяснению и оправданию, как к православному и крещеному.

Кулиги и кулижки — очень известное и весьма употребительное слово по всему лесному северу России, хотя оно, очевидно, не русское, а взято напрокат у тех инородческих племен, которые раньше славянского заняли студеные страны. Они не сладили с ними и мало-помалу начали вырождаться и «погибоша аки обри», говоря словами одного из древнейших, но уже в народе давно и совершенно исчезнувших летописных присловий. Слово «кулига» взято у этих несчастных языческих племен и, по обычаю, приведено и окрещено в русскую веру[1]. Вот как это случилось.

---

[1] Инородческое окончание «га» повторяется в бесчисленном множестве слов домашнего обихода, но в особенности знаменательно в названиях таких крупных урочищ, как озера и реки. Таковы, например, Волга, Ветлуга, Онега (река и озеро), Мягрига, Синдега, Куенга, Лапшенга, Пинега и т. д.

Когда дремучий и могучий богатырь студеных стран России хвойный лес ослабевает в силах растительных, в нем местами являются прогалины, плешины, поляны. Здесь растет торопливо, сильно и густо трава с цветами всякого вида и ягодами всякого рода в обилии и на очевидной радости свободы от умерщвляющего гнета осыпавшейся с деревьев нетленной хвои. Эти лесные острова и есть «кулиги». Дикие инородцы, у которых все боги злые и немилостивые, за исключением одной кереметы, признали такие редкие места за жилища этого добряка. А так как и его, тоже что и старшин, и всякое начальство, надо умилостивлять приношениями ценного и приятного, то в таких местах собираются до сего дня приносить кереметы жертвы. Колют оленей, овец, телок, жеребят; наедаются досыта и напиваются допьяна, поют и скачут. Другого применения этим кулигам дикие звероловы не могли придумать. Пошумят, поломаются, обманут совесть и разойдутся по лесным трущобам, чтобы не сердить и не беспокоить бога. Его это место; оно им зачуровано, и потому для всех свято.

Когда пришел сюда же русский человек, то он сейчас вспомнил, что от перегноя трав на этих местах самая плодородная почва, которую любят и рожь, и ячмень. Тут он и поставил избу, и приладил крест. Кереметь испугалась, отступилась и ушла с того места прочь. А так как русские люди тянулись сюда, по своему обычаю и привычке, целыми артелями, лесные же деревья тоже размножались и жили плотными общинами (сосна — так кругом сосна, ель — так все ель),

то переселенцам и пришлось немного призадуматься. Непролазные леса в этих суровых местах на кулиги неохотливы, легче им жить плотной стеной. Полян, то есть травяных островов или безлесных равнин, в них немного, — все больше сырые болота, где хорошо живется только одним чертям, да и из них подбираются особенные — водяники: нагие, все укутанные в тину, умелые плавать на колодах, целый день жить в воде и показываться только ночью.

Задумываться, однако, не привелось долго таким людям, которые пришли в дремучие леса с сохой, топором и огнивом: начали они рубить деревья топором под самый корень, валить вершинами в одну кучу и в одно место и жечь. Стали выходить искусственные поляны, как места для жилья и пахоты: звали их назади, когда врубались в покинутые леса, «лядами, лядинами, огнищами». Это в западных лесах. В северных лесах, когда начали валить их, углубляясь в чащи с речных и озерных побережьев, прозвали такие новые места и «валками, и новями, и новинами, и гарями, и росчистями, и пожегами, и подсеками, и починками». Чем дальше заходили вглубь, тем больше растеривали и забывали старые слова и все такие «чищобы» под пожню (для травы) и под пашню (для хлебов) стали звать чужим и готовым словом «кулиги». Так и осталось оно за ними на всем огромном востоке России, и выражение «кулижное хозяйство» принято теперь учеными людьми для пользования в книгах и пущено в ход в их сочинениях. Для хлебопашца в лесах это единст-

венный выход и исключительный способ, отчего, как убеждается читатель, и такое множество синонимов на одно и то же слово[1].

Когда и на искусственных кулигах становилось жить тесно, а почва начала утрачивать силу плодородия, уходили от отцов взрослые и старшие сыновья, от дядей племянники и т. п. При полной свободе переходов, с помощью людей богатых, которые давали от себя даром и соху, и топор, и рабочую лошадь, уходили с насиженных и родимых мест так далеко, что и вести достигать переставали. Да и как и через кого перекинуться словом, когда стали жить у черта на кулижках? Когда припугнули трусливых и ди-

---

[1] Для пущего убеждения в географической распространенности и исторической известности слова «кулига» имеем возможность указать на Москву. В те времена, когда этот город, по обычаю и приемам всего государства, созидался и ширился в лесных теснинах и трущобах, под жилые слободы отбили места таким же новинным или кулижным способом. В слободах этих, которые потом вошли в состав Москвы, выстроились церкви, устоявшие до наших дней под непонятным теперь для москвичей названием «на кулижках»: Троицы (за Ивановским монастырем), Рождества Богородицы (на Стрелке) и Всех Святых (за Варварскими воротами). Это в трех местах Москвы, где на сухой горе, среди соснового леса, то есть на настоящем бору, несколько раньше выстроена была одна из древнейших церквей Кремля, собор Спаса на бору. При этом следует заметить, что московские чистобаи (наречие которых принято литературой и в разговорном языке) произносят слово «кулижки» правильно. Грамотеи же, вроде настоятелей тех церквей и составителей указателей, пишут его неверно, заменяя букву «ж» буквою «ш». Повторился тот же придаток к живым урочищам и церквам и в других русских городах, где селения на кулижных росчистях также вошли в городскую границу.

ких инородцев огненным боем, который вспыхивал внезапно, гремел гулко и разил наповал и насмерть, — кулиги стали подвигаться еще дальше. Забрались в конце концов русские люди к самому дальнему черту и очутились у него, конечно, на таких же кулижках в Камчатке. Там уже и небо заколочено досками, и колокольчик не звонит.

В наши времена, когда истребились и поредели леса (и, конечно, гораздо меньше всего в Сибири), в строгом и серьезном безлесье придумано слово «кулижник» и поворочено на бранное всякому тому, кто ворует дорогой лес или вырубает и выжигает заповедный и запрещенный. Теперь стали там говорить, что эта привычка стара — ее бросить пора. На самом же деле лядинное или что то же — «подсечное хозяйство» нашего крайнего Севера и Сибири представляет систему, веками обдуманную, проверенную опытом, поддерживаемую непреоборимыми естественными условиями и, наконец, обусловленную силою экономических влияний.

О ЛЫСОМ БЕСЕ

К слову, после лесного черта (в ответ на запрос, поставленный сомнением), которого, действительно, обещают тому, кто ничем не доволен, желает большего, а пожалуй, не прочь потребовать птичьего молока. Ему сулят именно то, чего не бывает: русский черт, в отличие от немецкого (Мефистофеля), весь в шерсти, а у

домового черта она даже очень мягкая. Разрешается быть голым только водяному черту, но и он прикрывается осокой и является в публичные места только ночью, и может подавать человеческий голос (о чем и сказано выше). Голова у нашего острая, клином, и даже с густым клоком, стоящим торчком между короткими, но острыми, как шилья, рогами. Он складной и переменчивый: по лугам и полям ходит вровень с травой, по лесам в рост самых высоких деревьев. А затем у него все то налицо, что у наших недругов худо: чертова голова, чертова образина. Когда бес на работе и в деле, то нет его ловчей и находчивей: у него научились пронырливые и льстивые люди добиваться цели ловкими подходами, умильными взглядами и гибкими изворотами поклончивого тела. Они «рассыпаются мелким бесом» именно, подобно тому, как «настоящие черти, если им пригрозить «аминем», прикрикнуть на них молитвою, да вовремя догадаться сложить из трех правых пальцев крест. «Беса же тешат» не только одни те старики, которые молодятся: мудрено ли им устоять, когда он вцепится в ребро (в одно время с сединой в бороду), — бес силен горами качать. Беса «тешат», между прочим, и те, которые усвоили дурную привычку, сидя, и во время оживленных и серьезных разговоров, равнодушно качать ногой, положив ее на колено. По народному поверью, черт это сейчас заметит, вспрыгнет на ту ногу, усядется прочно, оскалит от удовольствия зубы и с наслаждением качается.

СЕ́МЬЮ ПРИКИНЬ — ОДНОВА́ ОТРЕЖЬ

Выставляя в первобытной старинной форме эту древнюю, ясную по смыслу и столь вразумительную для руководства в жизни пословицу, останавливаем внимание собственно на цифре, которая рекомендуется ей.

Цифра семь никогда не служила народу единицей измерений, если не считать семисотных верст, которые, однако, в начале нынешнего столетия покинуты и законная мера версты определена в пятьсот сажен. У народа свой счет: обходя десяток, он предпочитает вести счет дюжинами, обходя две и три дюжины, начинает считать дробные вещи и более мелкие предметы сороками. В старину, не признавая десятков, не ввели в обычай сотен и, не доходя до них, вели счет девяностами, а потому и выходило тогда «все равно, что девять сороков, что четыре девяноста», а девять сороков с девяностом — пять девяноста; полпята сорока — два девяноста. Отсюда и сороки́ московских старых церквей и нынешних церковных благочиний, и «сорочки́» шкурок пушных сибирских зверей: куниц и соболей, вложенных в чахол и рассчитанных ровно на полную шубу, а «по́лсорок» — на женскую шубку. Сорок недель каждый человек сидит в темнице (по народной загадке), то есть в утробе матери, и, стало быть, в самом деле, как часто говорится, «сорок недель хоть кого на чистую воду выведут». Через сорок дней или шесть недель надо брать роженице очистительную молитву и столь-

ко же дней молиться об усопшем или справлять так называемый сорокоуст. В последний раз покойник пообедает в сороковой день с оставшимися в живых домашними из той чашки и той ложкой, которые обычно выставляются и кладутся на стол. Вообще «сороковой-роковой» не только в медвежьей охоте, но и в домашней забаве с нынешними «сороковками» зеленого вина, которое, по забавной случайности, разливается и продается из бочек мерою в сорок ведер. «На девяносто» мы уже умели случай натолкнуться, а на «дюжинах» боимся заговориться, хотя не можем не вспомнить, что торговля в некоторых местах требовала считать, в видах личной корысти и расчета на деревенскую простоту, единиц в дюжине тринадцать.

Между тем цифра семь является в счете так часто, что нельзя на ней не остановиться, и представляется такой подозрительной, туманной и необъяснимой, что невольно хочется признавать этот счет не народным, а чужим и приносным. К нему довелось прилаживаться, как прилаживались и пришлые обычаи к установившимся, крепким и коренным народным порядкам. Христианская вера принесла семь таинств, даров Святого Духа, вселенских соборов, смертных грехов, звезд в венце, мудрецов на свете, свечей в светильнике алтарном и запрестольном. Седьмой день в неделе указано отдавать Богу и т. д.

Последний факт указал не только на важное значение цифры семь в старину, но и на влияние ее на судьбы научных мировых истин. Когда Га-

лилей открыл спутников великана-Юпитера и по целым ночам, не отрываясь, любовался системой этой планеты, противники его не только не верили открытиям, но утверждали, что они невозможны. Ученое невежество говорило: «Как в неделе семь дней, так и на небе семь планет (Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн), и больше быть не может. Соединение малого мира, представляемого человеком, с безграничным миром Вселенной происходит при помощи наших органов чувств, расположенных в семи отверстиях головы, а именно: два глаза, два уха, две ноздри и рот. Как нет более таких отверстий в голове, так точно не может быть и на небе более семи планет». За такую еретическую веру в систему Коперника, бывшую тогда в гонении, Галилея преследовали инквизиция и римский двор. В 1633 году совет из *семи* кардиналов осудил его на заточение. Профессор три года должен был прочитывать еженедельно псалмы покаяния и на коленах, держа руки на Св. писании, объявлять, что мнение о вращательном движении земли есть ересь; но четыре спутника Юпитера движутся вокруг него и в настоящее время также точно и непрестанно.

Впоследствии оказалось, что у семи нянек дитя всегда без глазу, как и у этих семи совершенно слепых мудрецов мировая истина. Оказалось также, что у семи пастухов не стадо, и самые праведники (настоящие, а не эти самозванные словесные пастухи), осудившие гениального изобретателя телескопа, стали семь раз в день согрешать.

На св. Руси пригодился и семик — старый языческий праздник, — как дозволенный церковью веселый весенний праздник на седьмой неделе по Пасхе, в четверг, и не перестала широкая «Масленица звать его к себе в гости». У обманщика и неверного в слове человека, также и у бражника, объявились на одной неделе семь пятниц («ни одного срока» — для исполнения обещаний, для отдачи взятого взаймы — и «семь праздников» — все про себя, на прогул и полное забвение обязательств).

Наконец облюбилась народу и узаконилась в его живой речи эта цифра так, что, например, человека, находящегося в самом отдаленном свойстве или родстве, начали называть «седьмой водой на киселе», хотя уже и пятой воде не дает промываемая мука для киселя ни запаха, ни сору, ни пыли того зерна, из которого заквашивается это любимое народное кушанье. Да, к тому же, «седьмая водина на квасине» дает уже такое жидкое пойло, что его и в рот не возьмешь. Положено законом «семерым одного не ждать», ни на пир, ни к работе, ни к обеду. Бойкие и смелые, не дающиеся в обиду люди и сами склонные обижать, стали «отгрызаться на распутьи» ровно «от семи собак», — ни меньше, ни больше. Начали считать «семь пяденей во лбу» умного человека; дружескую услугу, сопряженную с неудобствами, в несвободное время, признали пустяком, не стоящим никакого внимания: «для друга семь верст не околица». Однако убедились, что кому не удастся взять что-либо добром, убедительным уговором и ласкательным словом, тот возьмет

«сам-сём и силком». Так и случилось это раз в Москве, в памятную годину государственной разрухи и «семибоярщину», когда семеро бояр насильственно захватили власть. Тогда точно, в самом деле, по заказу оказалось «у одной овечки семь пастухов», и говорили всем народом про Москву: «Невелик городок, да семь воевод» (а полагалось на каждый не больше двух). Понадобилось для нее семь холмов, когда, возвеличивая свой город по общечеловеческому тщеславию, стали цари почитать и называть Москву вторым Римом («а третьему не быть»). Всегда удивлялись бывалым и опытным, и выражались про них так, что как будто они в самом деле «из семи печей хлеб едали», и над вернувшимися домой ни с чем, без всякой науки, прибытка и успеха — подсмеивались: «Он за семь верст ходил есть киселя», этого самого дешевого кушанья, которым, однако, по пословичной же примете, никто, кроме баб, досыта не наедается. Сильный человек обязан ходить на семерых, а иначе его и богатырем не назовут. Не назовут виноватого преступником, а зовут несчастным, признавая в нем жертву обстоятельств, падшего брата, и преступление его называют бедою. Поэтому всякий мелкий проступок относится к беде и называется этим именем (бедниться — значит жаловаться в обиде). Отсюда и распространенная поговорка, снова понуждавшаяся в цифре семь: «Семь бед — один ответ». Ханжам советует высокая народная мудрость, в согласии с Христовым учением: «Не строй семь церквей — пристрой семь детей», когда такие явные суеверы намереваются

фарисейски тщеславно замаливать тяжкие старые грехи сооружением храмов с золочеными иконостасами и громкими колокольными звонами, и т. д. Впрочем, если подводить полный счет всем случаям, где придается мистическое значение цифре «седмь», можно и конца не найти.

СЕМЬ ПЯТНИЦ

Роковое мистическое число семь, примененное к одному из дней недели, обращается в справедливый упрек тем общественным деятелям, на которых ни в каком случае нельзя полагаться и им доверять. Эти люди, давая обещания твердые и надежные, по-видимому, не исполняют их: либо не платят долгов в указанные сроки, либо не исполняют обещанных просьб; виляют и обманывают, отлагая со дня на день на все семь дней недели, на все 52 недели круглого трудового года. Эти люди, у которых всегда «живет и такой год, что на день семь погод», а это все одно и то же, что «приходи завтра», объявляемое просителям и кредиторам. Не иной какой-нибудь день недели из семи взят в упрек другим и в поучение себе по очень давним историческим причинам и выбран обетным по экономическим бытовым условиям нашей народной жизни.

Некогда, еще в древние языческие времена, этот день недели считался свободным от работ, то есть праздничным, заменявшим воскресные нынешних христианских времен. В эти дни собирались общественные сходки соседей для торга, то

есть обмена своими произведениями и всякими избытками хозяйства. Не привез кто нужного в этот день или получил на это новое требование, обыкновенно назначал срок исполнения заказа и обязательство на установленный еженедельный торг и сборище — на базар и ярмарку. Обычай этот сохранился до наших дней не только в мелочных заказах, но и в таких крупных предприятиях, как многотысячные платежи по вновь придуманным векселям. От Макарья до Макарья, то есть от времени закупки товаров на Нижегородской ярмарке до спуска флагов на ней же в следующем году, или от Макарья до Ирбита, — для сибиряков, от Макарья до Коренной или иной срочной ярмарки устанавливаются денежные платежи по вековечному русскому обычному торговому праву. От базара до торжка; от последнего до ближайшей ярмарки, — это значит одно и то же, что от пятницы до пятницы, но так, чтобы каждая из них не нарушала в исполнительности обета дружбы и взаимного кредита, — было бы слово твердо — по старине. Особенно это было важно в те далекие времена, когда не развито было бумажное производство с вексельным правом и работали на честное слово в промыслах и торговле.

Что пятница была праздником (в подтверждение указанию Толкового словаря Даля и в опровержение предполагаемого им объяснения) и что она, по этому самому случаю, издревле была на Руси обетным срочным днем для исполнения многоразличных и неуловимых обязательств, представляем вкратце собранные нами доказательства. Они собраны нашими личными наблю-

дениями и подкрепляются надлежащими ссылками из разных источников живых (бытовых) и мертвых (письменных).

Девятая пятница, как девятый вал в разбушевавшемся море, не чета другим дням в году и как исключительная пользуется в нашем народе и русском быту особенным почетом. Не обходят этого дня, считая его от дня св. Пасхи, ни Малая, ни Белая, ни Великая Русь: вся святорусская земля с доисторических времен помнит и до сего дня чтит эту почтенную «девятуху».

Не установлено в честь ее особых обрядов и игрищ, какие вообще полагаются для всякого большого праздника, уцелевшего от древнейших исторических времен. На нее не загадывают в канунную ночь, не ворожат и не колдуют, не поют в эту самую пятницу сложенных на ее имя песен, что также при всяком праздничном случае обязательно. Непригодна она и попам как такая, которая не устанавливает ни поминок по усопшим, ни обетной мольбы в воспоминание минувших бедствий и для отвращения грядущих, и ни в каком случае не разрешает свадеб, так как всегда бывает первою после крапивного или всесвятского заговенья на строгий голодный Петровский пост. Приметна и памятна эта пятница суеверным да торговым людям.

Если изъездим всю северную Россию вдоль и поперек, присмотревшись к тем дням, в которые собирается народ для вымена и покупки необходимых товаров, то неизбежно убедимся в том, что пятницам для маленьких торжков или базаров принадлежит самое видное место. Когда же товарный обмен производится в обширных размерах и вызы-

вает людные торговые сходбища, удостаиваемые названия ярмарок — девятой пятнице отдается особенное перед всеми другими преимущество. Если мы сделаем справку, даже самую легкую, например, по сподручным справочным книжкам и возьмем даже самую толстую и более общедоступную, каков «Всеобщий календарь» Гоппе, то и здесь из спутанного перечня «Важнейших ярмарок в России» узнаем, что так называемым «девятым» отведено больше строк и места, чем соседним с нею по времени вознесенским, троицким и ивановским. Тем не менее говорим это про всю Великороссию, а, принимая в соображение исключительно ее северную лесную половину, увидим, что большая часть «девятых» с двумя-тремя днями подторжья и самых ярмарок, приходится производить в грязи по колесную ступицу и в слякоти по колена. Мы имеем полное право удивляться такому неудобному выбору ярмарочных сроков и по усвоенной всеми дурной привычке пуститься даже в обличения, насмешки и гражданские сетования, но на этот раз удержимся. Примем в соображение то, что девятые ярмарки, несмотря на бездорожицу и распутицу, все-таки везде бывают многолюдны, что все эти торговые съезды превращаются в ярмарки в тех преимущественных случаях, когда входят в сближение и вступают в деловые торговые сделки разные местности, исключительно удаленные друг от друга и непохожие по роду занятий и промыслов. На девятых, как на международных промышленных выставках, собирается самый разнородный товар, именно такой, какого ни за какие деньги нельзя приобрести в тех местах, где заус-

ловлены один раз в год на этот самый день эти самые большие годовые съезды. Довольно указать на Коренную в Курске (убитую на нашей лишь памяти бойкою и ловко рассчитанною железною дорогою), которая именно тем и была знаменита, что на девятую пятницу по Пасхе обе России, северная промышленная и южная земледельческая, здесь обменивали взаимно свои изделия.

Умудрившиеся на тяжких уроках в борьбе с суровой природой практические северяне, привычным способом подвергают себя неудобствам бездорожицы весеннего времени именно с тем, чтобы воспользоваться удобствами самой весны. К концу ее в наших деревнях выдается время некоторого досуга. Тогда обеспечиваются на предстоящее страдное время полевых работ необходимыми предметами и орудиями, да, кстати, и легким отдыхом с приятными развлечениями на народе: либо в большом селе, либо в городе.

Какою бы раннею ни была Пасха, к девятой неделе после нее, ко второй по пятидесятнице, посевы обыкновенно бывают окончены, а по положению даже и все поздние. Тянется то самое скучное время, когда при деле не у дел, в ожидании чего-то важного и ответственного, надо бы дело делать, а взяться не за что. Между тем теперь рабочие руки все налицо и дома. Все собрались на полевую страду, как бы далеко ради подспорья и денег ни уходили они на отхожие промыслы. Даже фабричные баловни вылезли из-за ткацких станков и побросали челноки и шпульки, и все ткацкие светелки в девяти средних губерниях заперты на замок до глубокой осени.

Мужская сила явилась на выручку женской и теперь (обыкновенно с последних дней великого поста) все крестьянские земледельческие семьи домой принесли с заработков деньги. Починные весенние работы заделаны, но затем под руками не осталось ничего подходящего и неотложного. Велят ждать. Желающие могут приправляться и охорашиваться, но беспощадное и неустанное колесо еще не вертится, еще не захватывает всеми петлями и спицами, еще не закручивает до обморока и оцепенения, и сорвавшийся с одной петли, еще не попадает и не крутится в другой. Девятая и десятая пятницы, с задними и передними соименными соседками совпадают именно с этим временем гадания и страхов всего чаще за яровые всходы, которые называются в деревнях «межипарьем». Эта пора от посевов до начала сенокоса, продолжающаяся иногда до четырех недель, позывает только на легкие работы и обязывает лишь самыми грязными, на какие охотливее посылаются девки да ребята. В самом затрапезном платье, подоткнувши высоко подолы, возят они в одноколках навоз со дворов на поля под озимые хлеба, сваливают на полосах кучами — потом, не торопясь и полегоньку, разбрасывают и запахивают. По этой-то причине самая пора называется также «навозницей». Исконные и коренные пахари запасаются силой и предпочитают, во всем лучшем и чистом наряде, потолкаться и погалдеть на том и на другом торжке в ближнем соседстве. Девятая пятница здесь — указчица, вопреки известной пословице, и, кроме торгу подходящим товаром, бывает еще тем хо-

роша, что, собирая народ во многолюдстве, облегчает достаточным хозяевам наймы рабочих. После девятой и десятой, и без особого напряжения слуха, достаточно ясной становится близость одной из тяжелых крестьянских работ. Стук по дворам и избам дает себя знать и подсказывает, что отбивают косы, купленные на пятницких торгах вместе и кстати с серпами и другим необходимым железным товаром. Косы острят теперь, оттягивая лезвие молотком, вроде тупой кирки, на маленькой наковальне и потом подтачивают на бруске и правят деревянной лопаткой, усыпанной песком по смоле. После Петрова дня начинается законное и обязательное для всей северной Руси время сенокоса (в более благодатных странах позападнее и поюжнее первый покос начинается неделей и более раньше, чаще с Иванова дня, то есть — 24 июня).

Я, впрочем, далеко забежал вперед: весенние пятницы велят остановиться и задают серьезный вопрос о себе самих, о девятой и десятой в особенности. В самом деле подозревается за ними что-то таинственное и символическое и при таковой исключительности их, в силу множества однородных заведомых народных обычаев, предполагаются признаки языческих верований не совсем ясные по сравнению, например, с семиком, колядой, купалой и т. п., как очевидно изношенные, а потому в особенности любопытные.

За справками всего благонадежнее отправиться туда, где старинная народная жизнь сохранилась цельнее и языческие верования мало поколебались и отлично сберeглись благодаря

изумительному домоседству жителей и разъединяющему географическому положению. Около года мне привелось там производить наблюдения, видеть эти самые пятницы лично и слышать про них довольно много, чтобы быть в ответе и рассказать об одной пятнице, которая преследует всякого, изучающего нравы белорусов.

Буквально на первых шагах, когда привелось удалиться от городов и отдаться наблюдениям в белорусских деревнях, заветным днем недели оказался не тяжелый день — понедельник и даже не воскресенье, называемое здесь по-старинному и по-славянски «недзелей» (неделя). Выделяется пятница, или, по-тамошнему, «пяценка» и «петка», тем, что по всей этой лесистой, болотистой и исключительно земледельческой стране этот день полагается днем нерабочим: нельзя шить, нельзя купать ребят, мыть и золить белье. Начатую работу, обойдя запретный день, кончают в субботу и с тем, чтобы тогда же непременно начать новую, предназначенную на следующую неделю. До изумления старательный, терпеливый и трудолюбивый белорус семи русских губерний в этот день старается не работать на себя, не пашет полос пашни своим семейством. Он искушается на такой тяжкий грех лишь по найму, трудится в людях и на чужих с глубокой верой, что эти уже примут на свою душу грех и ответят за него, кому следует, и, между прочим, самой Пятнице. Когда в Великороссии остались в народной памяти и в чести только три пятницы (девятая, десятая и в особенности Ильинская), в Белоруссии, таким образом, опасны и страшны все пятьдесят две, и между ними тре-

буют особенного себе почета и чествования все весенние, до десятухи (десятой). На них выпали все праздники и игрища с дудой и песнями, так называемые «весенины». Понятно, что, пользуясь таким благоприятным обстоятельством свободных от работ дней, на них основались и те сроки торжков, белорусских «кермашей» и «красного торга», которые особенно дороги и умеют удачно подслужиться перед страдою. Точно также все работы в больших хозяйствах, когда своими силами не управиться и надобится великорусская «помочь» или белорусская «толока́» за приличное угощение, везде, по всему русскому западу, производятся в эти дни, как бы в воскресные или праздничные. Принося хозяйству значительную помощь, пятницы, как и прочие обетные дни (заказанные по случаю градобитий, сильных наводнений и других народных бедствий), — являются одним из основных краеугольных камней нынешних хозяйств. В то же самое время для неимущей братии эти дни — великое спасение и утешение, и потому она здесь является на глазах у всех первою и последнею, выманивает и благодарит, непрестанно распевая за поящих, за кормящих, за весь мир православный.

В Белоруссии вышло естественным путем также и то, что торговые дни разбросаны по всем пятницам, а более удачным и счастливым местечкам досталось на долю по несколько таковых разом. Так, в Могилевской губернии, близ самого губернского города, в одном из самых древних местечек, расположенном по подолу Днепра, в Полыковичах (в старину — Отмут) чествуются три пятницы: десятая, одиннадцатая и двенадцатая; в городе Бы-

хове и местечке Кричеве — десятуха, в местечках Шклове и Журавичах — девятница, да еще, сверх того, сама по себе, осенью Параскевьевская перед днем 14 октября, когда празднуется память мученицы Параскевы, нареченной Пятницей, пострадавшей при Деоклитиане в Иконии и, в первые времена христианства на Руси, сменившей древнее божество кривичей. Уже потому оно было важно и почиталось сильным, что потребовало такой замены, и боготворение его несомненно было повсеместным, так как понадобилось при этом религиозном перевороте изображение святой греческой не иначе как в виде *изваяний из дерева*.

В местечке Лукомле (в Сенненском уезде Могилевской губернии) таковое изваяние «Пятенки» собирает в одиннадцатую пятницу после Великодня (св. Пасхи) до трех тысяч человек богомольцев из трех соседних губерний (Могилевской, Витебской и Смоленской). При местном храме сохраняется камень, называемый «стопа», с изображением креста и славянской надписи, которую по причине давнего, в течение нескольких столетий, усердия богомольцев, выражаемого прикладыванием губ, в настоящее время прочесть нет никакой возможности. Почитается камень как святыня, но по какой причине и с какого повода— нельзя было дознаться о том даже из темных преданий. Такую же чудотворную икону заведомо чтут еще в местечке Дивине (Гродненской губернии) и в последнее время еще с усиленным рвением с той поры, когда во время пожара хотели ее вынести, но не могли сдвинуть с места. Везде, конечно, пристраивается также шумный и живой торжок с тою неизменною особенностью его,

что количеством народа он во всяком случае уступает осенним пятницким торгам, когда свободны все руки и покойно сердце. Полевые работы все кончены и начинается время отдыха; для всяких праздников (если имеется на что) — широкий досуг. Тогда выбираются сроками для сходок последние пятницы перед колядами (Рождеством Христовым) и носят общее название «красных торгов». Впрочем, как бы ни путалась в годовых неделях удобная для торгов обетная пора, она старательно выбирает преимущественно пятницы.

Всматриваясь в списки ярмарочных сроков, невольно убеждаешься в том, что если обойден где-нибудь занимающий нас день, то, наверное, потому, что по соседству в другом ближнем месте воздано ему обязательное внимание. Точно также кажется, что если весенние и осенние ярмарки приурочены к другим выдающимся праздникам, ежегодно сменяющим дни, то устроилось это лишь за недостатком требуемого числа пятниц, то есть спрос совершенно превысил на этот раз предложение. Из пятницких торгов в этом древнейшем русском крае составляется поразительно длинный список: достаточно сказать, что на одну Могилевскую губернию приходится 17 пятницких ярмарок, и в 14 городах и местечках происходят базары, обязательно в каждый пятый день христианской недели, несомненно бывший главным праздничным и первым в неделе у языческих кривичей. Соображаясь же с тем обстоятельством, что и у западных славян (у сербов в бадний день, у босняков, галичан и т. д.) почитается «святая Пятка» (и ее поминают во всех молитвах по поводу хлебного урожая

рядом с Пресвятой Девой) — в Белоруссии пятницкие торги, часовни на подолах рек и при них игрища, церкви во имя св. Параскевы служат признаками и прямыми указаниями на древнейшие славянские поселения в крае, совершившиеся во времена дохристианские.

В самом деле, при учете пятницких храмов во всей обширной белорусской стране сравнительно большое число их резко бросается в глаза и притом часто сопровождается следующими обстоятельствами. Первый христианский князь в земле кривичей (Брячислав, а по другим Вячеслав) строит в стольном городе Полоцке три храма: Софии, Бориса и Пятницу в 1203 году. Первая православная церковь в Вильне (и притом каменная и, конечно, весьма небольшая, недавно возобновленная), та самая, в которой Петр Великий крестил предка нашего бессмертного поэта А. С. Пушкина — любимого арапа Ибрагима (Ганибала), построена женой литовского князя Ольгерда, княжной витебской Марией, на месте языческого капища около 1330 года. Здесь она и погребена[1].

Из других исторических памятников выводится именно то прямое заключение, что славянская Пятница как божество была покровительницею усопших душ. Монастыри ее все — кладбищен-

[1] Во всех заведомо древнейших городах неизбежно являются пятницкие церкви, так что перечисление и указания постройки в первые годы христианства на Руси становится совершенно излишними. Припомним лишь при этом, что имя Параскевы было любимым в великокняжеских древних родах, и дочь того же полоцкого Брячислава, отданная замуж за Александра Невского, носила это же имя.

ские или, как называли в старину, «божедомки». В таком смысле верование это перешло и в Великую Россию, на Восток и Север, где изваяниям Пятниц принадлежит такое же исключительное право и почтенное место, где пятницкие церкви богаты синодиками, так как богатые люди предпочитали творить молитвы за своих умерших именно здесь. Поэтому Пятница явилась покровительницею убогих и нищих во всей древней Руси, и около этих церквей (обычно выстроенных на подоле, то есть у рек и самой воды) во всех местах селилась нищая братия своими хатами и логовищами[1]. Где не было воды, там непременно рыли колодцы и пруды. До сих пор белорусские женщины не перестают молиться святой Пятенке о дождях для урожаев, поступая при этом так:

когда наступает время жатвы, одна из деревенских старух, легкая на руку и этим достоинством всеми известная, отправляется в поле ночью и сжинает первый сноп. Связав его, ставит она на землю и три раза молится в это время Прасковье-Пятнице, чтобы помогла рабам Божиим (помянет всех женщин своей деревни, на которых, по белорусскому хозяйскому обычаю, лежит обязанность жнитва). Просит старуха об окончании, без скорбей и болезней, тяжелой работы и быть заступни-

---

[1] Так, между прочим, было и близ Москвы, в Троице-Сергиевой лавре, где Дольный, или Пятницкий, монастырь (от которого сохранилась теперь только кладбищенская церковь под лаврской горой, на Подоле) собрал слободку из бедных и потребовал от обители особого приюта для убогих и престарелых, преимущественно женщин.

цей от лихих людей, особенно тех, которые умеют делать «заломы». Затем берет она свой сноп и, крадучись ото всех, несет его в свою избу. Всякая встреча при этом — недобрый знак.

Для окончательного подкрепления представленных здесь наблюдений и убеждения в древнейшем значении пятого дня всех годичных недель, в той же Белоруссии поступают так:

осенью, в урочный день поминок по родителям, в так называемый праздник «дзядов» (дедов), непременно вечером с пятницы на субботу, каждый дом для своего семейного покровителя — духа-деда — печет блины, режет кабана (свинью) и варит борщ с салом, которых бывает четыре сорта. Все эти кушанья в горшках и на латках расставляются по лавкам. Выступает живой дед, самый старший старик, берет черепеньку с угольями вроде церковного кадила, кладет в нее смолу и машет, чтобы охватило дымом кушанья. Сядет он затем за стол, положит на него плеть и зачитает самодельные молитвы без склада и смысла — и беда тому, кто осмелится усмехнуться, — под руками лежит и орудие расправы. А бессмысленные и смешные молитвы читает старик перед всяким блюдом, после чего следует легкий загул. Меня уверял этот самый живой образ и религиозное лицо кривского культа, старейшина Несторовой летописи, заблудившийся в белорусских пущах до наших дней, что маленькая семья в этот вечер выпивает не меньше четверти водки.

После всего сказанного нам уже незачем переходить в Великороссию, потому что если и по-

пробуем поступить так, то неизбежно встретимся с тем же языческим обликом пятницы, несколько потускнелым (сравнительно с белорусским) и с христианскими образами Параскевы, совершенно потемневшими от времени. Великоруссы на большую часть вовсе забыли в чествуемых пятницах соименное им женское божество. Но изваяния св. мученицы Параскевы в очень многих местах по северной лесной России (в особенности по Олонецкой губернии, вплоть до села Шуи Архангельской, лежащего уже на берегу Белого моря) почитаются либо явленными, либо чудотворными. Они занимают видные места (в красивых и богатых киотах) либо в церквах, либо в нарочно сооруженных часовнях, при обязательных родниках и копаных колодцах. Затем, кто же по всей России не благоговеет в страхе перед Ильинской Пятницей?

СЕРЕДА НИЖЕ ПЯТНИЦЫ

Ильинская Пятница, всем пятницам мать и на́большая: все пятницы в году — тяжелые дни, но эта — опаснее всех прочих и считается таковою с тех самых темных времен, как зачались на земле русская жизнь и народная вера. Как ни напрягали свои усилия христианские учителя, чтобы ослабить это суеверие, все попытки их оказались втуне. Заменяли они пятницу мученицей греческой церкви Параскевой — народ слил оба имени вместе и счел заодно. Снисходя слабости душ и сердец и уважая твердость убеждений и прочность верований, про-

поведники отделили двенадцать особенных, обязавши их постом, но народ отстоял все пятьдесят две, окружил каждую почтением и суеверными страхами и давал в том даже формальные записи. Известна, между прочим, заповедная крестьян Тавренской волости, писанная в 1590 году: «...а в пятницу ни толчи, ни молотити, ни каменья не жечи, проводити с чистотою и любовию» (см. «Крестьяне на Руси» — Беляева, стр. 70). Выкидывали пятницу из списка или «Сказания, каким святым каковые благодати от Бога даны и в каковые дни им подобает возносити молитвы», — народ все-таки продолжал чтить в ней богиню: «водяную и земляную матушку» и чествовал праздником по соседству и в равенстве с Ильей — бывшим громовником. Когда исторические судьбы назначили русскому народу новые встречи, пятница у мусульманских народов оказалась еженедельным праздничным днем, а у самого многочисленного и сильного из языческих инородческих племен — мордвы — таким же исключительным и заветным: вот, стало быть, и новые веские поводы укрепиться в прадедовском веровании. В молодой России, где православие сильно мутится новыми толками в духе рационализма или обезличивается равнодушием к делам и обрядам веры, языческая пятница все-таки не перестает смущать. В Купянском уезде Харьковской губернии в 1872 году пронесся слух, что один крестьянин встретил Пятницу, за которою гнался черный черт — и теперь все крестьяне празднуют этот день как воскресенье (см. корреспонденция «Спб. Ведом.», 21 июля 1872 года, № 197). У казаков на Дону (или лучше у казачек)

едва ли и теперь не живет живая Пятница недалеко от Старочеркасска, девка лет 70-ти, под названием Ельчихи. Старочеркасские староверы от мала до велика в известное время, по утренним и вечерним зорям, ходят к ней на всеобщее богомолье. Святоша эта, имеющая обыкновение при входах во двор не притрагиваться руками к воротам и заборам, почитаемым ей погаными, сообщает изуверам какие-то тайны, причащает их и т. п. Пробовали в апокрифических писаниях, в списках, распространенных в народе в громадном количестве (разнообразных и несходных) умалить и самое значение поста в Ильинскую Пятницу; писали, что «тот человек сохранен будет всего только от плача и рыдания»[1] — и этому не вняли верующие. До сих пор в этот заповедный день не пашут, не боронуют. Уверяли, что в награду за этот пост поведутся в благочестивом хозяйстве хорошие крепкие лошади, а у матерей семейств будут легкие роды[2], народ твердит свое: «Если зародится в тот день чадо, то оно будет либо глухое, либо немое, либо выродится

---

[1] По моему списку, приобретенному на Печоре в 1857 году.

[2] По списку протоиерея Малова, помещенному в его «Письмах к воинам» (Спб., 1831). Во многих, впрочем, списках Ильинская даже не упоминается вовсе: так, во всех распространенных по Малороссии и Белоруссии, и тоже между собою несхожих, ее заменяет либо та, которая предшествует второй Пречистой (Рождеству Богородицы), либо зеленым святкам (Троице), либо, наконец, той, которая бывает перед «Ушесцьем» (то есть ушествием или вознесением). Разное распределение, разное и значение у каждой пятницы.

из него вор, разбойник, пьяница, чародей или вообще всем злым делам начальник». Девицы-невесты, обучившиеся молиться (28 октября, в день св. мученицы Параскевы, нареченные пятницы) так: «Матушка-Прасковея, пошли женишка поскорее!» — на Ильинскую Пятницу о таковом желании своем помалкивают. В Белоруссии они даже в открытую распевают так: «Породзила меня матушка у несчастный день у пятницу, не велела мне матушка белиться и румяниться».

А где таким образом поют и молятся, там, когда сладится свадьба, перины и все невестино имущество отпускают в дом жениха не иначе как в пятницу вечером. В Малороссии обрядовый свадебный хлебец «лежень» кладется на стол невесты в пятницу же и лежит до венца под двумя ложечками, связанными красной ленточкой, и т. д.

В столице Белоруссии, в Смоленске, духовенство достигло, однако, того, что отбило пятницы первых четырех недель св. четыредесятицы. Там приучили народ (впрочем, лишь только с половины прошлого века) ходить в Авраамиев-Спасский монастырь (один из древнейших в России, как основанный еще в XII веке) и выстаивать особые службы в воспоминание страстей Господних, известные в Смоленске под католическим именем «пассий». На повечерях читались, среди церкви, Евангелия страстей, пелись две песни: «Тебе, одеющегося светом яко ризою» и «Приидите ублажим Иосифа приснопамятного» и читалось поучение с очевидным намерением службою величайшей в христианстве пятницы

Страстной недели сокрушить неодолимую мощь и силу языческих пятниц.

В свою очередь в разных местах Великороссии слышится одна и та же легенда о девушке, которой госпожа приказала в этот день работать. Она, конечно, послушалась. Пришла к ней Пятница и в наказание велела, под страхом смерти (и смерть стояла при ней вживе), спрясть сорок мычек и занять ими сорок веретен. Испуганная до лихорадки девушка, не зная, что думать и делать, пошла посоветоваться с опытной и умной старухой. Эта велела напрясть ей на каждое веретено по одной лишь нитке. Когда Пятница пришла за работой, то сказала девушке: «Догадалась!» — и сама скрылась, и сошла беда на этот раз с рук. Во всех других случаях бывает хуже, именно потому, что Пятница, ходя по земле, сама за всеми наблюдает (а хождение Пятницы — повсеместно распространенное верование). Ходит она всюду вместе со смертью, а потому, не медля, и наказует ей: обычно делает так, что скрючит на руках пальцы, а мужчинам вложит в спину стрелье и ломоту. Пятницу все могут видеть, и кто видел — тот хорошо распознал, что это еще молодая женщина. Иногда она очень милует и награждает, а в иную пору жестоко наказывает. У одной женщины, непочтившей ее и работавшей, она просто-напросто содрала с тела кожу и повесила на том же стану, на котором та ткала холст. Попался ей раз навстречу по дороге работник, который отошел от хозяина. Сел этот прохожий закусить, а к нему и напрашивается неведомая красавица, чтобы раз-

делил с нею хлеб-соль. Поели они: «Вот тебе за то награда: иди в это село, найди там богатую девушку-сиротку, бери ее за себя замуж. А я даю тебе сто лет веку». Он так и сделал. Жил он ровно сто лет, и пришла к нему Пятница с тем сказом, что пора-де умирать. Умирать не хочется: «Прибавь еще одну сотню!» Прибавила. Когда исполнился последний день этой второй сотни лет, она опять пришла. — «Еще прибавь сотнягу!» — Прибавила. Жил-жил человек и самому даже надоело, и такой он стал старый, что по всему телу мох вырос. Приходит святая Пятница и смерть с собою привела: «Ну, теперь пойдем: и вот тебе хорошо местечко здесь остаться». Место очень понравилось, но она повела на другое, которое ветхому старику еще больше полюбилось. Когда привела его на третье, то отворила дверь и пихнула его прямо в ад и промолвила: «Когда бы ты помер на первой сотне своих лет, то жил бы в первом месте, на второй — на другом месте, а то в триста-то лет ты столько нагрешил, что где же тебе и жить, как не у чертей в когтях?»

Этою легендою дается, между прочим, объяснение тому повсюдному на Руси обстоятельству, что пятницким церквам отводятся места на кладбищах (как св. Власию на выгонах) и «девятничают и пятничают», то есть по старинному старухи весь день проводят в строгом посте, воздерживаясь даже от рыбы, и по нынешним обычаям — пьянствуют в память умерших родителей, именно в Ильинскую Пятницу особо и сверх прочих поминальных и панихидных дней.

Понятным делается и название в древнейших городах пятницких концов, приходившихся за окраинами города, как было то, например, в древнем Торжке и в самом древнем Новгороде, а равно и учреждение на «божедомках» скудельниц. Сюда в старину свозились и сваливались в кучу умершие насильственною или неестественною смертью, погибшие на поединках и самоубийцы. Их тела, без отпевания, оставлялись непреданными земле до Ильинской Пятницы (в иных местах до Семика), когда благочестивые люди обыкновенно рыли для несчастных могилы, погребали их и, за свой страх, пели по ним панихиды. В Ильинскую Пятницу исстари, как и во все прочие годовые, по селам и городам собирались земледельцы и купцы для торгу, но Ильинская отличалась от прочих тем, что тогда производился суд, расправа и казни, конечно, наводившие еще больший страх и запечатлевшиеся в народной памяти. С преклоненной головой, со согнутой в кольцо спиной ползает под образами мученицы Параскевы вся женская деревенская Русь. На коленках до жгучей боли и до крови оползают они бесчисленные часовни при родниках, посвященных ее же имени. Любознательные, не утруждая себя слишком и не ходя далеко, могут отчасти видеть это всего лишь за Охтами, на казенных пороховых заводах, — и в поразительных размерах и с изумительными подробностями с небольшим в ста верстах отсюда, в селении Ильешах Ямбургского уезда. Сюда, в течение многих недель, общество Балтийской железной дороги зазывает богомольцев объявлени-

ями об экстренных поездах по три раза в день, сверх трех обычных. Поезда довозят до станции Молосковицы, от которой до заветного места всего 14 верст. Железнодорожное правление догадалось прислужиться богомольным людям даже и уменьшенною ценою обратных билетов третьего класса.

Народное религиозное усердие к ильешевской церкви оправдывается еще тем усугубляющим обстоятельством, что при двух предельных алтарях (пророка Илии и великомученицы Пятницы[1]), главный посвящен Николе, издревле заветному для русского народа в такой степени, что все разноплеменные инородцы считают мурликийского святителя русским богом и уже давно чтут его в свою очередь наравне со своими богами, столь древними, как белый свет. Ильешевская же Пятница для поклонения своего указала богомольцам два места: «явления» в неизвестные отдаленные времена, в полутора верстах от церкви, в поле (где теперь часовня) и «поставления», то есть самую икону в храме погоста. Погост этот в XVI веке носил название Григоровского Лешского (то есть лесного), несмотря на то, что церковь звалась Великий Никола. Старый погост успел слиться с позднейшею деревнею в нынешнее село.

[1] В предупреждение читателей, могущих принять имя Параскевы за переводное (с греческого языка на славянскую «Пятницу»), как это в самом деле на Руси сделано, например, с именем Феодота в Богдана, Милия в Воина, Синетоса в Разумника и т. д., сообщаем справку о том, что Параскева в переводе с греческого на русский язык значит «уготованная».

Образ изваян из дерева и, как все такого рода иконы, наглядно свидетельствует о древнейшем своем происхождении и чрезвычайном народном почитании. Последнее обстоятельство подтверждается именно тем, что образ устоял на месте в числе немногих в России даже в те строгие времена, когда энергически и решительно изгонялись из русских храмов этого вида и характера иконы. Значительное число их было свезено в Новгород и свалено под софийскою звонницею. Какая судьба постигла их впоследствии — неизвестно. Значительную часть, конечно, сожгли. Вообще, надо сказать, мало кто интересовался таким в своем роде замечательным историческим музеем, хотя, по многим данным, в некоторых изваяниях могли чествоваться истуканы языческой эпохи. В них плоская резьба грубого, детских рук, дела, лишь при условных намеках подобия чертам человеческих лиц, прямо свидетельствует о том, что изваяния рублены в пределах новгородской земли в те времена, когда новгородцы не заслуживали еще известных летописных упреков от южан, за известное искусство свое, «яко плотницы». Едва ли интересовались софийским иконным складом и староверы: для них всего важнее тонкости живописных пошибов и различные отмены в письме против правил изографов: рублевского от корсунского, афонского и цареградского от строгановского и т. п., а не фигуры, не видавшие ни долота, ни скобеля, но один лишь топор и то, может быть, еще каменный.

Перед столь же древним и замечательным изваянием в Ильешах шумно и открыто прояв-

ляются, в согласном и дружном сочетании, силы двоеверия, несомненные также и по историческому и этнографическому значению самой местности. Напомню еще раз, что здесь, на этом самом пункте, кончилась свободная, необузданная в стремлениях новгородская колонизация, не знавшая пределов и отдыха отсюда вплоть до Камчатки и американского берега. Здесь же ладно поселилась и мирно ужилась новгородская вера и народность при взаимных одолжениях и обязательном обмене всем с тою инородческою, которая в летописях путалась под названием Ижоры и Веси. Когда освящали в недавнее время в Ильешах новую каменную церковь, собравшийся народ проявил такой религиозный экстаз и обставил его такими необычными видами, что удивлялись даже приглядевшиеся к диковинкам. Не отказывается толпа пооткровенничать здесь запоздалыми выходками темного суеверия и теперь, в более спокойное время, не вдохновляющее какою-либо чрезвычайностью события, хотя бы вроде освящения нового храма. Благоговейно припадают теперь толпы народа под образ, высоко поднимаемый над головами преклоненных богомольцев и несомый на особых носилках в киоте во время крестных ходов с места поставления на место явления и обратно. Затем, по обычаю всех подобных сборищ, после церковных утренних торжеств, с полудня начинается ярмарка с шумом и гамом не одной тысячи празднично настроенного люда. Часовенное место в Ильешах в особенности знаменательно: в то время когда около иконы сосредоточиваются обряды христианского

характера, на месте явления ее обнаруживаются другие виды.

Подле самой часовни растет развилистая береза, почитаемая священною за то, что на ней спаслась Пятница от преследования соблазнителя в виде черта. Он с досады начал бросать в убегающую камни и завалил ими всю окрестность. Один булыжник попал на березу и там врос в кору так, что теперь его едва видно. И дерево это, и камень на нем удостаиваются особого народного благоговения, но главным образом почитается другой камень, который лежит близ корня. По одной из множества легенд, существующих в народе об этой местности, на этот камень ступила преследуемая злым духом Пятница и с него прыгнула на березу, оставив след ступни. Последняя ясно обозначается большим углублением, достаточно глубоким для того чтобы просунуть туда руку. В нем скопляется и тщательно сберегается дождевая вода, конечно, грязноватая и сорная. Вода эта целебная: это — слезы праведницы, плакавшей о людских прегрешениях. Вода врачует от всяких болезней и преимущественно от глазных. Впрочем, исцеляет здесь и сельский колокол, под который во время благовеста и звона становятся все глухие. Врачует и песок, и все прочее на этом святом месте, которое привлекает всех болящих разнообразными недугами. Характер последних в особенности разновиден: это не только окрестные простолюдины, но и та столичная интеллигенция, на которую рассчитывает Балтийская железная дорога, настойчиво напоминая о близости Ильинской Пятницы. Для наблюда-

теля на месте в особенности может быть интересна именно эта категория наезжих и их классификация. Здесь все действуют в открытую, не стесняясь. То, что под известным давлением в столице таится или скрывается, в Ильешах, как у себя дома — как бы в каком-нибудь мертвом и глухом захолустье — откровенно высказывается в самых разнообразных с трудом уследимых картинах. Они часто обставляются крайними выходками несдержанного фанатизма и, между прочим, обязательно требуют раздирающих душу воплей кликуш.

Главный интерес для наблюдателя, конечно, представляют во всяком случае эти следы древнего почитания дерева и камня, старинного по существу и облеченного лишь в новую форму. В газетных корреспонденциях нередко наталкиваешься на подобные указания, и в особенности на эти следы человеческих ног на каменьях. Так, например, кроме знаменитой стопы, показываемой в Почаевской лавре, имеется указание на местечко Лукомль (Могилевской губернии Сенненского уезда), где в местной церкви хранится такой же камень со стопой, как уже сказано нами.

Указанием на эти живые урочища и вещественные следы древнего языческого культа мы желаем обратить внимание исследователей — и на покинутых славянских богов, и на места их почитания. Сколько известно, изучения в этом направлении не производились до сих пор. О самой Пятнице как славянском божестве, имеющем близкую и тесную связь с более известным и определенным Перуном, мы имеем одно только исследование профес-

сора Веселовского (напечатанное в «Журнале Министерства Народного Просвещения»). Однако не нашлось до сих пор ни одного досужего человека, который составил бы по готовым материалам хотя бы краткий перечень сохраняемых как заветные деревьев и почитаемых за святыню каменьев. Те и другие в изумительном множестве рассажены и рассыпаны по лицу земли Русской, оживленные различными интересными легендами, с достаточною ясностью свидетельствующими о живучести старой народной веры. Вот она въяве с мельчайшими подробностями всего во ста верстах от цивилизующего города и в 14-ти от той самой дороги, которая имеет претензию возить прямо на европейский Запад. Мало того: эти доисторические обычаи и верования имели твердость уберечься в таком пункте, где кончаются крайние русские поселения, где предполагаются по этому случаю три соединенные усилия: католического ксендза, протестантского пастора и православного священника. Наконец, эта местность — вовсе не трущобное захолустье, а весьма известная всей гвардии как посещаемая ей в последние дни маневров; издавна пролегало здесь Нарвское шоссе и примыкал один из косяков того окна, которое прорубал Петр Великий.

СЕМИПУДОВЫЙ ПШИК

Как у портного на ножницах, у некоторого кузнеца осталось «на клещах» семь пудов железа. Куда с ним деться и на что употребить? Место глухое и бедное, заказов никаких нет.

Ездят все на одноколках и не только не обивают шинами колес, но и в самой телеге не найдешь ни одного железного гвоздя. Таких местностей на Руси еще очень много, и для примера можно взять даже целую страну, Белоруссию, которая захватила собою шесть русских губерний. Кто купит топор или обзаведется сошником или запасется заступом, тот уже показывает их всем и хвастается. Кто это видит, тот завидует. Ждет кузнец, пока у какого проезжего лопнет шина или потеряется подкова, а скопленное железо тем временем лежит попусту, и ест его ржавчина. Надо же его наконец к чему-нибудь приспособить.

Выдумал кузнец выковать из него крест:

— Свезу на базар: приглянется какому купцу, захочет порадеть на матушку-церкву, — купит.

Вскоре в ближнем селе, подле церковной ограды, на свежем навозе и по колена в грязи загалдел базар на сотни крикливых голосов. Громко, во все горло, заговорила деревенская нужда, не стесняясь и не оглядываясь. Шатаются между возами мужики и бабы: смотрят товары и ощупывают, хлопают по рукам и торгуются, божатся и ругаются, увидят крест — дивуются:

— Какой ты большой крест выковал!

— Одной рукой не поднимешь!

— Кабы поменьше выковал — на нашу бы колокольню годился.

— Наша не выдержит, — рассыплется.

— Ты бы свез его в город: там купят.

— Словно бы он топором его тесал, а рубанком-то и не прошелся: в городе не понравится.

Подходили к кресту и зубоскалили; поднимали за один край — крякали и отходили прочь.

Базар тем временем стал замирать и наконец разъехался. Повез кузнец свое изделие опять домой непроданным.

— Надо крест поменьше сделать: этакой скорей подойдет, и купят, — подумал кузнец про себя и начал перековывать.

Выковался крест в пять пудов, опять лежит на возу на базаре и опять ждет охотника.

— Великонек, друг, великонек: давно присматриваюсь, купил бы да не подходит.

Сделал кузнец поменьше: весил крест три пуда. Кто подговаривался на прошлом базаре, теперь не пришел. Из новых никто не присматривается: все проходят мимо. Один фабричный привязался, захотел пожалеть, а сам насмеялся:

— Ты бы его надел на себя, да и прошелся бы по базару-то; базар на всякое диво охотлив; может, кто бы еще и подал на бедность.

Кузнец был упрям, как бык. Он сказал себе: хоть надорвусь да упрусь, а потому базарной мирской науки не послушался.

Опять и на этом базаре остался товар на руках. А так как у кузнеца рука легка, а шея крепка, то и на этот раз принялся он за ту же работу, и новый крест сделал в пуд. С ним снова набивается. Подошел к базарному товару поп, постукал по нем пальцами, перевертывал. Нанизу посмотрел, чего не написано ли, — сказывал:

— Поставить на церковь — мал; к осенению — не годится; для напрестольного — груб, в воздвизальных — как его таким-то народу покажешь? А хорош: нескоро изотрется. Ты бы, сын мой, походил по монастырям: не отыщется ли где отшельник. К веригам твой крест ладно прилажен: и неуклюж, и тяжел.

В монастырях кузнецу везде одно толковали:

— Не те времена. К нам ты припоздал: был один такой, что все уходил в лес спасаться, а наконец и совсем сокрылся.

— У нас есть спасенники: по кабакам валяются, — юродствуют. Сходи к которому — примеряй!

В кабаках кузнеца утешали:

— Хорош был бы твой крест, когда бы его на шею мироеда надеть разрешили тебе, а ему бы приказано было тот крест носить, не снимаючи, во всю жизнь до гроба.

— Большие бы заказы мужик доспел, кабы этак-то...

— А бывало дело такое: одному такому-то где-то из самого Питера дослали, слышь, не то железную медаль, не то крест, тоже вот в пуд весом: носи на здоровье! Как в люди идти, так и надевает. Дома, если спать ложится, разрешали снимать.

Все-таки надо было крест переделывать, а в фунтовых крестах кузнеца еще больше стали путать. Никому он не угодил, да и ставил товар в большую цену; довелось просить и за маленькой ту же плату, во что обошлись и большие: ставил в счет все семь пудов старого железного лома.

Не клал и не считал только то, что уходило на угар да на обрезки: все, что по обычаю кузнецу на клещи полагается.

Наконец порешил он так, что быть кресту тельником: станет его носить сам на груди под рубахой, на доброе здоровье и на спасенье. Незачем в люди ходить срамиться.

Стал он его накаливать да поколачивать. Разстукает в плиточку, — обрежет. Раздует мехами уголья, — опять крест всунет и накалит и опять расколачивает: все ему великим кажется. Начал калить такой уже крестик, что едва клещами защемливает, чуть он в них держится.

На беду пришла босомыга-девчонка от матери угольков попросить. И нашла, дура, место: просить углей у кузнеца, что у калашника теста, когда их либо у самого нет, либо самому нужны. И сказала ту просьбу под руку, когда переносил кузнец крестик из горна на наковальню. Сорвался он с клещей да прямо в ведро с водой, о которое кузнец еще на пущую беду спотыкнулся. «Пшик!» — зашипело в ведре, и клубочек белого пара взыграл и обозначился. Пришлось кузнецу хлопнуть по бедрам, расставить ноги, вскинуть руками и вымолвить такие слова, что на всю Русь и теперь еще все отдаются эхом, повторяются:

— Вот-те и семипудовый пшик!

Впрочем, толкуют про иного кузнеца и по-другому. Этот был несчастливее: к нему на дом или прямо в кузню принесли работу. Понадобилось мужику наварить лемех для сохи.

— Надо бы вот, друг, поточить: спусти малость!

Пришла, наконец, мужику пора устанавливать эту соху, — пришел он к кузнецу справиться: не готово ли?

— Прости, друг, ради Бога! Маленько перекалил я твое железо: лемеша у меня теперь не выйдет, а выйдет разве сошник.

— Навари сошник, что делать!

Стал кузнец сошник ладить — не выходит.

— Что же выйдет?

— Топор я тебе выкую, такой топор, что с ним весь свет пройдешь и мне спасибо назад принесешь.

Похвастал мастер — не травы покосил: спина не заболела, а топора не выковалось. Посулил сделать косарь, — и на нем пережег железо. Выхвастался потом на нож, — и на том погорело железа столько, что обушок вышел таким же острым и тоненьким, как самое лёзо.

— Что теперь станешь делать?

— Да гвоздь можно выковать, какой хочешь. Хочешь: хоть двоетес, чтобы стена затрещала.

Визжал под молотом и ножик, а гвоздь из него вышел такой маленький, что в сапог вбивать его не стоит, и даже в руках держать его стыдно.

— Сделай что-нибудь поладнее: что сможешь?

— Можно теперь сделать один только пшик.

— Делай пшик, сделай милость. Хоть чем-нибудь на счастье с тобой поквитаться!

С КОЛОМЕНСКУЮ ВЕРСТУ

В таком нелестном подобии является в представлении московских людей высокий человек, напрасно и без нужды возвышающийся целою головою над прочими и, стоя, например, в толпе, мешающий задним видеть впереди себя. По большей части такой человек неуклюж, неловок, неповоротлив, что называется на Севере «жердяем» и «долгаем», а повсеместно «верзилой» и «долговязым». Для московских жителей такие большерослые люди представляли подобие тех столбов, которые царь Алексей Михайлович расставил от Москвы до своей любимой загородной летней резиденции — села Коломенского. Это был первый опыт обозначения видными знаками верстовых измерений, существовавших издавна в одном лишь призрачном представлении с обязательною неточностью самой меры. Неточность зависела столько же от сметки расстояний на глазомер, сколько и от условной подвижности или изменяемости самой меры, и при этом не одних только верст, но и саженей. Древнейшая сажень была короче нынешней и таких требовалось в версту целая тысяча. Впоследствии верста стала составляться из семисот сажен, и такое-то количество их и велел уложить царь Алексей в ту видимую версту, которая ушла в поговорку. Царь Петр I повелел считать в версте пятьсот сажен, что и намечали впоследствии по всем казенным почтовым дорогам пестрыми верстовыми столбами, покрашенными

в три национальные цвета. За такой-то столб задел в степи хохол, изумленный невиданною диковинкою — и остался недоволен:

— Ажно проехать стало неможно: проклятые москали верстов по дороге понаставили — задевать приходится!

От деревни Смотрич до города Пирятина насчитывали 18 верст семисотных, а с переменой на пятисотные оказалось 25. В городе налаживалась средопостная ярмарка, славная более всего невылазной грязью. Едут хохлы гуськом. Шел дождь. Догоняет кума Грицько. Поравнялся с его возом да и говорит:

— От так воно уси на свити, куме!

— Як так?

— Та так же.

— Эге.

Помолчали.

— А вжеж и ты знаешь, що и диды, и прадиды считали от Смотрич до Пирятина висимнадцать верст?

— Так-так.

— От же, бач, панам не сгодно се: нехай, кажут, буде 25.

— Нехай буде и 25.

— Воно що и казать як погода, то нехай буде хоть и тридцать, а в таку негоду попетепайся лишних семь верст, так воно покажетця.

— Яко-вось!

На самом деле консервативное начало высказалось и в этом нововведении: еще на нашей памяти в захолустных местах семисотные версты предпочитались пятисотным, взаимно соперничая.

Требовался переспрос: по какому счету принято на поселках, где не поставлено столбов, разуметь дорожную версту. Конечно, всего чаще случалось получать в ответ всем известное объяснение расстояний в нашей пространной и неоглядной Руси: «Меряла баба клюкой, да и махнула рукой, — быть-де так!»

Кроме коломенской версты на св. Руси доводится набегать еще на «карельский верстень». Так произносят слово верста северные инородцы, да и в самом деле, верстень представляет собою весьма характерную особенность и своеобразную единицу меры в тех непроходимых лесистых и болотистых местностях. Неспуста у архангельских поморов сохранилась поговорка: «Карельский верстень, — поезжай целый день». «Баба меряла, да оборвала веревку». Такие версты и называются «карельскими»: тонки да долги. Прямо смотреть, рукой подать, да надо тянуться через такие зыбуны, где и легкая лисичья нога не удержится. Объезды десятками верст оставляют то мучительное впечатление, которое не забывается десятками лет, и при воспоминании о карельском верстене, у испытавшего такое горе пробегает мороз по коже. Переезжает лесничий с карелом на дырявой лодке через широчайшее Топозеро, чтобы попасть на интересный остров с остатками знаменитого раскольничьего скита Федосеевского толка, — и мучается ожиданием половины пути. От берега до берега насулили 12 верст, — истратили пять часов, а все еще далеко до места. По пути оказался маленький болотистый, топкий островок:

— Вот теперь половина будет,— подсказывает карел.

— Вот тут-то, должно быть, и оборвалась у вашей бабы веревка.

В ответ на это замечание следует точное и откровенное объяснение в утешение измученного проезжего человека:

— Задняя половина больше, — передняя половина «гораз — поменьше».

ДВА ДЕВЯНОСТА

Одно девяносто потребовало филологических исследований, два девяноста имеют уже историко-географическое значение. В записках Академии наук 1878 года, т. 31-й, напечатана статья Прусика, директора гимназий в Руднице, в Богемии, в которой доказывается, что это слово неправильно пишется девяносто, и на основании сличений с греческим и латинским названием этой цифры, необходимо писать девеносто. По следу этой заметки в Филологических Записках 1879 года, выпуск I, другой исследователь Ф. Ржига, на основании законов русского языка, настойчиво и доказательно опровергает мнение чеха и советует писать девяносто, как принято. Он производит это слово от девять до ста, что подтверждается и в звуковом отношении в области славянской речи. «Непосредственный или последний десяток ко сту, до ста будет = 90. И так, спросим еще: что значит «девять до́ ста́? Или к какому числу можно добавить до ста?

$$x + 9 - (100 - 1)$$
$$x + 9 - 99$$
$$x = 90.$$

Ответ заключается в самом вопросе, — это значит, что число 90 достаточно обозначено славянами: девять до́ ста — (девянно́ста) = девяносто».

Вполне подчиняемся этому решению и будем вперед следовать этому указанию, как поступили уже в самом заголовке предлагаемой статьи. Для нас же важны не одно, а именно два девяноста.

Народные несчастья, крутые исторические невзгоды, когда приводилось плохо всей Руси, больнее всех городов и областей (даже пограничных) отзывались на срединном городе русской земли, властительном, влиятельном и богатом. Обездолить военным разорением, обессилить грабежом и пожарами, унизить позором набега и надругаться разрушением, — все это, кстати, было именно здесь, в самом центре Руси. Таковым в данном случае является Москва, не в пример прочим городам, и в строго математическом смысле.

Эта видимая случайность в самом деле весьма знаменательна. Первые города от Москвы отстоят на «два девяноста верст» (Владимир, Тверь, Тула, Калуга, Рязань). При этом первому из московских соседей, на которого обращены были исключительно поглощающие стремления Москвы, досталась самая печальная участь, выразившаяся в очень горькой насмешке народного присловья: «У Владимира два угодья: от Москвы два девяноста, да из Клязьмы воду пей». Это — первые из старых, которые не успели обессилить

от поглощающего соседства Москвы и удостоились почетного прозвища губернских, когда Петербург, при Екатерине Второй, начал раздавать звания и дипломы всем заслуженным и производить в соответствующие чины и степени городов не всегда того достойные села, посады и слободы. При этом замечательно, что промежуточные города, соблюдающие до сих пор то или другое значение и сберегшие прежнюю силу и известность, отстоят от Москвы на «одно девяносто» (Коломна, Клин, Серпухов, Можайск, Переславль-Залесский), то есть на ту меру, какая из глубокой старины принята была для определения расстояний и вместе с сорока́ми составляла общеупотребительный способ и любимую форму счета.

Пройти пешком треть девяноста за единый дух и прием очень трудно — надобен на половине пути отдых. Пройти еще такую же треть, как от Москвы до Троицы-Сергия, считается уже подвигом, достаточно успокаивающим религиозное настроение москвичей. Чтобы одолеть целое девяносто, надо уже запрягать лошадь. Хода́ лошади стала единицею меры расстояний и невольно выразилась в распределении населенных мест там, где русскому племени пришлось колонизовать страну в междуречьях, где переставали служить плоты и лодки и выручали свои ноги или хода́ благородного животного. На тридцати верстах оно уже уставало само и требовало отдыха и корму. После отдыха оно снова служило на том же пространстве или перегоне и при взаимных сношениях и обменах соседей помогало то-

му, что хозяин мог в одни сутки доехать, сделать дело и вернуться назад. Там, где этим тридцативерстным дорогам, как радиусам в круге́, доводилось определять центр, — вырастали торговые села. Группа таковых, тянувших друг к другу, определяла центр уже городом, нередко «стольным» в старину и еще живым в нынешнее время. Города же первого девяноста на втором, по тому же закону строения, соединенными усилиями и по взаимному согласию, как наиболее сильную и крепкую твердыню для жительства, — порождали города уже первопрестольные, царствующие, княжеские. Таковы все пять вышеупомянутых. Как бы то ни было, указываемое нами явление неотразимо и обязательно явилось во всей суздальской и рязанской Руси: пусть прогуляется циркуль от Москвы, как центра, на Владимир до Мурома, на Ярославль за Кострому до водоразделов и т. д. в любую сторону. Этим способом мы отчасти объясняем себе и ту видимую случайность, при которой города с двумя девяностами расстояния могли создать такой громадный город, как Москва, уже не знающий себе на Руси соперников, имели основание признать его срединным и наименовать сердцем и, как своей и личной, интересоваться его судьбами.

«В Москве к заутрене звонят, а на Вологде тот звон слышат». В 1443 году в церкви Николы на Песках забыл потушить пономарь свечной огарок, от которого загорелась церковь и за ближайшею слободою занялись потом все остальные: сгорел и Белый город, и самый Кремль. 440 лет прошло с тех пор, а в устах народа на те случаи,

когда от малой причины произойдут большие последствия, от малого зародится большое, как вчера выговоренное, готово пословичное, столь древнее, выражение: «От копеечной свечки Москва сгорела». Впрочем, «от искры загорелась Москва» еще один раз и истребилась сильным пожаром, памятным народу в 1737 году и начавшимся с дома Милославского также, по преданию, от свечи. Третий (из памятных), самый сильный пожар 1812 года, окончившийся столь блистательными последствиями для целого государства, сохраняется в памяти в виде насмешливой поговорки над французом, к которому вообще относится народ снисходительно, с добрыми чувствами. Говорится к слову: «наступил да оступился», «отогрелся в Москве да замерз на Березине», «на француза и вилы ружье», «голодный француз и вороне рад». И вот почти все про «замороженного» француза, если не считать еще малой прибаутки:

— Где шатался? — спрашивают бестолкового человека.

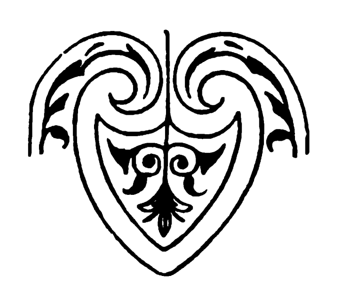
— На базаре. Все про француза слушал.

— Что ж нового услыхал?

— Да далече стоял: не слыхать было.




МОСКОВСКИЕ ПРАВДЫ






ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ: ПОДЛИННАЯ И ПОДНОГОТНАЯ

На свете правда — одна, и другого приличного эпитета ей нельзя придавать: «Ложью, как хошь верти, а правде путь один»; «Все на свете минéтся, опять-таки *одна* только правда останéтся», — уверенно и смело говорит наш народ. Умелый в родном языке до поучительного образца и ревнивый к отступлениям и неправильностям обиходной речи, наш народ, несомненно, неспроста и неспуста решился прилаживать к правде странные придатки, поставленные в заголовке нашей статьи. Не назвал бы он правду подлинной на том же основании, как не зовет на смех всем масло масляным, и потому, что неподлинная правда есть уже просто кривда[1]. Не учился еще он у наших грамотеев предпочитать слово «собственный», когда уже давно выдумано и приспособляется коротенькое слово «свой», а тем бо-

---

[1] Название кривды народ объясняет тем, что неправда на земле пошла от первой женщины Евы, которую Бог создал из живого ребра. Правда осталась у Бога, а кривда на земле. Она светом началась — светом и кончится. Оттого и выучились люди жить так хитро и ловко, что «где в волчьей нагольной, а где и в лисьей под плисом».

лее не решится выговорить оба слова вместе и поставить рядом, как также сплошь и рядом делается это и в устных ученых речах, и в печатных книгах. Впрочем, не об этих многочисленных книжных прегрешениях, когда даже союз «но» ставится рядом с «однако» (причем усердные корректоры принимают в таких случаях второй союз за вводное предложение и ставят его в запятых), — не об этих печальных отступлениях и недоразумениях речь наша. Равным образом нам приходится теперь говорить не о той правде, которая есть первая из самых первых основ нравственности и справедливости и то первое же и главное, что необходимо иметь всем и каждому, и которая в нынешнее время, более чем во все предыдущие периоды человеческого развития, является вопиющею необходимостью. Настоящее наше толкование вынуждается тою специальною правдою, которая обычно всяческими способами отыскивается на суде и при юридических дознаниях, розысках и следствиях, в прямом расчете на то, что затаенная правда где-нибудь да отыщется.

В старину до этой правды добирались впотьмах и ощупью такими путями и способами:

доносчик и обвиняемый приводились в судную избу вместе, но допрашивались порознь: «Истцу первое слово, а ответчику последнее». Так и в пословицу попало.

Первым ставили перед судейским столом обвинителя, который и повторял донос. Приводили обвиняемого. Он божился и клялся всеми святыми и родителями, отпираясь от поклепов и

оправдываясь. Местами и временами он взругивался, искоса и в полуоборот волчьим взглядом посматривая на злодея-доносчика. Приводили снова этого и ставили очи на очи. Давалась «очная ставка».

«Очи на очи глядят, очи речи говорят»: доносчик стоит на своем, обвиняемый, конечно, отпирается. «И не видал, и не слыхал, и об эту пору на свете не бывал». Тогда, по Уложению царя Алексея Михайловича и по древним судейским обычаям, уводили доносчика в особую пристройку «за стеной» судной избы или в «застенок». Там раздевали его донага, «оставляли босого и без пояса, в одних гарусных чулочках и без чеботов» — как поется в одной старинной песне. Затем клали его руки в хомут, а на ноги привязывали ремень или веревочные путы. На блоке и в хомуте двое вздымали к потолку, двое других придерживали за ноги внизу, оставляя всего человека на весу вытянутым на «дыбе» и не допуская его концами ножных пальцев упираться в пол. Давали висеть полчаса и больше. Если «на подъеме» он не говорил того, что хотели слышать, тогда начинали «пытать» — допытывалися правды. Палач или заплечный мастер мерно бил по спине «длинником», хлыстом или прутом («батогом»), а то и просто палкой или даже кнутом, — словом, что первое подвернется палачу под руку или на что укажут ему. С вывернутыми из суставов руками, со жгучею болью в груди, — на виске «под длинниками» или «под линьками» говорил пыточный с пытки «подлинные речи». Поседелый в при-

казах дьяк придвигал к дыбе в застенке свой столик: перо у него за ухом и пальцы в крюк. Мучительно-медленным почерком, чтобы какой-нибудь на бумаге крюк не выпустить из рук «нижет приказный строку в строку, хоть в ряде слов нет проку». В это время доносчик висит на виске и говорит первые пыточные речи, или измененные и дополненные показания, ту «подлинную», понятие о которой несправедливо и неправильно перенесли потом на все то, что называется настоящим и имеет вид безобманного и истинного. Часто случалось, что доносчик, под длинниками, то есть батогами или хлыстами — гибкими и хлесткими прутьями, на дыбе от своих показаний отказывался и сознавался, что поклепал напрасно или спьяну, или из мести и по злобе. Тогда его опять пытали три раза. И сталось так, как говорят пословицы: на деле прав, а на дыбе виноват; пытают татя на три перемены. Если доносчик с этих трех пыток подтверждал свое пыточное сознание, обвиняемого отпускали. Он успокаивался на той мысли, что «нескорбно поношение изветчика». В противном случае подвешивали на дыбу и этого: «Оправь Бог правого, выдай виноватого».

«Били доброго молодца на правеже в два прутика железные. Он стоит удаленький — не тряхнется, и русы-кудри не шелохнутся, только горючи слезы из глаз катятся», — выпевают по настоящее время слепые старцы по торгам и ярмаркам. Правится он на правеже («на жемчужном перекрестычке», как добавляется в московской песне с указанием на то урочище, где

было место старых казней), правится он, как береста, на огне коробится, и с ущемленными в хомуте руками, — «хомутит» на кого-нибудь, то есть или клевещет и взводит напраслину на неповинного, или сваливает свою и чужую вину на постороннего. В таком по крайней мере смысле и значении убереглось это слово до наших дней вместе с пословицей, обязательно предлагающей «первый кнут доносчику». Оно, впрочем, справедливо со всех сторон, во все времена и во всех местах: старинных и новейших, в школах и артелях, и в общественном быту. Доносчику первый кнут не только от старинного палача, но и от современных товарищей и сожителей за этот самый извет.

Если ни страх дыбы в виду подъема и пыток первых, ни хомут, ни кнут не вынуждают вымученного сознания, то подозреваемых «ставили на спицы» (объяснения которым в старинных актах не сохранилось, хотя известны спицы в том орудии старинной мучительной казни, когда колесовали, то есть колесом ломали преступнику кости). Затем сажали на цепь и к ножным кандалам, сверх сыта, привязывали тяжести. Кормили соленым — и не давали пить; давали — словом сказать — всякий простор измышлениям средств и способов выпытывания правды, считая их вполне делом законным и справедливым. Ни власти, ни народ нисколько в том не сомневались: пытка была законом, а дыба и заплечные мастера встречались даже в народных волостных избах, не только в казенных городских. Необходимость и законность пытки были укреплены

твердо в понятиях всех и каждого. Надо лишь изумляться всеобщему равнодушию и той нерешительности, с какою подходили законодатели к уничтожению этого позорного, бесчеловечного, безнравственного и бессмысленного способа отыскивания следов преступления и степени виновности. В незлопамятном народе остались воспоминания только о самых мучительных и лютых пытках, хотя, правду сказать, некоторые из старых практиковались и в очень недалекие от нас времена.

Осталась, между прочим, в народной памяти — «подноготная», та пытка, которою добивалась на суде, в самообманчивой простоте, никому не ведомая и от всех скрытая правда, заветная и задушевная людская тайна. В старину думали, что она, несомненно, явится во всей наготе и простоте, когда палач начнет забивать под ногти на руках и ногах железные гвозди или деревянные клинушки, когда судья закричит и застращает подозреваемого возгласом: «Не сказал подлинной — заставлю сказать всю подноготную!» Тогда пытаемому закрепляли кисть руки в хомут, а пальцы в клещи, чтобы не могли они сложиться в кулак или не изловчились бы дать наотмашь.

По некоторым сведениям, в числе замысловатых инструментов пыток находились особого вида клещи, которыми нажимали ногти до такой боли, что человек приходил в состояние лгать на себя и, в личное избавление, рассказывать небылицы целыми романами. По внешнему виду, по особому устройству верхней половинки клещей,

похожей на столь известную и любимую овощ (brassica napus), орудие пытки носило название «репки». Ею выдавливали из ногтей правду, как колют теперь машинкой орехи и сахар. Отсюда и столь известное и общеупотребительное выражение: «Хоть ты матушку репку пой», а я на то несогласен, по твоему не быть ни за что и ни в каком случае.

Совсем еще бодрые с виду и словоохотливые старики даже и теперь рассказывают про недавние времена рекрутчины, когда от суровых тягостей 25-летней тугой лямки солдатчины бегали не только сами новобранцы, но и семьи их, а из «дезертиров» составлялись в укромных и глухих местах целые артели дешевых рабочих и целые деревни потайных переселенцев (например, в олонецкой Карелии, в Повенецком уезде, близ границ Финляндии).

В земских домах водились стулья, в ширину аршин, в длину — полтора; забит пробой и железная цепь в сажень. Цепь клали на шею и замыкали замком. Однако не помогало: бегали удачно, так что лет по пятнадцать и больше не являлись в родные места.

Объявят набор, соберут сходку с каждого двора по человеку, поставят в шеренги по улице.

Спрашивает староста у десятников:

— Дома ли дети у этих отцов?

— Нету (скажут): в бегах.

— Искать надо в завтрашной день.

Ищут день, ищут два, ищут три: найти не могут. Спрашивает у домохозяев:

— Где дети?

— Не знаем. Не находятся рекруты дома, — сбегли. Не знают родители, где они хранятся.

Спросит сам голова у этих отцов и рыкнет:

— Служба — надо.

— Не знаем, где дети — в бегах.

— Ступайте ныне домой, а завтра приходите все в земскую: я с вами распоряжусь.

Приходят эти отцы через ночь.

— Ступайте на улицу и сапоги разувайте, и одежду скидайте с себя до одной рубашки.

И босыми ногами выставят отцов на снег и в мороз.

— Позябнит-ко, постойте: скажешь про детей. А если не скажешь, не то еще будет.

— Не знаем, где дети!..

Пошлют поснимать на домах крыши; велят морить голодом скот на дворах. Через три дня посылали какую-нибудь соседку скот покормить.

— Не знаем, где дети, — в бегах!..[1]

Прорубали на реке пешней прорубь. Отступя саженей пять, прорубали другую. Клали на шею родителям веревку и перетаскивали за детей из проруби в прорубь, как пронаривают рыболовную сеть в зимние ловли, в «подледную» (удочки, на поводцах по хребтине с наживками или блестками, на навагу, сельдь и прочее).

---

[1] Из книги г. Барсова «О причитаниях северного края».

«И родители наубёг. И бегают. И дома стоят пустыми. И скот гладом морят».

Эту пытку можно бы в отличие от подноготной назвать «подледною», но, кажется, уже об этом довольно и потому еще, что в Москве была новая правда «у Петра и Павла», а далеко потом и вдруг неожиданно очутилась она «у Воскресения в Кадашах».

ТРЕТЬЯ ПРАВДА: «У ПЕТРА И ПАВЛА»

В Москве, где очень многое по-другому и все своеобычно, потому, собственно, шла правда от церкви Петра и Павла, что вблизи нее находился страшный Преображенский приказ, особенно памятный народу с тех самых пор, как стрельцы рассердили Петра, вооружили его против Москвы, и он задумал с ней вконец рассориться и навсегда разойтись. Здесь были застенки и дыбы в несчетном количестве, производились бесчисленные пытки и казни и применялись, и получали дальнейшее развитие все разнообразные способы допытывания правды. Собственно же «московская правда» давно уже была во всей тогдашней Руси на худом счету. Она обращена была даже в насмешливое слово и понималась как укор и попрек с тех времен, как Москва стала забирать в свои руки всю Русь и мало-помалу становилась главою государства. Любопытным и сомневавшимся советовали искать этой правды «московской»

особенно во Пскове, где она сумела выразиться во всем неприглядном безобразии. Псков помог князю московскому под Новгородом, — псковичи пожаловались ему на московских послов, обижавших людей по дороге, отнимая у проезжих лошадей и имущество и грубо требуя поминок не по силе, — великий князь взглянул на жалобу грозно, подивился и гораздо больше поверил своим боярам. После падения Новгорода, Псков объявил полную покорность, а из Москвы посылались нарочно такие наместники, из которых на каждого приходилось жаловаться. Избранных челобитчиков великий князь принимал, но вскоре велел отдавать под стражу. Они думали покорностью смягчить Москву, авось там смилуются и сжалятся: вышли за город навстречу князю Василию, прибывшему во Псков, поклонились ему до земли, а он лучших людей велел схватить и увезти в Москву. Триста саней потянулось по московской дороге под стражей! Князь выехал изо Пскова, по словам летописи, без крови, с великою победою, но москвичи, оставленные править городом, не разбирали средств увеличивать свои доходы. Они подстрекали ябедников на богатых людей, брали взятки и посулы и разоряли. Добро, нажитое в прежние времена независимости торговлею и промыслами, теперь переходило в руки московских дьяков. Лучшие люди бросали дома и убегали в чужие земли; иногородцы покинули Псков все до единого. Один за все вольные города русские челобитьем к потомству пожаловался на московскую

правду псковский летописец такими, полного глубокого смысла словами: «О славнейший граде Пскове-Великий! Почто бо сетуеши и плачеши? И отвеща прекрасный град Псков: прилетел бо на мя многокрылый орел исполнь львовых когтей и взят от мене три кедра ливанова, и красоту мою, и богатство, и чада моя восхити. И землю пусту сотвориша, и град наш разориша, и люди моя плениша, и торжища моя раскопаша, а иные торжища коневьим калом заметаша, а отец и братии наша разведоша» и т. д. С этих пор создались и уберeглись исторические поговорки, что «Москва слезам не верит», ее не разжалобишь («не раскавелишь»), она «по чужим бедам не плачет» и прочие живучие поговорки, которые приметываются ко всякому подходящему случаю в обиходной жизни[1].

После стрелецкого бунта, в 1698 году, дела по полиции и общественной безопасности стали ведаться в Преображенской приказной избе. Новые полки: Преображенский, Семеновский и Бутырский держали постоянные и временные караулы в Кремле, у городских ворот, у кабаков, у церквей, около монастырей, на площадях и прочее. С 1702 года все дела из судного приказа

---

[1] В пословичных выражениях сохранилась еще память об однородном с правдою московском «часе». Хотя вообще русский час — все сейчас, но полагается очень долгим: со днем тридцать. Московскому же часу определила русская старина срок ровно в целый год: «Подожди с московскую годинку, — с московской час!»

перешли в преображенский, который из избы переименован был в приказ.

Здесь всеми делами ведал и правду искал, и суд творил — никто иной как царский любимец и ближний человек, сам князь-кесарь Федор Юрьевич Ромодановский, решавший всякие дела и даже самые страшные о «слове и деле» без апелляций. Это был (по словам кн. Куракина, современника его) «человек характера партикулярного (то есть своеобразного), собой видом, как монстр, нравом злой тиран, превеликий нежелатель добра никому; пьян по вся дни; но его величеству верный так был, что никто другой». Сидя за столом в старом боярском кафтане, отороченном узеньким золотым галуном, с длинными густыми усами, всякое дело выслушивал сам этот страшный человек, перед которым никто не смел садиться и во двор к которому никто не имел права въезжать (даже сам царь Петр выходил из одноколки у ворот). Словом, судила та исключительная суровая личность, подобные которой, по русским приметам, нарождаются в целое полустолетие один только раз. Конечно, в эти времена охотливее, чем в другие, советовали не бояться суда, а бояться судьи: суд стоял прямой, да судья сидел кривой. В его руках закон был дышлом: он его куда хотел, туда и воротил. «Зачесали черти затылки от его расправы», и долго сохранялась в народе память о «Петропавловской» правде, все время, пока поддерживалась она робкими, медленными и неудачными попытками к ист-

реблению в корне тех поводов, которые породили самую пословицу. Петр III в Сенате, 7 февраля 1762 года, запретил ненавистное «изражение слова и дела»; Екатерина II назвала употребление пытки «противным здравому естественному рассуждению», но уничтожить ее формальным образом не решилась. Счастливая доля приостановить ее досталась в 1800 году императору Александру I.

Обнаружилась в Москве правда, вместо Петра и Павла — «у Воскресения в Кадашах», в Замоскворечье, в то время, когда на городских выборах оказались в громадном большинстве голоса за Шестова, имевшего свой дом в этом приходе. Шестов в 1830-х годах выбран был в городские головы.

На этом событии мы остановимся как на знаменательном сколько потому, что оно отмечено в пословице, столько же и по той причине, что о нем, несмотря на его значение, мало писано и теперь чуть ли даже вовсе не забыли.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРАВДА: «У ВОСКРЕСЕНИЯ В КАДАШАХ»

Нравы и обычай того времени требовали, чтобы в городских головах на Москве сидел такой, который бы всем и всему потрафлял, а если он, сверх того, богат, тароват и хлебосолен, то еще того лучше. Против таких сговаривались целым обществом и если они сами не напрашивались,

то их выбирали заочно и потом кланялись и неотступно упрашивали. Особенно важных требований как к хозяину такого огромного и богатого города тогда не предъявлялось; ни образования, ни убеждений, ни особенной силы воли и характера вовсе не требовалось. Производились самые выборы на добрую половину в шутку. Раз, однако, привелось ошибиться.

Голова Шестов оказался недюжинным. Загадали на простого, а получили прямого; на иную хитрость хватало и его простоты. Практически полагали все, что он будет не лучше и не хуже прежних, и вдруг довелось услыхать, что голова начинает чудить по-своему: до всякого пустяка в Думе доходит сам и сует нос во всякие мелочи, не жалея своей головы. Что-то будет?

Стал он, например, доходить, кто пожарных лошадей кормит, почем для них покупают овес и сено. И когда дознался до старых цен — объявил наново, что сам будет кормить, по прямому закону, с вольной цены, какая установится на торгах. Доискался такими же путями и до фонарного масла, которое покупалось вместе с овсом, и до других статей городских расходов, которые шли особняком. Шел он просто, все по дороге, просто и доходил — и все прямо, не жалея себя и словно не ведая того, что на дворе стояло самое ненастное время, хозяйничала голая, как пузырь, голова графа Закревского, топала и кричала, угрожала и исполняла угрозы. Не замечал, да и не хотел слышать и видеть Шестов, что против него собирались враги и предпринимались воинственные походы. На городскую каз-

ну смотрел он купеческим оком, и сторожил, и умножал ее так, что когда к концу первого года стали ее считать, то вышло дивное дело, неслыханное событие: возросла казна до больших размеров от скоплений и сбережений и от умного хозяйства. Сам Шестов вошел в большую цену и славу, и имя его сделалось известным даже малым ребятам, и — шутка сказать! — перевернул из-за него наново московский люд старую, уже твердо устоявшуюся на ногах пословицу: «Правда к Петру и Павлу ушла, а кривда по земле пошла».

В 50-м году вся Москва только и говорила, что о подвигах этого Шестова и даже лубочная пресса, в те времена столь далекая от всяких политических вопросов и притом в то суровое цензурное безвременье, вынуждена была обмолвиться о правде «от Воскресения в Кадашах» полуграмотным легким намеком[1]. В нынешние времена это почтенное имя совсем исчезнет из народной памяти под давлением и влиянием новых выборных земских порядков. Сколько нам известно, заслуги Шестова не почтены толковыми печатными воспоминаниями людей, близко и лично знавших его и, конечно, во множестве еще обретающихся в живых (припоминается лишь небольшая заметка, видимо, урезанная цензурой, напечатанная в «Современнике»). Никольский

---

[1] В приходе этой церкви Воскресения в Кадашах, где в старину жили бондари-бочары, обручники-кадочники — по-старинному кадаши, или кадыши, а в указанное время жил исторический городской голова в своем доме.

«петушок» издания тамошнего книгопродавца И. Г. Кольчугина (который хвалился нам тем, что в его холодной лавке на три створа В. Г. Белинский сбитень горячий пил) тоже уже не поет о Шестове, представляя своего рода библиографическую редкость. А он, сам петушок[1], робко спрятавшись где-то далеко на насесте, сиплым, простуженным голосом все-таки дерзал выкрикивать: «Пришла к нам правда не от Петра и Павла, а от Воскресения в Кадашах, и стала матушка в барышах, а то ведь наша матушка все беднела да бледнела, все хромала да головушкой хворала, — перестала наша матушка хворать, перестала наша матушка хромать» и т. д.[2]

Мимоходом укажем, насколько время способно искажать смысл и значение пословиц, доводя их до видимых нелепиц или по малой мере до очевидных бессмыслиц. Вот первая, попавшаяся под руку, и притом очень распространенная: «Нужда заставит калачи есть».

Нужда бесхлебных и малохлебных губерний обычно увлекала народ на низовую Волгу, где за малою населенностью края очень нуждались в рабочих руках для косьбы роскошных степей и жнитва неоглядных хлебных полей, а также и для лова рыбы в устьях Волги и на Каспийском море.

---

[1] «Петушками», как известно, издавна принято называть в книжной торговле все те дешевые лубочные книжки, которые стаями нарождаются в Москве на Никольской улице и разносятся в коробах владимирскими офенями по всей деревенской России.

[2] См. также далее в ст. «Турусы на колесах».

Там все едят хлеб пшеничный, потому что пшеница — господствующий хлебный злак, и ржаного хлеба не допроситься верховому бурлаку или рабочему. Пшеничные хлебы и булки до сих пор называют там калачами. До пароходства эта нужда искать заработков при калачах самым главным образом находила удовлетворение здесь. Десять губерний поступали таким образом. Отсюда идет и другое темное выражение: «Неволя идет вниз, кабала вверх». По толкованию В. И. Даля, тут речь идет все о той же Волге и о разгульном бурлацком промысле, с которым связана кабала: задатки взяты, усланы домой в оброк, а остатки пропиты. «Неволя, то есть нужда, идет вниз, по воде, искать работы; вверх, против воды, идет или тянет лямкою кабала», а за нею следом рваная и голодная нищета.

Остановившись в Москве, пока не пойдем из нее дальше по тем важным причинам, которые будут изложены в следующем рассказе.

МОСКВА — ЦАРСТВО

Так обмолвилось одно из присловий, обрисовывающих характер всех городов русских и в наибольшем числе (сравнительно с прочими) сгруппировавшихся около этого города. Его наш народ и очень любит, и нежно ласкает; любя, прибранивает и, лаская, подсмеивается, ее боится и остерегается, но ей же живет и хвалится. Назвал народ Москву матерью всем городам и говорит, что кто в ней не бывал, тот и красоты

не видал, хотя она и «горбатая старушка». В ней «хлеба-соли покушать, красного звону и ее самое послушать», хотя в ней и толсто звонят, и сама она «стоит на болоте и ржи не молотит». Она тем и люба народному сердцу, что когда ее соперник Питер «строился рублями и стоил больших миллионов», она, белокаменная и золотоглавая, «создалась веками». Обмолвилось присловие по обыкновению неспуста и неспроста.

Неудивительно, что за долгое время и в силу исторических судеб и русской народной воли, за Москвою признан такой важный и крупный эпитет, который взят нами в заголовок прямо из уст самого народа. Он очень хорошо помнит, что Москва населялась жителями изо всех областей земли русской, которые тянулись к ней и промыслом, и торгом, и неволей. Он отлично знает, что Москва собрала всю заветную областную святыню, палладиумы покорившихся княжеств, и до сих пор бережно сохраняет их главным образом в Кремле, в Успенском соборе, или в нарочно выстроенных храмах и монастырях. Тем и другим она и привлекла к себе народную любовь и закрепила внутреннюю связь со всею обширною страною русского царства, сделавшись сама, в миниатюрном виде музеума, ее подобием и представительницею, со званием и титулом «сердца России».

Здесь не место перечислять все те святыни, которые взяты были из покоренных городов и свезены в Москву как победные трофеи, вместе со знатными и богатыми семьями горожан. Нам не время доказывать, что еще не так давно у

московских застав можно было без труда и усилий прислушиваться к разнообразным оттенкам говоров и наблюдать наряды и шляпы как этнографические признаки пришельцев из тех местностей, откуда вышли к этим заставам шоссейные дороги. Наречия и говоры русского племени были здесь все налицо. Всем хорошо известно, что выселение из дальних городов в Москву не только не прекратилось, но еще и усиливается. Нам, однако, время и место — не в первый раз — снова пожалеть о том, что столь глубокое и очевидное значение города Москвы до сих пор не остановило на себе в надлежащей мере внимания: местные исследователи пробегают мимо этих интересных фактов, сильно бьющих в глаза и в ухо. Все говорят, что Москву собирала вся Русь и сама в ней засела во всей целомудренной чистоте и неприкосновенной целости, но подлинных признаков не приводят. Бесспорными доказательствами этот город переполнен.

Между тем сколько любви и ласки народной, в самом деле, сосредоточивается около этого срединного русского города, который, как цельная государственная область, заручился внутри себя городами, посадами, целыми слободами, классическим, не существующим на самом деле, но действующим в виде церковных благочиний «сороком сороков» церквей и 22 монастырями (последние, в указанном количестве, полагаются обыкновенно на целую губернию или область).

По одной горе, много по три полагается на хороший город и притом на те, которые стоят при устьях рек, — город же Москву народное

поверье поставило, как Рим, на семи холмах, а народное присловье подговорило, что, значит, «велик она город, что в нем семь воевод». Намекая этим на смутное время междуцарствия, или «семибоярщины, или разнобоярщины», не забывают при этом, что у города нет околицы, а потому он нигде не сошелся клином: «Москва широка, как доска».

БЕЙ В ДОСКУ — ПОМИНАЙ МОСКВУ!

Город Москва и богата всем, и таровата: все найдешь, кроме птичьего молока да отца родного с матерью. Была бы догадка, а в Москве денег кадка. И диковинная, не в пример всем другим городам и селениям: «В ней каждый день праздник (по необыкновенно великому числу церквей); у Спаса бьют, у Николы звонят, у старого Егорья часы говорят», и при этом «грязь не марается, и спать широко».

Захотят ли похвастаться родным городом, называют его «уголком» Москвы. Она служит мерою для определения величин и расстояния: на свете так много дураков, что их «до Москвы не перевешаешь». Иван Великий — измеритель высот «повыше высокого»; Царь-колокол — тяжестей: «подними-ко»! Пресня хвалится женихами — «все скоморохи»; вся Москва до наших дней и по всей Руси — невестами. Всякий русский город обязательно заручился «Московской» заставой, и очень мало таких, где бы не было Московской улицы.

Поминают Москву и в карточной игре («на пиках, например, вся Москва вистует»), и в детских забавах: прихватывают ладонями оба уха, приподнимают с полу, чтобы показать именно Москву пожелавшему ее видеть; впрочем, сквозь жидкий чай, ее всегда видно, а «показать Москву в решето» значит уже наголо обмануть либо сильно одурачить. На Москву загадываются загадки и ее именем упрекают богатых, насмехаются над тщеславными и щеголями, и прочее («А что просишь за Москву?» — спрашивает надменный и хвастливый глупый богач и лезет за пазуху). Быть в Москве и видеть «золотые маковки» считается за большое счастье и полагается первым душевным утешением богомольного люда и всего православного народа. Все за Москву и все про нее: «Бей в доску — поминай Москву». За долгие и многие годы Москва успела выработать свои обычаи и наречие, свои песни, пословицы и поговорки и провела их во всенародное обращение вследствие долговременных связей и неизмеримо обширного знакомства с ближними и дальними русскими областями. Сюда «нужда из Сызрани пешком ходила», потому что «сюда идтить только денег добыть». Это — первое и главное, потому что до сих пор с необыкновенным удобством и легкостью можно следить за тем, как на этом центральном русском и азиатском торжище (где каждый день, на круглый год, ярмарка) нарождаются из пришедших пешком и в лапотках именитые купцы и богатые горожане. На этом же бесконечном, также на целый год, празднике,

обставленном всевозможным весельем и соблазнами, прожигаются громадные капиталы, испаряются крупные состояния. Живая современная московская летопись полна примерами, как разносчик с «головным (съестным) товаром», бегавший по рядам гостиного двора с загадочным выкриком: «эерви!» превращался в купца с кавалерией и почетом, пройдя несколько степеней развития по разнообразным статьям торгового промысла. Не меньше примеров и противоположного характера. Владелец многих домов выпрашивал Христа ради последнюю в своей жизни чарку водки шутками и прибаутками в том самом трактире, который помещался в его промотанном доме. Он был вытолкнут оттуда с припевом посетителями песни: «Выгоняйте вы скотину на широкую долину», и затем на узкой московской улице найден бездыханным трупом. Воспоминания и свежие рассказы о таких героях печального образа составляют одно из самых любимых и распространенных занятий московского купечества. Вероятно, со временем найдется такой досужий человек, который приложит свой труд к написанию чрезвычайно поучительной, в высшей степени интересной истории именитого и прогоревшего московского купечества. В среде его, в утешение и оправдание, несомненно, здесь, в Москве, народились пословицы, простые, как самое течение жизни, и поучительные, как святые заповеди: «Москва — кому мать, кому мачеха; в ней деньгу беречь, себя не стеречь; живучи в Москве, пожить и в тоске»; «Ой, Москва! — она бьет с носка» и т. п. Всякому

свое, а счастье не дворянство: не родом ведется, да и не палка: в руки не возьмешь. «Хотел с Москвы сапоги снести, а теперь рад с Москвы голову унести» и т. д.

ДОРОЖЕ КАМЕННОГО МОСТА

В комедии А. Н. Островского: «Не было ни гроша, да вдруг алтын» одно из действующих лиц говорит:

— Какие серебряные подковы? Какие лошади? Двугривенного в доме нет, а он...

— Позвольте! Это верно. Нам теперь с вами какой-нибудь двугривенный *дороже Каменного моста*.

— Какой мост? Квартальный давеча срамил-срамил при людях, что забор не крашен.

Елеся Островского на этот раз говорит общеупотребительное в Москве, но по вековечным тесным связям ее хорошо известное и во всех подмосковных губерниях, выражение о дороговизне, уподобляемой дороговизне перекинутого через Москву-реку Каменного моста. Выражение этого рода приспособляется во всех тех случаях, когда может определить и крайнее богатство, и всякую несоразмерную ценность какого-либо имущества или предмета и т. п. Вот тому основание:

деревянная Русь очень медленно и неохотно покидала свои брусяные избы с горницами, верхними (или горними) комнатами, надстроенными над нижними жилыми хозяйскими покоями для

приема гостей, с повалушами, куда уходили на ночь из топленых изб и холодных горниц спать (повалиться), и прочими хоромами — жилыми и холостыми строениями, принадлежащими к жилищу домовладельца. Богатые заботились лишь о числе этих зданий, и удивленные самовидцы спешили записывать: «а во дворе хоромов четыре горницы с комнатами, да пять повалуш в подклетях, да сенники» (холодные горенки против избы через сени или мост, разделяющий дом на две половины). Церкви каменные строились в первые годы водворения христианства, но каменные жилые здания упоминаются впервые в 1419 году по поводу постройки палат из кирпича московским митрополитом св. Ионою. Впоследствии сделались исторически известными каменные палаты купца Таракана (1470 г.) и боярина Образца (1485 г.). При царе Алексее уже во всю силу действовал указ 1681 года, предписывавший в Белом городе, по примеру Кремля, строить одни каменные здания. В помощь выдавался уже из приказа Большого дворца кирпич (по 1 1/2 руб. за тысячу с рассрочкою на 10 лет) тем, кто хотел строиться в Кремле и в соседних с ним городах: Китае и Белом.

Отец этого любителя зодчества и художества царь Михаил задумал построить через Москву-реку постоянный и прочный мост из кирпича. Дома таких искусных мастеров не нашлось, а потому для него, как и прежде для каменных московских соборов, выписан был мастер палатных дел из Страсбурга Анце Яковсен, прибывший в Москву с родным дядей Кристлером, прозванным Ива-

ном Яковлевым. Эти мастера принялись строить мост, и не достроили. Сорок лет укладывались кирпичи и размывалась кладка буйными весенними водами своенравной реки, до сих пор не изменившей своего разрушительного характера и сохраняющей на том месте остатки камней прежнего моста в виде обманчивых естественных порогов. Начали строить через реку эту мост в 1643 году, а окончили и проехали по нем впервые лишь в 1687 году, благодаря участию в деле князя Василия Васильевича Голицына, любимца царевны Софьи, украсившего Москву многими памятниками зодчества. Он нашел (как говорит народное предание) какого-то мастера-монаха неизвестного имени, который и завершил дело, не отступая от плана Кристлера, на полное удивление современников и на насмешливую укоризненную память последующих поколений до наших дней. Каменный мост встал царской казне в большую сумму, которая значительно возросла, между прочим, и оттого, что постройкою руководил именно этот избалованный и расточительный любимец царевны и правительницы государства Софьи Алексеевны. В. В. Голицын достаточно известен (по несомненным официальным документам) как стяжатель богатств многими бесчестными путями, без разбора способов. Довольно памятна и народу его непомерная жадность к личному обогащению: дорого стоящий государственной казне его бесплодный пресловутый Крымский поход, за который он все-таки получил от правительницы чрезвычайные драгоценные награды, в числе которых одна золотая медаль оказалась

стоимостью более 30 тысяч рублей. Позор свой он к тому же старался оправдать тем, что всю вину сложил на гетмана Самойловича, который по этому случаю был сослан в Сибирь. Когда князя судили, он, выслушав приговор, произнес громогласно: «Мне трудно оправдаться перед царем». Когда его сослали в Пинегу, то в погребах его роскошно обставленного дома нашли 100 тысяч червонцев и до 400 пудов серебряной посуды. Рассказывали, что он при заключении мира с Польшей выговорил себе из контрибуции 100 тысяч рублей, а с крымского хана взял две бочки с золотой монетой. Таков был этот «ближний боярин» и при этом носивший самый высокий титул «оберегателя большой царственной печати». Несомненно, что и с постройки Каменного моста о двенадцати арках немало золотых кирпичей унес он и сложил у себя в подвалах, — в окончательное и бесповоротное объяснение народной поговорки, сбереженной в целости и сохранности, когда награбленное богатство исчезает без следа.

БОБЫ РАЗВОДИТЬ

Теперь это значит пустяками заниматься, побасенки рассказывать, с прямым желанием подлаживаться, угодничая находчивым, острым или веселым словом. «Иной ходит да, походя, бобы разводит», — как подсмеивается поговорка. Выражение это взято от обычного не только в старину, но и в наши дни способа ворожбы, по которому раскидывали бобы (или

разводили) и гадали по условным знакам, как ложились эти продолговатые плоские зернышки обыкновенного огородного стручкового боба. Повезло ему счастье избрания с древнейших времен. Искусство разумения предсказательной силы в будущем приобреталось наукою, передавалось за особую высокую плату не всякому встречному, но каждому в тайне. Опытных мастеров выписывали, например, в Москву из далеких стран, какова Персия, доискивались их в глухих лесных и болотистых трущобах, какова наша озерная Карелия. Прятали их самым тщательным образом, потому что уличенных и сознавшихся в колдовстве, по старинным московским законам, предавали лютым казням. В старину науке волхвования — искусству разводить чужую беду бобами — обучали всяких чинов досужие люди, но больше всего простолюдины. Чаще всех владели тайнами ворожбы и гаданий коновалы, среди которых это искусство уберегается и до сих пор наравне с цыганами. В таких же кожаных сумках хранятся у них бобы, травы и росной ладан. Бобами гадальщик разводит и угадывает; ладаном оберегает на свадьбах женихов и невест от лихих людей, от ведунов. Умея ворожить бобами, умел он на руку людей смотреть и внутренние болезни взрослых и младенцев узнавать и лечить шептами. Траву богородскую дает пить людям от сердечной болезни без шептов; норичную траву дает лошадям. И зубную болезнь лечит, и щепоту и ломоту уговаривает, и зуду (кровь) заговаривает, и тому подобное.

Не одного из таких знахарей в строгие времена застенков и пыток сжигали живыми в срубах, с сумками и с наколдованными в них травами и бобами, всенародно в Москве, на Болоте.

Из «розыскных дел о Федоре Шегловитом и его сообщниках», изд. Археографической комиссией, видно, между прочим, следующее: царевна Софья узнала, что постельничий Гав. Ив. Головкин водил вверх, в комнату царя Петра Алексеевича, мурзу князя Долоткозина и татарина Кодоралея. Они там ворожили по гадательной книге и на письмах предсказали, что царю Петру быть на царстве одному. За такое предсказание их обоих отвезли в застенок, пытали, и, в заключение, сожгли на их спинах гадательную книгу и письма. Здесь родилась и пословица: «Чужую беду на бобах разведу, а к своей ума не приложу».

ШИШ НА КУКУЙ!

Долго, почти до наших дней, находилось в обороте у москвичей это непонятное и утратившее подлинный смысл выражение, обращавшееся к тем, которым доводилось сказать: «Пошел прочь, уходи вон» и тому подобное. В сущности, оно в цельном виде представляется еще большею загадкою, однако в то же время такою, которая не только облегчает, но и прямо ведет к объяснению. Говорили с прибавкой: «Фрыга, шиш на Кукуй!»

Если остановимся на давней и известной привычке русского человека перестраивать на свой

лад заморские слова и иностранные выражения согласно требованиям языка и уха, то увидим, что «фрыга» есть испорченное до неузнаваемости прозвание всякого иноземца Западной Европы и перестроенное из «фряга» и «фрязина». Явилось оно, конечно, в то время, когда объявились на Русской земле эти пришельцы, находившиеся под особым покровительством Ивана Грозного, и потребовалось для каждой нации отличительное прозвание. Письменные дьяки стали распознавать немцев, за незнанием русского языка, принужденных отмалчиваться на вопросы и, прибегая к пантомимам, казаться немыми. Оказались «немцы Амбургския земли» ввиду того, что из торговых ганзейских городов (Бремена, Гамбурга, Любека, Данцига и прочих) первыми явились передовые купцы, искавшие в неизвестной стране дел и торговых промыслов и уже издавна успевшие спознаться с Великим Новгородом. Объявились и другие немцы (из нынешней Австрии), которым волей-неволей приходилось приурочить отдельное прозвище: стали их называть «немцами Цесарские земли» (в противоположность азиатским народам, которые назывались общим именем «басурман»). Выходцы из Швеции и Норвегии названы были «свейскими людьми». Зауряд с итальянцами весьма редкостные французы получили прозвище «фрязинов». Когда письменные люди ввели эти различия в грамоты и договоры, народ всех немцев окрестил в одно имя «фрягов», «фрыги», и на том утвердился. Московским людям это звание было не только понятно, но и любезно и, мало того, внушительно. Перед изум-

ленными очами их в священном Кремле с 1479 года возвышалось величественное и дивное каменное здание Успенского собора, напоминавшее имя хитреца-зодчего, прозванного «хитрости ради» Аристотелем и записанного в актах «фрязином» (из Венеции). Да и сами иноземцы в Московском государстве в те времена представляли собою редкость и большую диковинку.

Истерзанная и измученная Русь, в самое живое время строения своего, на юге чужеземными и дикими кочевыми народами монгольского племени, на западе и севере остановленная в своем поступательном движении к заселению свободных земель племенами германской расы, — Русь, умудренная опытом, сделалась опасливою, недоверчивою. Она замкнулась в самой себе и, когда точно определились ее политические границы, последние получили значение крепкой стены, сквозь которую не всякому можно было проникнуть без дозволения и охранных грамот. Получивший таковое разрешение не иначе мог проходить по Русской земле, как с «опасным листом», под зорким глазом московских приставов, в строго определенном числе лиц, роде занятий и целей прибытия. При этом охотливее давалось единичное разрешение лишь тем «хитрецам», которые своею наукою и художеством могли быть полезны царственному или царскому двору. Предпочтительною свободою перед немцами пользовались, по издавна установившемуся обычаю, лишь одни византийские и морейские греки как люди той нации, от которой приняты догматы православного христианского исповедания. Все прочие иноземцы

были стеснены и во въезде в нашу страну, и во время пребывания в ней. Ограничивал их даже свободолюбивый и своекорыстный Новгород. Он отвел ганзейским купцам особое место, где и закрепил их стенами и запретительными правилами. Воспретил он на восемь шагов кругом, около немецких дворов, постройку всяких зданий; новгородские молодцы около этого места не смели собираться играть на палках — обычная новгородская игра (перевранная в свою очередь в немецком документе в слово «велень»). Ворота вечером запирались наглухо и спускались с цепей злые собаки. Русские могли посещать немецкий двор только днем. Новгородцы и иноземцы смотрели одни на других с подозрением и недоброжелательством.

Не внушали русским людям того же самого и греки, несмотря на бóльшую свободу в силу религиозных связей и зависимости русской церкви от греческого патриарха. Милостыня нужна была для греков, а московскому правительству — по временам греческий авторитет. Духовные лица привозили с собою многоцелебные мощи и чудотворные иконы, а богатые люди являлись с товарами: вместо алмазов и других камней привозили подделанные стекла. Да из этих же купцов многие начали воровать, товары провозить тайно, торговать вином и табаком. Глубоко и тяжко поражено было религиозное чувство богомольного русского люда, когда распознал он плутни заезжих греков, являвшихся с поддельными святынями. Они несли с собою: иорданскую землицу, частицы мощей святых угодников, даже часть страстей Господних, то есть

орудий страданий, губы, трости и прочее, даже часть жезла Моисеева. За деньги продавали святое муро, священные и бесценные реликвии променивали на московское золото, соболей и белок. Немецкие купцы в свою очередь подсовывали плохие и короткие сукна, сбывали всякую дрянь, продавали мед в самых малых бочках, сладкое вино в малых сосудах и дурного качества, и соль в малых мешках, а принимали, например, воск не иначе как с тугой набивкой, и тому подобное. За все это впоследствии, чтобы проникнуть грекам в Московское государство через границу в городе Путивле, нужно было явиться в качестве патриаршего посла с грамотою к государю или примкнуть к свите какого-нибудь именитого греческого архиерея. В Москве им стало также не легче: у русских людей уже укоренилось то убеждение, что как немцы, так и греки ищут только денег и средств к жизни. «Голодной их жадности никогда не наполнить, как дырявого мешка. Их очи никогда не насыщаются, но всегда алкают все больше и больше, и хотели бы высосать кровь из жил наших, мозг из костей наших». Когда цареградский патриарх Иеремия прибыл в Москву, то на подворье, где он жил, нельзя было никому приходить и видеть патриарха, ни ему самому выходить вон. Только монахи, когда хотели, то выходили с царскими людьми на базар, и под их же охраною возвращались назад. На базар дозволялось и немцам являться не для одних только покупок необходимых вещей и продуктов или для вымена их на собственные немецкие изделия, но и для развлечения среди крикливых и живых площадок. Вся народная городская жизнь собира-

лась тут нараспашку в любезном виде как для привычных к таковым сборищам восточных людей, так и для прочих европейцев, знакомых с площадною жизнью. Для тех и других здесь было много развлечений и приманок. Обжившиеся в Москве немцы сновали в народных толпах с утра до вечера, резко выделяясь своими куцыми камзолами и высокими сапогами среди серого, лапотного московского люда.

Немцев в Москве скоплялось мало-помалу довольное число из тех мастеров, которые либо вызваны были из Германии, либо добровольно выехали из Ливонии, Пруссии и западнорусских городов. Уже во времена Ивана III, без всякого сомнения, существовала значительная немецкая колония, и в ее среде, кроме ремесленников, были и лекаря, а впоследствии даже и учителя комедийному делу, когда царь Алексей клал основание русскому театру. Нужда во врачах была более личная государева, чем общественная, а потому лекаря с помощниками и аптекарями обязательно жили в Москве и получали или готовый двор, или деньги на дворовое строение. Некоторые уходили обратно в свое отечество с обещанием «превозносить царскую милость и в иных государствах распространять». Многие оставались на постоянное житье «служить на государево имя», то есть молиться за царя и оставаться в России навсегда. Если иноземцы объявляли это при въезде, то со вступлением в русские пределы получали они проводников, но платили за подводы и пользовались от казны кормом. Некоторым и по прибытии в Москву давали корм и питье,

как сказано в одном из указов, «для их скорби и иноземства». Дворы отводили, где случилось, из записанных на государя (конфискованных, например, за корчемство), без разбора, среди туземцев и старожилов. Когда же благодаря усилившемуся покровительству (особенно во времена Грозного) число заезжих иноземцев увеличилось в значительной мере, им предназначено было особое место, отведена отдельная слобода. При этом руководились все-таки тем отчуждением и нетерпимостью к иноверцам, которая воспитывалась в народе, ревностном в деле православия под влиянием и внушением духовенства. Впрочем, считая протестантов менее католиков зараженными духом религиозной пропаганды, наши предки допустили пасторов и кирки в том убеждении, что они, удовлетворяя нуждам природных протестантов, не сделаются оплотом и орудием совращения православных. Начало протестантской церковной общины в России относят к 1559—1560 годам, ко времени пребывания в Москве лютеранского пастора Тимана Бракема, который временно и правил богослужение.

Для немцев назначено было то косогорье, которое на краю Москвы спускалось к Яузе и впоследствии получило имя «Кукуя», может быть, по тому русскому названию дня Ивана Купалы, который издревле чествовался немецкими людьми с резкими и поразительными оказательствами, в виде зажигания костров, прыганья через огонь, танцев, пиров во всю ночь и т. п. Теперь это название забыто, специальный характер исключительно немецкого селения

утратился. Местность эта стала слыть под именем Немецкой слободы и памятник старины сохранился лишь в кирке, очень давней и оригинальной постройки — именно в 70-х годах XVI столетия. Впоследствии Петр Великий вызвал слободу из ничтожества, возбуждая в народе сильный ропот и нескрываемое негодование москвичей, когда после каких-либо удачных баталий и вообще по приезде в Москву он не заезжал поклоняться кремлевской святыне, а направлялся прямо на Кукуй. Здесь он веселился и пировал, не разбирая праздничных дней и ночей. Так поступил он в 1702 году, когда возвратился из-за границы без бороды и в немецком платье и проехал прямо в дом виноторговца Монса, где с его дочерью и Лефортом прокутил целую ночь. На другой день он брил уже бояр всех, кроме двух. Через пять дней, когда надо было выходить по случаю новолетия (1 сентября) на Красную площадь и здравствовать народ — царь пировал у Шейна, много пил и велел шутам резать последние боярские бороды. Бритый царь с бритыми боярами, немецкими женами и дочерьми пировал потом у Лефорта. Франц Яковлевич (по словам современника его кн. Куракина) «был прямой французский дебошан и вообще человек забавный (то есть любитель увеселений) и роскошный».

Задолго до Петра и в течение всего предшествовавшего времени двух столетий ни чужеземцам, ни их местожительству не оказывалось особенной чести. Те и другие были лишь терпимы русскими людьми как неизбежное зло, с мяг-

кою и благодушною снисходительностью, «ради их скорби и иноземства».

Приходилось пришельцам жить среди новых людей иной веры и несхожих обычаев в очень суровой и дикой стране, жить опасливо и под постоянным страхом на лучший конец обратной высылки и изгнания. Скажут: «Подите от нас — вы нам засорили землю!» Не только в живой памяти, но и перед глазами происходили случаи жестоких казней тех иноземцев, которые были несчастливы в отправлении ремесла и проявлении своих знаний, как лекарь Леон, как Бомелий: «Забыли вы страх Божий и великое государево жалованье». Надо было принижаться, казаться смущенными, льстить для личной безопасности и семейного спокойствия. Вследствие исключительного положения перед московским боярином, гордо задравшим назад на дерзкий козырь голову, покрытую высокой горлатной шапкой и выпятившим толстый, ожиревший, сытый живот, сухопарый немец, в куцем камзоле и узеньких панталонах, нескрытых полами одежды, мог казаться смешным. В глазах равнодушной черни, на московском базаре, в толпе, он являлся фигурой, возбуждающей жалость, рассчитывающей на покровительство и как бы молящей о защите. Не могло здесь быть места озлоблению, презрению, преследованиям: не станут с ними особенно якшаться, но не удержатся от того, чтобы и милостиво, и снисходительно не потрепать по плечу, не погладить по спине: «Не бойся — мы тебя не обидим». Этим беднягам, скромно зарабатывающим на торгу хлеб, всегда уступчивым и, ви-

димо, угнетенным, указан строгий закон оставаться на рынках только до солнечного заката. Ни один из них не имел права ночевать вне своей оседлости, в городе, в Москве. Всякий должен был уходить в свою слободу, брести очень далеко, в самый конец города, на Кукуй. Для напоминания об этом сроке расхаживали особые приставы со внушительным орудием в виде длинной палки. Кто удачно заторговался, да в увлечении барышом замешкался, тому кричали: «Фрыга, кыш на Кукуй!» Ступай, добрый человек, домой под эту добродушную поговорку, и тотчас за этим ласково насмешливым окриком, каким добрые хозяйки обычно сгоняют на насест шальных куриц, залетевших в избе на стол или лавки.

К слову примолвить спопутную заметку о том, что окрики домашних животных, не столь многочисленные по количеству прирученных и приспособленных к домашнему хозяйству, очень разнообразны по местностям. Живой разговор с бессловесными, конечно, не может быть повсюду однообразным и общим как относительно призыва их, так равно и на те случаи, когда нужно бывает отогнать прочь. Причины такого несходства совершенно необъяснимы.

Тех же кур, которых повсюду в России гоняют с неуказанного им места «ши-шиш» в Сибири, например, спугивают звуком «куть-куть». Овец зовут в Сибири «басинька, бась-бась», по Волге «бяш-бяш», в Рязанской и Воронежской губерниях «вячь-вячь» или «выть-выть», а гонят в поле в Сибири — «кыш-кыш», в Белоруссии

«шкырь» (от шкырять, гнать), а в Астрахани «тря». Конечно, здесь главную роль играет стремление подражать голосам и природным звукам самих животных и в этом отношении естественно повсюдное сходство, как, например, для гусей (тега, попавшее даже в известную цыганскую песню), для уток (утю), свиней (хрю и рюх). «Кис-кис!» — ласкательное уже, конечно, повсюду — на архангельском Севере превратилось в понудительный окрик для ездовых оленей. Словом, «тпру-тусь» на юге (в Херсонской и Таврической губерниях) гонят кошек и кличут телят. Самое разнообразное и многочисленное число окриков приспособлено к самому смышленому животному — ближайшему домашнему другу — к собакам. Здесь в особенности ярко выделяется влияние инородцев, с которыми довелось русским людям сесть в соседстве и научиться у них, как вести жизнь в новых природных условиях быта. Замечательно, между прочим, что призывный клич собак за Байкалом (в Нерчинском округе) «нох-нох», прямо заимствованный от монгольского названия этого животного (нохай) сделался не только общим для всей Сибири, но и для сопредельных мест (в Тобольской губернии «хно-хно» видоизменилось в Вятской в «ных-ных»). В Камчатке, где езда на собаках является единственным способом передвижений, как самые приемы при упряжи и путешествиях, так и в разговорах с ездовыми собаками целиком, без изменений, заимствованы от камчадалов. Запрягают в нарты попарно от девяти до пятнадцати собак, а затем увеличивают это число, судя по важности чина

проезжающего — и тогда вместо одного каюра или проводника садятся два. Один камчатский начальник ездил в закрытой нарте со стеклами, не иначе как на шестидесяти и более собаках, так что на дороге нужно было срубать деревья, приготовлять для него новый путь. В нарты впрягают собак всегда нечет так, что впереди бывает самая смышленая, которая и ведет всю компанию. Драгоценная по цене (продают не дешевле 50 рублей), она бесценна по способностям, позволяющим ей смекать не только близость путевых опасностей, но и соблюдать дисциплину и безропотное повиновение проводникам. Она не только разумеет все условные окрики, не менее ее известные и прочим собакам, но умеет прислушиваться и понимать самые тонкие оттенки в тоны голоса: вести ли товарищей «ках-ках», то есть направо и побыстрее ввиду покатого и безопасного склона горы или круто и слегка забирать «хуга», то есть налево, ибо с правой стороны, вероятно, зияет бездонная пропасть. Хороший передовик, за словом «кей-кей», снимаясь с места, поведет уверенно и совершенно прямо и с пути не вернется назад, чтобы подвести товарищей под плети. Увидев птицу или нанюхав на дороге след куницы или лисицы, не бросится в ту соблазнительную сторону и своим не позволит. У такой натасканной, умной собаки другая не позволит себе драки из-за найденного на дороге куска рыбы, оброненного камчадалом, или замершей птицы. Не позволит она также останавливаться, хотя бы пристала естественная нужда, а со словом коюра «пцы-а-а!» остановится, как вко-

панная, так что не перепутает веревочной упряжи, не заставит ездока мучиться, проклинать страну и бранить езду, в сущности очень быструю и веселую.

Излишне говорить об охотничьих собаках, разговор с которыми замечательно разнообразен, когда «улюлюкают» всякого красного зверя, когда «атукают зайцев» и даже когда «уськают» баловливую свинью, забравшуюся в огород. При занятии охотой, собаки знают не только русские слова («утри-усь, тю»), но и понимают по-французски (пиль, куш и т. д.).

НЕ САМИ — ПО РОДИТЕЛЯМ

В «Новом Времени», 24 мая 1889 года, в № 4753, при разборе нововышедшей книги Н. Лендера «Волга, очерки и картинки» мы встречаем объяснение старого явления и нового крылатого слова.

Рецензент сообщает: «Для обыкновенного читателя особый интерес представляет сжатое изложение наблюдений автора над волжским расколом, и в частности — главы о Хвалынском уезде, как центре раскола, и черемшанских скитах». Известна видная историческая роль Поволжья в русском расколе; но еще важнее то, что и теперь там раскол продолжает количественно усиливаться, хотя — в молодых поколениях — и утрачивает прежнее изуверство, держится больше по преданию: «не сами — по родителям» — вот характерная фраза, слышанная автором от моло-

дого поколения волжских раскольников. Выражение это, как будто звучит желанием оправдать себя в последовании старой вере, когда внутренний пыл, поддерживавший жизненность сектантства, ослабел. Но на практике от этого нисколько не легче. По собственному ли убеждению, или по влиянию «родителей» на новые поколения, в массе все-таки держатся раскола: и теперь раскол и сектантство на Волге «имеют свою правильную общинную организацию, своих влиятельных главарей, наставников, свою иерархию лжепопов и лжеепископов, свои места молитвенных собраний, свои школы, своих покровителей». Между прочим, эта организация подразумевает собою помощь со стороны зажиточных раскольников своим беднякам-собратам по вере. Кто принял православие, тот этой помощи лишается. Таким образом, богатые и влиятельные раскольники держат в руках массу последователей отщепенства из числа нуждающихся, которые без этого, быть может, были бы доступнее проповеди православных миссионеров. Утешительным должно признать то, что даже при таких условиях обращение в православие в этих глухих местах все-таки подвигается вперед.

КУРАМ НА СМЕХ

Ни одно из домашних животных не представляет наибольших поводов к презрительным насмешкам или унизительным уподоблениям, как куриная порода, с древнейших времен сделав-

шаяся домашнею и очень полезною. Именно женская половина этого вида, наиболее оказывающая куриных услуг людям (некоторые курицы приносят до 120 яиц ежегодно), — вызывает самое большее количество насмешек. Петух, гордый султан, поддерживающий семейный порядок в строжайшей дисциплине, щеголь и крикун, сумел отстоять себя во мнении просвещенной и мыслящей публики. Над ним не насмехаются. Смеются над теми людьми, кто ему уподобляется, петушится, то есть либо чванится и величается, либо без особой нужды, по задорному характеру, лезет в спор и драку. Зато на курицу посыпались всякие насмешки, впрочем, не столько заслуженные ей одной, сколько всем куриным родом. И в самом деле, как рак — не рыба, так и курица не птица: например, всем птицам природа дает перья для полета — у ней они только для украшения и при этом слабо прикреплены к мягкой коже и часто выпадают и легко выщипываются. Короткие круглые и тупые крылья тоже не для дальних и повсюдных передвижений: из холодных стран в теплые и в свое время обратно. Несмотря на то, что издали слышен бывает шум куриных перелетов, на самом деле «гора родит мышь»: перелеты, не больше хороших скачков, ничтожны и забавны своими претензиями до смешного. Курицы не делают гнезд, а высиживают яйца на голой земле, в поразительное отличие от прочих пернатых. Они боятся воды и забавляются только пыльными и песчаными ваннами, пропуская, на солнечном пригреве, пыль и песок между

развернутыми веером перьями. Они флегматично бродят по двору и, обладая ненасытною прожорливостью, заботливо и хлопотливо ищут зерна, которых им всегда мало. Кажется, по этой-то самой причине они и пребывают в постоянной задумчивости и меланхолии и, выведенные из такого положения невзначай и, особенно, темной ночью, начинают беспокойно шуметь, кудахтать так, что нескоро затихают. Когда их ментор и патриарх, привыкший сначала всею душою заботиться о семействе и потом уже о самом себе, найдя целую кучу зерен, расхвастается о том, — ненаходчивые и неизобретательные куры ему верят. Они вдруг схватываются с места, как шальные, начинают суетиться, как будто услыхали какую-то чрезвычайную новость и рассчитывают увидеть невиданное чудо. Они спешат в перегонку друг за другом, бегут, сломя голову, толкаются, семенят ногами, комически повертываются, и зря, на полном доверии, начинают тыкать короткими и крепкими клювами у ног своего повелителя. Петух, однако, пошутил — обманул: рассказывал, что просыпана целая горсть, а на самом деле оказалось, что всех зерен — только щепоточка, да и то сомнительного качества, вперемешку с мелкими камушками. Также флегматически, в перевалку, бредут обманутые куры дальше, ничем не смея выразить своего неудовольствия и очевидной обиды. Довольный испытанным повиновением, общим доверием и вообще всем домашним порядком, хвастливый при всяком случае и со стороны очень смешной своим самодовольством, петух в

это время уже успел взлететь на первую попавшуюся кафедру — на забор, на кадку — и воспел самому себе хвалебную песнь так громко, что она слышна далеко в соседней деревне. Конечно, все эти проделки очень забавны. Именно эта забавная петушья ревность и эта самая смешная куриная покорность с безответной подчиненностью уронила всю куриную породу во мнении людей. Ничего не может быть обиднее и унизительнее сказать или сделать на смех этим смешным курам (совсем худо, «если курам смех»), как ничего не может быть жалче и опять-таки в то же время забавнее «мокрой курицы». Вялого в работе, неповоротливого в движениях человека, на которого нечего и рассчитывать, обзывают, с великой досады, этим самым унизительным прозвищем «мокрой курицы», потому что непригляднее ее, попавшей под дождь и не успевшей спрятаться под навес и на насест, трудно уже представить себе что-нибудь другое.

«Слепая курица» есть тот человек, который бестолково тычется и суетится, разыскивая вещь, лежащую, что называется, у него на носу. Толпа на базаре, горожане на бульваре ходят долго и много, но без всякого толку — это они, как куры, бродят. Утлая избушка сказочной бабы Яги и всякой иной ведьмы стоит не иначе как на курьих ножках: такая неустроенная и необрядная, что хуже ее не бывает. Кто попался в беду безысходную, нежданно и негаданно, тот попал, как «кур во щи» и т. п. Впрочем, «что о том и говорить, что курица не доит».

ГДЕ КУРЫ НЕ ПОЮТ

Природа из числа куриных пород наделила только весьма немногих приятным голосом и в числе их кое-каким, однообразным и крикливым, нашего домашнего петуха. Вещее пение его и перекличка всех его родичей и соседей служат по ночам заменою строго выверенных деревенских часов, а днем — указателем погоды и даже предсказателем грядущего. Запели первые петухи — это полночь: ворочайся на другой бок; вторые поют перед зарей; третьи на самой заре: вставать пора. Если же днем или ночью они распоются не вовремя, то либо видят злого духа и гонят его прочь, либо предсказывают покойника, либо новые указы будут, либо начнется ненастье. Если поют они целую ночь, то напевают всем на голову какую-нибудь непрошеную беду и неминучую напасть. За это преимущество, предоставленное петуху природою, в исключение перед прочими, за это право петь он получил, в замену коренного и древнего имени «кур» («куре доброгласне») и наиболее употребительного в деревенском быту названия «кочета», прямо определяющее и его право, и способность петь — повсеместное имя петуха. Оно равнозначаще с церковнославянским «петел», с древненовгородским «пеун», или певун, с нынешним казацким и белорусским «певень» и с малорусским «пивень», Все это он, тот самый (по художественной картинной характеристике одного из зоологов), гордый, поющий посреди своего гарема, султан, украшенный короною, гребнем и хвостом, который великодушно забо-

тится сначала о слабейшем поле и только потом уже о себе самом. Этот патриарх и ментор вполне совмещает в себе смешную, но все-таки умилительную поэзию куриного быта. В упорной кровавой битве, сражаясь шпорами, клювом и крыльями, он прогоняет из своих владений чужих пришлецов, и тогда возвещает с высокого места, далеко разносящеюся триумфальною песнею, об унижении бегущего врага. Поэтому называется он уже в санскритском языке (самом древнем из известных языков) «krikavâka».

Бывают, однако, такие случаи, что нарушаются уставы естества и на грех курица свищет, силится спеть петухом, как равным образом случается, что, по пословице, кому поведется, у того и петух несется (спорышком — уродливым куриным яичком в твердой скорлупе, без белка, с одним желтком, суеверно принимаемым в наших деревнях за петушье). Тот и другой случай предсказывают великие беды. Суеверие обратило это уродливое маленькое яичко — «спорыш» или «сносок» — в петушье яйцо, из которого высиживается василиск, то есть дракон или змей. Если же заметят, что курица подарила таким спорышком, то твердо убеждаются в том, что она хочет перестать нестись. Большею частью таким заподозренным птицам немедленно рубят головы, а потому сложилось и пословичное убеждение: «Не петь курице петухом, а и спеть, так на свою голову». Впрочем, судя по разным местностям, в этом случае замечается некоторое противоречие: так, например, в южной России таких поющих кур считают плодливыми, называют «носкими»

курами и не режут их. Вообще же наиболее распространено то мнение, что «не к добру курица петухом поет».

Вот на этом же самом юге России нашлось такое село, где куры совсем не поют, по особенно важной причине. Такое знаменитое село отыскалось в Волынской губернии, в тридцати верстах к западу от уездного городка Староконстантинова. Зовется оно Чернелевка и расположено на реке Случе и при пруде, довольно живописно и удобно: на большой (не почтовой, а торговой) дороге. По ней несколько раз проезжали цари, а потому и прозвана она «царской». По-видимому, для крестьянского благосостояния есть уже видимая причина в союзе с тем местным условием, что земля в селе черноземная, способная достаточно вознаградить крестьянский труд. В прямое и законное последствие того сами жители ничего не знали, кроме земледельческих работ: если кто мало-мальски владел топором, тот уже считался у них и прямо назывался всеми «мастером». Поэтому же самому поводу в неурожайные годы сельчане, за ненаходчивость и косность в быту своем, — мученики нужды и кабальные рабочие за самую ничтожную заработную плату. На пущее бездолье обрекла их недавно изжитая крепостная зависимость. То было такое время, когда крестьяне от хищных и ненасытных глаз прятали в землю не только деньги, но зарывали в ямах даже самый хлеб, — словом, те времена, когда народ назывался и считался быдлом (скотом) и создалась поговорка: «Плебана для пана, а хопа для хлопа». Тамошний народ до сих пор твердо

помнит и охотливо рассказывает (оправдывая свою, с трудом поправимую бедность) про недавние «панские времена» и про «войтову пугу, или плеть», и про «войтову бирку». На последней безграмотные войты, или сельские старосты, нарезками замечали количество принятого зернового хлеба и прочее. Длинною плетью с толстым кнутовищем (которую всякий войт обязан был носить всегда при себе, как знак власти и достоинства) выгоняли в поле до восхода солнца, а с закатом его распускали по домам без платы. Если во время работы иная мать наведывалась к колыбели грудного ребенка, ее наказывали этой самой войтовой плетью. Точно также ей же «поощрялись» ленивые к работе. Ходит войт по полосам и похлопывает. Того войта, который забыл по рассеянности свою пугу дома и, не имея ее в руках, попадался на глаза пану, растягивали тут же и наказывали другой такой же плетью, каковая всегда была на глазах. Для пущего вразумления обычно брали эту длинную пугу в середине и били так, чтобы она наказывала обоими концами: тонким и толстым за один раз, но в несколько приемов. Тогда не смотрели на то, что крестьяне по целым месяцам питались одной бульбой (то есть картофелем), а продолжали крепко их мучить...

По словам самих сельчан: «Волк ягнят так не душит, как душили нас, — не было к нам никакой жалости». В жаркие летние дни косили панское сено в сермягах, надетых прямо на голое тело: ни у кого не было рубах. Дадут лен прясть, но при этом недовесят, — надо было добавлять

своей пряжей на вес: такова была войтова бирка! Бывало весной каждой хозяйке в хате раздадут по 20 яиц и велят осенью доставить 20 кур: не донесла этого числа — либо прикупай у жидовок в корчме, либо плати по гривеннику за каждую недостающую до полного счета птицу. Приводилось больше расплачиваться не птицами, а деньгами. «Село до такой степени заницало, что не подойди к тому времени воля — сталось бы большое худо: все бы поднялись бунтом».

«Стали говорить соседи и все проезжие с обозами, не то из жалости к нашей куриной подати, не то на смех, за недостачу всегдашнюю у наших жинок кур, — называть наше село не настоящим именем, а всегда так-то: «Это то село, что куры не поют».

Настоящее название села с языка у соседей пропало. Таким и слывет оно в народе до сих пор, изживая прежние невзгоды, но, оставаясь на людских памятях, как ведомые и видимые горемыки — особняки. В Белоруссии так и говорили, в те времена, с полною уверенностью, что «дере коза лозу, а вовк козу, вовка мужык, мужыка пан, пана юрыста, а юрыста чортов трыста».

КАЗАНСКИЕ СИРОТЫ

«Казанский сирота», а равно и «нищий» из того же места, как московский жулик и петербургский мазурик — тип особенный и самостоятельный. Это — не тот сирота, который, оставшись безродным и круглым, жмется и пря-

чется по углам, чтобы не заметили, не задели и не обидели. Он робостью и смиренством вызывает сердобольную слезу и в беспомощном положении всегда находит покровителей. В самых бедных деревушках, которые сами стоят без покрышки, эти бедняки с голоду не умирают, потому что «за сиротою сам Бог с калитою», — с тем мешком, со сборным подаянием, который стал историческим именем еще с 1340 года, со смерти первого московского князя Ивана Калиты.

Казанский сирота — назойлив и докучлив: от него не отвяжешься. От других его всегда можно отличить по особому мундиру и ухваткам. При внешних признаках отмены, он притом совсем не сирота и не нищий, а таким лишь прикидывается. Он — плут нагольный и образцовый притворщик: нищенством и попрошайством он простодушно промышляет, как подобные ему пензенские калуны, клепенские (смоленские) мужики и ведомые всему московскому люду и русскому миру воры и сквозные плуты — гуслицкие нищеброды. Разница у казанских с этими лишь только в местностях промысла: казанские «Волгам шатал, базарам гулял», и все князья, не без достаточных, однако, на то причин и оснований.

Большей частью они — потомки бывших казанских мурз «плешь-мурзы-Булатовичи», живой остаток старинных времен и ходячие исторические документы. Их породило и забаловало московское угодничанье, считавшее своею обязанностью их ласкать и приваживать не только в первые времена по завоевании всех татарских царств, но и в позднейшие, когда совсем уже «отошла та-

тарам пора и честь на Русь ходить». Еще царь Алексей Михайлович полагал обязательством и долгом для себя награждать этих плутов и попрошаек свыше всяких мер, особенно, если мурзы решались переменить веру. В исторических актах много таких примеров. Вот один из довольно обычных.

В 1640 году задумал креститься Бий мурза, Корель мурзин, сын Исупов. Его сейчас же поспешили назвать «князем Иваном» и наградили царским жалованьем «для крещенья», как бы в задаток, около 250 тогдашних рублей. Потом, когда был послан «под начал», то есть приготовиться к крещению в монастыре у особого старца, ему дали жалованье за подначальство: «28 рублей 32 алтына 2 деньги». Затем он видел «государевы очи и челом ударил после крещенья». А за то даны ему из серебра: кубок, стопа, братина и ковш, «шуба атлас золотной на соболях, пугвицы серебряны золочены, шапка горлатна, атлас золотной, бархат червчат; камка куфтерь желтая да лазоревая, да кармазин, 40 соболей в сорок рублей, денег 150 рублей; с конюшни жеребец аргамачей сер с конским нарядом: цена жеребцу 60 рублев, конского наряду 91 рубль 18 алтын». Стоил этот крещеный татарин всего 905 рублев и 18 алтын с деньгой. Да сверх того на всю жизнь обеспечен поденным кормом и питьями в достатке, а на последующее потомство поместным окладом 1,200 четвертей да деньгами 150 рублей. Через четыре года (в 1644 году) князя Григория Сунчалеева Черкасского наградили при крещении еще щедрее, потому что «изволил крестить сам

великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович всея России». «А купель была обита кругом сукном червчатым настрафилным, по краем у тое купели и в купель впущено того ж сукна $^1/_4$ аршина, а около купели запон атлас желт 4 рубли 2 деньги».

Этот стоил 969 рублей только при одном челобитье на царских очах. Не забудем при этом, что в те времена русский лекарь получал, например, государева жалованья в год 9 рублей да 2 алтына в день столовых, что составляет в год всего до 30 рублей.

Расплодились казанские нищие, — завелся у них и суеверный, но злой обычай, выраженный коротким и непонятным изречением «приткнуть кому грош». Это значит, по примеру казанских нищих, воткнуть в избу, на зло богачу, эту медную монету с ясным расчетом и прямым желанием, чтобы тот разорился и захудал.

Как исторический продукт, в житье-бытье русской земли крещеные татары предвосхитили милости и щедроты от православных греков, которые столько же до тех самых пор были навязчивы и назойливо лезли в Русь и также из поваженного попрошайства сделали плутовскую спекуляцию. Осколки от тех и других сохранились на Руси и до наших дней в виде казанских сирот и иерусалимских сборщиков на гроб Господень, где за «соленого» грека стал сходить настоящий «семисоборный» армянин из Нахичевани, не дальше. С царя же Алексея началось пришествие немцев «Амбурской земли и Цесарской и иных многих», с Петра Первого —

их нашествие, при Анне — их было густо, а от них тошно. Такова историческая последовательность иностранных нашествий на Русскую землю, несомненно вызвавших поговорку «Славны бубны за горами». Впрочем, ввиду вероятного конца их, поговорка эта давно уже перелицована: «Звонки бубны за горами, а к нам придут, как лукошко». Не здесь ли конец?

ХЛЕБАЙ УХУ

Пословица «Хлебай уху, а рыба вверху» — не нелепица: опять-таки по той же коренной причине, что у народа «неспуста слово молвится». Оно идет из тех же мест, о которых я уже имел повод и случай упомянуть, рассказывая о таких же призрачных бессмыслицах — пословичных выражений. На Низовой Волге, куда сходится рабочий народ со всех сторон (с преобладанием, однако, пензенских и других черноземных), хозяева рыбных ватаг кормят его черной или частиковой рыбой, которая ловится круглой год, кроме трех летних месяцев. В такую уху, следовательно, идут в свежем и живом виде: стерлядь, мелкий шип, судак, белорыбица, сазан, лосось. К черной же рыбе, хотя и с белым мясом, относятся: лещ, окунь, чехонь, вобла, тарань, жерех, подлещик, шемая, усач, щука, линь, сопа, бершь и сом (и этот сорт рыбы весь я переименовал). Вся эта рыба — рабочая снедь. Ее не жалко; вари и жарь, и в пирог загибай, и в ухе хлебай, а настоящая рыба вверху, то есть идет в

верховые купеческие города и в обе столицы. Настоящей рыбой считается дорогая в цене и выгодная в продаже — красная, то есть хрящевая и бескостная: благородный осетр, любимая нашим купечеством белуга и самая вкусная изо всех севрюга. К этому сорту рыб относят еще шип осетрий и белужий, то есть ублюдок, только никак не стерляжий, которым привычно обманывают малоопытных в обеих столицах, продавая его заместо настоящей кровной и породистой стерляди.

Могу предупредить сомнения и вопрос. К числу таковых же бытовых поговорок в зависимости от промыслов относится следующая: «Пришла честь на свиную шерсть». Это бывает осенью и зимой, когда кулаки-скупщики крестьянского изделия являются менять на горшки и горянщину всякое бабье рукоделие и все принадлежащее им одним, по вековечному праву: лен, пеньку, нитки, а на этот раз и свиную шерсть, то есть щетину. Образчиков в этом роде в обращении всенародном, конечно, очень много и писать об этом очень долго.

В созвучии имен при их выборе, исключительно ищут главным образом склада и лада, доведенных в старинных нецензурных лубочных картинах до крайности и излишеств. Людские имена наичаще служили соблазном и облегчали поползновение на красное слово и усилия на остроты: «Постоянная дама Варвара с поволокою глаза; Василиса — кислый квас; Фитинья — белые белила, Афимья — алые румяна и т. п. Плохо Алеха (а, пожалуй, и Тереха), хило Вавила. Взяло Фоку сзади и сбоку. Потягота на

Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого. Бывает, однако, и так, что, по-видимому, случайно выбранное имя на самом деле заключает в себе глубокий смысл. Горюет Фома, что пуста сума, обыкновенно в то время, когда наступают первые зимние праздники, обязывающие угощениями, заставляющие варить пива и созывать родных в предсвяточное время. Случается это обычно зимой, перед святками (декабря 10-го празднуют св. Фоме).

На тех же основаниях лубочные присказки и остроты пошли в народный обиход, и по тому же поводу и на бедного Макара повалились шишки в виде всяких бед и напастей. Стал он на Руси козам рога править и телят гонять в таких отдаленных местах, куда ссылают виновных и где никому не хочется жить по своей охоте и доброй воле. Однако «к Варваре на расправу» осталось, как исторический след тех времен, когда водили обвиненных в Москве к Варварским воротам, в башне которых существовал один из застенков (об этом уж раньше сказано в своем месте). Опять же «кутить во всю Ивановскую» и орать песни в пьяном состоянии и в задоре «на всю Ивановскую» — значит так открыто и громко, чтоб прознала о том вся длинная и большая улица. Укажите такой на Руси город, где не жило бы сотен Иванов, не было бы храмов во имя Предтечи и даже Златоуста, а потому и славных в поговорках и песнях «Ивановских» улиц.

Совсем другое дело указания на фамилии. Ими прямо бьют по больному месту и оставляют

на память потомкам и в грядущие времена народных мучителей и недоброхотов. «Бог не Мануков и без посулу милует» — намек на вице-губернатора петербургского при Петре I, бравшего беспощадные взятки. Кривосуд называется «шемякиным судом» в память Василия Шемяки, князя галицкого, который ослепил двоюродного брата Василия Темного, чтобы завладеть Москвой. Отпетого вора, проклятого человека стали звать Гришкой Отрепьевым; мучителей и злодеев Малютами и Скуратовыми (Малюты Скуратова-Бельского), окаянных грабителей — Ваньками Каинами; изменников и предателей — Мазепами и т. д.

ПОДКУЗЬМИТЬ И ПОДЪЕГОРИТЬ

Отвечая на запрос о значении этих слов, никак не могу согласиться с тем, что они — полная бессмыслица из случайного подбора имен. Неспуста слово молвится, — во всяком случае, и в особенности, если принять к рассуждению второе слово. Сколь величествен в представлении народном самый мифический образ св. Егория, столь же знаменателен в народной жизни этот день, то есть не астрономическое число празднования в честь великомученика, а ближайшие, окружающие его дни, вроде осенних Кузьминок, зимней Никольщины и т. п., среди которых указанный представляется лишь починным или срединным, как бы своего рода эрою. Вся группа последующих дней составляет определенный пе-

риод, на который упадают известные сроки обязательств, вынуждаемых в деревенском быту либо общественными, либо домашними требованиями, а в экономической жизни указуемых временами года и явлениями природы. «У Егорья по локоть руки в красном золоте, по колени ноги в чистом серебре, а во лбу-то солнце, во тылу месяц, по косицам звезды перехожие», — поет былина, подслушанная мною на побережьях Белого моря. Егорий разъезжает в поднебесье на белом коне; в лесах раздает наказы зверям, которые все у него в строгом подчинении; на полях спускает он на нивы питательные живоносные росы и, приглашая сюда деревенский домашний скот, обещает ему на все лето защиту от зверей и покровительство при питании[1]. Он начинает красную весну и указывает срок посевам, отчего и называется «Егорий — ленивая сошка»: выезжает запахивать на этот день пашню даже лежебока, если не желает на весь год «подъегорить», то есть обмануть и обездолить семью, оставив ее на чужом, горьком хлебе. К этому сроку весеннего бесхлебья все запасы подошли к концу: осталась одна надежда на милость Господню и на св. великомученика, который, по этому обычному явлению в сельской жизни и народном хозяйстве, зовется повсюду «голодным» (в отличие от Егорья холодного —

---

[1] У белорусов на нем: белый плащ, на голове — венок, в руках колосья, ноги босые. По приказу матери, он отворяет небесные ворота, и с выездом его на землю начинается настоящая весна.

26 ноября). С Егорьева дня начинают обычно весенние хороводы, выгоняют вербой, сбереженной от Вербного воскресенья, в первый раз скот в поле и запахивают пашни. Из дальней, глубокой старины, ведавшей твердо свои права и руководившейся свободою в исторический «Юрьев день», — в старину (до конца XVI века) этим днем точно определялись сроки всякого рода наймам рабочих, сделкам промышленных и предприимчивых людей и сроки платежей у торговцев. Две недели до осеннего Юрьева дня и одна неделя после него полагались конечным сроком, когда крестьяне садились на новые земли и обязывались отдавать половину или треть жатвы за пользование ими: либо богатому купцу или ловкому промышленнику, либо сильному князю или честному монастырю. Кроме этого срока, ни владелец не мог отказать, ни сам крестьянин отбиться от работ и уходить с земли к другим. Борис Годунов подъегорил весь крестьянский русский люд тем, что отнял у него это право переходов от худых владельцев к хорошим. По старой памяти и по неизменному почтению к старине это обычное правило отчасти убереглось до наших времен во всей неприкосновенности. В самом деле, Егорий починает полевые работы (весной), как он же их и кончает (осенью). Древние сроки наймов на весь этот рабочий период в нынешние времена лишь сократились, ограничившись в иных случаях Семеновым днем, «летопроводцем» (1 сентября) — началом бабьего лета и концом посева озимей, в других — днем Покрова, который кончает

уличные хороводы, сменяя их для молодежи посиделками в натопленных избах. При наймах в другие работы выговариваются более отдаленные сроки, каковы, например, кузьминки (начало ноября — древние «братчины»), как начало зимы. Это такое время, когда въявь обнаруживаются итоги и плоды летних полевых работ и можно из своего ячменя, с придачей с женина огорода хмеля, сварить разымчивое пиво. Может «подъегорить» рабочий наемщика, давши слово или взявши задаток — не прийти в срок на работу; может подкузьмить, то есть обмануть, и мироед-хозяин при расчете с наймитом за потраченный полугодовой труд с весеннего Егорья до осеннего «Кузьмы-Демьяна». Может и купец в одно и то же время и подкузьмить и подъегорить, не прибывши в заговоренное время с готовыми деньгами для расплаты или с готовым товаром для расчета. Кстати, можно и самому рабочему вскоре «просавиться» или «проварвариться» (кому как угодно), то есть на своих сладких пивах, а равно и на покупном зеленом вине прогулять все заработки, увлекшись зимними никольщинами, когда во всяком доме пиво. В деревенском быту никольскую брагу пьют, а за никольское похмелье — бьют: одних раньше — на Варвару (4 декабря), других — днем попозднее, на день памяти преподобного Саввы Освещенного, некогда создавшего известную лавру близ Иерусалима «над юдолию плачевною» (то есть над долом, или долиною, Иосафатовою). Во всяком случае плачевная юдоль, постигающая бражников, на этот раз является

вполне заслуженною. Так и приговаривал сердитый муж, постегивая плеткой ленивую жену, которая частой гульбой расстроила хозяйство: «Просавилася еси, проварварилася еси».

НА ЩЕЛКУ

Немало я был поражен и изумлен, натолкнувшись некогда на курьезное слово «на́ щелку», особенно когда в нем оказался и обширный смысл, и намеренное искажение одного звука, делавшего из слова темную загадку, которую без знающего толковника и разрешить было бы невозможно. По поверке оказалось, что так называется целая и довольно обширная местность, состоящая из множества деревень главным образом в Богородском уезде Московской губернии, в Покровском уезде и отчасти в Александровском Владимирской губернии. Эта местность, к удивлению картографов, не имеет установившихся границ, которые можно было бы нанести на карту; они могут суживаться и расширяться, и эта подвижная тягучесть зависит от города Москвы[1].

---

[1] Известно, что у народа свои географические термины, по которым составляется совсем другое политическое деление Русской земли, весьма не согласное с тем, которое преподается в наших учебных заведениях. В особенности отличается этим обширная область средней России. В статье, напечатанной в «Новом Времени» под заглавием «Как наш народ делит Русь», я имел случай объяснять это обстоятельство с достаточною подробностью.

«На щелку» — это вся та местность, которая занимается тканьем шелковых материй, получая материал, то есть шелк (превратившийся на языке фабричных в щелк), от московских фабрикантов.

В особенности известны город Киржач и Филипповская волость, где шелковое производство и размотка шелка-сырца свили себе прочное гнездо с давних пор. В Александровский уезд, благодаря ближнему соседству, тот же промысел перебрался около сорока лет тому назад. После франко-прусской войны он начал еще больше развиваться производством и расширяться географически. В 1877 году он в одном месте почти прекратился; после турецкой войны там же дела пошли великолепно.

Этот фабричный кустарный промысел на общую стать: сначала мотать, а потом уже и ткать шелк раздают крупные хозяева. Берутся за дело мелкие, которых зовут «карасьниками» (от «карася» — особого прибора для размотки шелка, по виду похожего на эту рыбу) и «заглодами» — тех, которые занимаются ткачеством. Мотать шелк можно в той же избе, где сами живут; для тканья уже требуются позади дворов особые строения, кругом в окнах, прозванные светелками. Убогий старик, какой-нибудь калека, за полтинник — за восемь гривен в неделю, на хозяйских харчах, вертит карась, — женщины мотают шелк в куклы на четыре сорта: старухи медленнее, но чище, молодки — похуже, потому что любят баловать, рвутся пошалить и часто бросают работу. Ткут в светелках, принадлежащих заглодам, что закажут хозяева и приказывают вкус и мода, чи-

стошелковые и полушелковые материи: поплин, магер, альпага, бареж, атлас, бурсу, фай и репс. Очень многие дерзают на бархат и плюш, но очень немногие изготовляют на вязальных машинах шелковые колпаки, которые потом вышиваются на пяльцах синелью, канителью и шелком. Это для головного убора донских казачек и казанских татарок: для первых полегче — рубля в полтора, для татарок на три — до шести рублей за колпачок.

Между фабрикантами и рабочими здесь, как и везде, стоят эти посредники-кустари, успевшие или нажить маленький капиталец, или заручиться большим кредитом. Эти уже нанимают настоящих рабочих и с ними вместе иногда работают сами, всей наличной семьей. Размотка шелка — женское дело, тканье материи — мужское.

При приеме шелка залогов не требуется: все на доверии. Неумелых и нечестных допекают штрафами и недодачей заработанных денег. При этом часто придираются совершенно несправедливо. Вместо денег заставляют забирать товары: муку, крупу, мыло и т. п. с весьма значительной переплатой. Когда рабочие-кустари в конце года сводят свои домашние счеты, оказывается, что они успели только прокормиться: остатков денежных или барышей от промысла никаких. Вот почему ни один не бросает земли и, превращаясь на время в ткача и карасьника, не перестает быть земледельцем.

Промысловая работа нелегкая: рабочие сутки начинаются в 4 часа утра, кончаются в 10 часов ночи. При этом, чтобы уметь даже мотать шелк,

надо учиться две зимы да и, выучившись, оглядываться. Один шелк (как бухара) разматывается легко, другие (как шемаха и катань) потруднее. Вот здесь и смотри, чтобы не вышло много рвани, чтобы шелк был разделан умело и хорошо и выгналось бы его больше. Угару, то есть провесу, при тканье и размотке хозяин вперед никогда не говорит, а рвани полагается на пуд только 2—3 фунта.

В конце концов выходит у всех так, что с одного боку теснит нужда малохлебья, с другого — хозяин с отказом от работы и со штрафами за работу: «Перед глазами на пальцах всегда шелк, а в брюхе все-таки щелк»; «Чужие ковры семи шелков, а своя холщовая рубаха еще и не прядена».

ЗАБАВАМ НЕТ КОНЦА

Голубей гонять, синиц и чижей ловить, о погоде разговаривать, баклуши бить, балясы точить и т. д. — все одно и то же значит: заниматься пустяками, ничего не делать, пожирая труды делателей. Если же и приспособиться к какому-нибудь занятию, то все равно из него выйдет либо «семипудовый пшик», либо «дыра в горсти». Однако два первые бездельные занятия оба таковы, что по некоторым причинам останавливают на себе внимание и вынуждают призвать на помощь память и личные наблюдения, а на крайний случай — рассказы приятелей и товарищей.

СИНИЦ ЛОВИТЬ

В густых кустах, а еще того чаще — на опушках хвойных рощ, если только они, подобно сосновым, не растут быстро, как грибы, вьют себе гнезда эти пташки-синички — одни из самых маленьких в разнородном пернатом царстве. За это они и преследуются неотвязчиво в народных пословицах: говорят, если прапорщик не офицер, то и синица не птица, хотя в самом деле: «Невеличка-синичка, да та же птичка». Не велик человек чином, званием или заслугами, да, кстати, и ростом не высок, но сметлив и способен к большим делам, может и за себя постоять, от нападок отбиться и нагрубить и при случае больно уязвить: это благодаря тому, что у него, как у синицы, «ноготок востер». Эта же птица собиралась когда-то зажигать море в посмеяние и поучение тем, которые, при своем нравственном ничтожестве или физическом бессилии, хвастливы на дела чрезвычайные. На тонких и слабых синичьих ногах они собираются лезть на крутые горы и брать крепкие города, — оступаются и вниз летят.

Не с венцами и не с лаврами.
Но с ушами, — ах! — ослиными, —

как некогда благодушно подсмеивался Н. М. Карамзин.

В сказках сказывается: «Полетела птица-синица за тридевять земель, за сине-море океан, в тридесято царство, в тридевято государство», что бывает обыкновенно на самом деле раннею

осенью. В теплых странах за морем — хотя бы даже для нас за Аральским и Каспийским, где (опять-таки, по пословице) синица — птица уже просто, по всенародному убеждению, что за морем все едят, — синица дожидается летнего времени наших стран. Тогда она, вслед за другими, в своих стаях летит подвесить на елке свое теплое гнездышко, обыкновенно похожее с виду на вязаный денежный кошелек.

Летом синица из Сокольников, Нескучного сада или Марьиной Рощи вылетает в самый город Москву целыми стаями и разгуливает, видимо, беззаботно по песчаным косам и на отмелях несчастных рек счастливого города: на Москве и Яузе. Впрочем, для нее там есть и такая речушка, которая обесславлена именем этой самой невеликой птички. В синичьих стаях все свои: кровные и ближайшие родные в нисходящем потомстве, потому что у этой птицы особый от других обычай — воспитывать птенцов при себе до позднего возраста. Прилетают синицы в богатый город и, со своей стороны, пощеголять голубым темечком на веселой головке, при беленьких щечках, и оживят эти отравленные фабричными отбросами местности веселыми движениями и беспокойной суетней. То, как маленькие стрелки, они перепархивают с лужайки на песок, то бегают по веткам, по бревнам, по палке, брошенной и забытой уличными ребятишками. Синице все равно обращена ли на бегу ее вертлявая и живая головка, как у всех, кверху, или наверху очутилась спинка, или зобок, или шаловливый хвостик: словно она не ощущает в

себе никакой тяжести, как комнатные мухи, которые бродят по оконным стеклам вверх и вниз, сюда и туда и не затрудняются ходить по потолкам.

Утром просыпаются синицы раньше всех — где еще до воробьев. Андрей-воробей еще и не собирается вылетать на реку поклевать песку, потупить носку, — синицы уже набегались, напорхались, наклевались, когда у них, что ни клевок, то и глоток. Иную личинку или яичко и в микроскоп не разглядишь, а синичка ее увидит и съест. Глаз не поспеет следить за каждым ударом ее клюва, острого и коротенького, как шило: до того они быстры и часты. Все это проделывают синицы с полною беззаботностью и очевидною доверчивостью: школьники-де пока еще спят самым крепким остаточным сном, с которым обыкновенно они расстаются сердито и ворчливо. Да и домовые, и фабричные сторожа также спят, так как в этих местах на такие их дела будочники совсем не взирают. Куда на ту пору девались, столь присущие этим птицам, их прирожденная робость и чуткость?

Да вот и они обе вместе: лишь только поднялось повыше солнышко и взыграло разом на кресте Ивана Великого и на орле Сухаревой башни, синицы не узнать: она позволяла до тех пор свободно наблюдать за всеми своими игривыми проделками, — теперь к ней и не подступайся. Даже так, что сама наступит на кончик соломенки, а другой в то же время приподымется, — она уж и испугалась до смерти и стрекнула

прочь, как искорка. За одной полетели и другие, как пульки: только мы их и видели. «Пырк-пырк-пырк» — и исчезли.

Ранним утром, когда синица обнаруживает откровенную и любознательную доверчивость, ловят ее в сети только неумелые и ленивые птицеловы или те, которые продают певчих птиц в знаменитом Охотном ряду. Для них с древнейших времен держится в Москве специальный торг певчими птицами и собаками на Собачьей площадке, которая в последнее время стала кочевать по Москве и никак не найдет себе нового, облюбленного и насиженного места. Торг бывает в сборное воскресенье, то есть первое в Великом посту (неделя православия).

Кочевало торжище сборного воскресенья даже и по самой площади Охотного ряда: было оно сначала на площадке у Мясных рядов, потом перевели его к самой церкви Параскевы-Пятницы, затем — к дому Бронникова, а отсюда, спустя немного времени, к дому Челышова. Теперь оно не то на Лубянке, не то в Зоологическом саду, но тут и там обезличенное и ослабевшее. Не так давно богачи и даже титулованная знать, а с ними всякие любители и особенно псовые охотники, являлись на этот день обязательно со своими выкормками и воспитанниками: поискать лучших, похвастаться собственными. Эта была настоящая выставка и говорящих скворцов, и умнейших собак. Съезжались очень издалека, а в особенности из Коломны и Тулы. Охотники были здесь все налицо.

ГОЛУБЕЙ ГОНЯТЬ

Для иных эта работа — забава и шалость, за которую вообще не хвалят, *а городских* ребят родители их считают непременною обязанностью награждать волосяной выволочкой. Для других, не только взрослых, но даже старых — легкая забава переходит в серьезное занятие, требует особой науки и доводит до любительской страсти со всеми неудобными последствиями.

Как всякое безотчетное влечение, эта страсть также неудержима, необузданна и заразительна. Ею заболевают целые города и в них такие умные люди, как дедушка Крылов (баснописец), и такие могущественные, богатые и сильные люди, как братья Орловы-Чесменские. Однако, как не дающая никаких практических результатов, она все-таки у нас не пользуется уважением и вызывает насмешки. Думают даже, что нет позорнее несчастья, как свалиться с голубятни и убиться до смерти в безумном увлечении при напуске и подъеме голубей. Слово же «голубятник» обратилось в презрительное и бранное: «В голубятниках, да в кобылятниках с покон веку пути не бывало» — уверяет народная пословица.

О городских ребятах выговорилось слово неспуста, именно потому, что серьезно поставленная гоньба голубей, с соперничеством на пари, как игра азартная, укрепилась исключительно в наших городах и преимущественно в торговых. В деревнях такими пустяками заниматься некогда, разве воспитывая голубей лишь на продажу. Однако и здесь голубей заменяют скворцы. Тем не менее

здесь твердо верят, что «сегодня гули, да завтра гули, ан и в лапти обули». Зато невозможно представить себе ни одного мало-мальски порядочного города, в особенности старинного, где бы не было настоящих голубятников-любителей. Правда, что нынешнее строгое время, перевернувшее многое наизнанку, а главное, потребовавшее строгого и сторожливого взгляда на жизнь, в значительной степени ослабило эту купеческую страсть и городскую забаву. В некоторых городах она достигла до крайних пределов, не больше 25—30 лет тому назад. Город Тула выделялся даже более всех других и почитался столицею всяких забав с певучими и непевучими птицами. Он сделался как бы притчею во языцех и предметом народных насмешек. Москва, совместившая в себе несколько городов разом, конечно, оказалась не в силах отстать от повальной страсти к козырным голубям, говорящим скворцам, драчливым петухам и т. д. Она прославила курских соловьев и заставила завести для себя заводы канареек в Медынском уезде Калужской губернии, на так называемом Полотняном заводе, и прочее. Голуби дались легче прочих птиц, потому что оказались более повадливыми к людям и их жилищам, более забавными и послушными.

В самом деле, найдется ли на Руси такой город с мучными рядами и лавками, где бы не шумели сильными и громкими взмахами сизяки (одичалые голуби) на длинных заостренных крыльях, помогающих быстрому, грациозному и продолжительному полету? Они либо нежно целуются, сидя на крышах, и томно, громко и при-

ятно для уха воркуют, то хлопочут и суетятся около налитой дождем лужи или на водопойной колоде и притопывают проворными и нежными лапками, на которых задний палец касается земли. Они в кучке клюют выброшенное из лавки целою горстью зерно, а самчик в густом и красивом мундире, как гусар былых времен на балу, ходит вокруг своих дам, растопырив шейные перья. Такими голубиными проделками можно только любоваться, и вообще не ошиблись люди, признавая эту птичью породу за идеал кротости, целомудрия, невинности и любви (но не ума, которым голуби всех пород вообще не отличаются). Понятна городская любовь к ним, особенно если припомним, что на любителей имеются в природе до двухсот различных видов, и между ними такие занимательные, как воркун или бормотун (он же зобастый): большой глинистого цвета, когда воркует, то вздувает зоб пузырем, за что зовется еще дутышем. Трубастый распускает хвост, подобно павлину, колесом или опахалом; плюмажный ерошит свой воротник из перьев. У хохлатого или козырного — хорошенький чепчик и мохны на ногах, делающие его похожим на одетую по парижской моде богатую городскую девочку; иногда у него этих чепцов нет. Белый «чистяк» с черными крыльями носит на них повязки и ходит в кругах. По привычке ходить на кругах — ему особенное предпочтение перед другими породами, а по масти — особая кличка: скобун, если черное пятно приходится на спине, одноплечий с пятном на одном боку; у бородача — на шейке, у стрелуна — в хвосте; бывают еще ло-

бачи и усачи «со щекой и с бровкой, с ухом и с лысиной». Огнистый — носит на груди манжеты. Рыжий турман, всегда голоногий и изредка хохлатый, на лету вертится кубарем через голову, через какое-нибудь крыло боком или через хвост ничком. Он так иногда усердствует править свое дело, «катается в разнобой», что, не рассчитав места, разбивается головой о крышу своей голубятни. Египетский голубь, когда воркует, заливается хохотом, сидя и покачиваясь на стрехах и на сучьях, — словом, всякий вид голубей очень красив и все чистоплотны, кротки и обходительны (голубчик и голубка обратились в самые нежные и сердечные ласкательные приветствия). Голуби привязаны к своим жилищам, кормят других птиц своим кормом и насчет времени очень аккуратны. Этими последними свойствами и воспользовались люди, чтобы сделать из этих птиц серьезную для себя забаву.

Она у солидных людей искала досуга и знала свое время. В праздничный день и во всякое воскресенье, теплой летней порой, горожанин-любитель поднялся с постели рано, сходил помолиться к заутрене, отстоял обедню. Вернувшись домой, сейчас горячего пирожка поел, щей похлебал, соснул немного, наверставши то время, что израсходовал ранним утром, попил кваску и, как был в халате или в рубахе при жилете, так и полез на голубятню и на крышу. Взял он в руки длинную мочальную веревку с хвостом, спустил голубей и замахал мочалом в круги; чем дальше, тем больше. Дошло, наконец, дело до подпояски, а у азартного человека — до халатной

полы. Тогда трудно бывает представить себе, что либо смешнее этой бородатой фигуры, которая к тому же и присвистывает, и хлопает в ладоши, и пристукивает палкой, прикрикивая на голубей: «Кысь-кысь!» пока они ходят в кругах.

Он вскинул сначала ободистого или кладного, которые больше любят летать одинцами и не могут подолгу тешить хозяина в жаркие и тихие дни. Он молодой, на этой голубятне родился и здесь выхолен: теперь ему проба.

Поднялся он хорошо, взлетел весело: то притонет, как будто бы в воду приспустится, то немного подастся наниз, то опять полетит крепко. Стал он спускаться, выкруживать книзу: потягивается, вертит шеей на ту и другую сторону. Хозяин доволен: будет хороший летальщик на все лето, в жаркие дни станет летать мягко.

Вот и испытанные «повивные» или «налетные», выпущенные парами и всем гнездом. Не торопятся; круги словно рисуют на бумаге: выходят гибкие, совершенно круглые. Всем кажется, что стоит там для них в воздухе прямой шест и они его видят во всей прямизне и стараются выводить около него спиральные круги, точно часовую пружину тянут, чем выше, тем завивистей и проворней. И все еще летают на виду. Видит глаз и чувствует любительское сердце, что там, в воздушных кругах, голуби «сплывутся или вскипятся» все в кучу и прямо над головой, затем исчезнут.

На это время уже чуть не половина небольшого старинного города навострила глаза и, не спуская их, любуется и утешается чужой радостью, которая на этот день и раз, как будто своя,

домашняя и даже отчасти общая городская гордость. Ребятишки, побросавши городки и бабки, собрались со всех улиц и сгрудились тесной кучей около того места, где хозяин голубей проверяет число кругов, какое сделали птицы до исчезновения из глаз. Считают с ним вместе и все те, кто любуется; при этом, конечно, просчитываются, заводят споры, ребята ссорятся и дерутся. Сто кругов полагаются обязательными для лучших повивных; после двадцати исчезают из глаз, «теряются» «летальщики» и т. д. В особенности оживляются группы зрителей, когда с двух разных голубятен вскинули по паре, и обе на дальней высоте сплылись и исчезли. Вопрос о том, в чьей будке очутятся, куда обе пары выкружат — настолько живой и горячий, что делаются заклады или пари. Спор идет о том, чья голубка переманит: один продал голубя, другой купил его, подсадил к голубке, кормил пшеницей, держал их в одной клетке несколько недель и не выпускал на волю. Голуби совыкались: голубка привязчива, а голубь всегда обходителен и ловок. Придет пора, что можно на него и понадеяться, спустить его на свидание и для встречи с прежней голубкой. Теперь — чья-то возьмет? Вот они все четыре выкружили; книзу идут твердо, все шибче и резвее, не изменяя взлетов, не ломая кругов. В самом низу кружат очень сильно. Но не в этом дело, а куда повернут. Повернул голубь за старой подругой, а за ним потянула в чужую будку и новая, разом все, как по команде, уселись в ряд на гребне крыши. Побежденная пара, без ссор и дальних споров, остается собственностью того, к

кому прилетела. Был чужак, теперь стал свояк, «пришатился».

Хорошо выдержанных в жаркий и тихий день можно смело вскидывать раза четыре, — они нимало не ослабнут. Летанье отменное, «сплывка» веселая. На Таганке, на Полянке и в Рогожской у Андроникова монастыря это хорошо понимают и высоко ценят, гулом и выкриками делая настоящий базар. На это твердо рассчитали и сами владельцы-любители. Голубя любить — надо его и холить и все предусмотреть.

С осени самых лучших отсаживают. Кормят только один раз в день. С ноября по февраль на десять пар прибавляют две горсти гороху и, когда его подклюют, бросают немного пшеницы и потом вскоре также немного конопляного семени. Впрочем, так сытно кормят только в морозы; от излишка пищи птица наживает типуны[1]. Настоящий любитель не оставляет им ни зерна на ночь, не дает пить до корму. Присыпает мелкий толченый кирпич и землю, смоченную не очень соленой водой. В стене голубятни прорубает два окошка вершка в три, наравне с полом, на тот случай, когда при испуге голуби взбесятся: полетят в запертую дверь и начнут убивать друг дружку, делаются косокрылыми, а иные начнут сохнуть.

---

[1] Это тот самый хрящеватый нарост на кончике языка (специально птичья болезнь), который желают получить всякому, кто пугает недобрыми вестями или вообще стращает чем-нибудь; или уже так надоедает россказнями, что хоть бы бежать от него или провалиться сквозь землю.

Сбереженный голубь и на руке сказывается статями: крылья твердые, перья широкие как в хвосте, так и в крыльях, тело сухое, глаза навыкат, брови самые тонкие, шея гордая, как у коня, головка маленькая и ярует так, что в избе сквозь потолок слышно. И притом красавец станом, и мундир голубоватый; каждое перышко к краям будто серебряный пятачок, а в середке усыпан синим песком, и никогда не жиреет; зимой не заедается, и голубка не тратит сил на частый вывод детенышей. Яйца от таких продаются недешево, и потому смотрят в оба за каждой кладкой, чтобы не появлялись с тонкой скорлупой, иначе птица может скоро «объяишнять». При покупке яиц цена поднимается, если покупатель приобретает с тем, чтобы подсадить под хорошую голубку. Продавец видит и знает, что у него голуби не ведутся: выходят статями нехороши; в плечах долги, глаза малы, темны и закрыты толстыми бровями; толсты телом и простоваты нравом. Отсюда издавна уже выродилась пословица, которая, говорит, что деньги прах, а животы (то есть имущество, всякое домашнее хозяйство, рабочий скот и прочее), что голуби: «где поведутся».

Твердо знают и время, когда можно гонять. Охотники смотрят на небо и замечают форму облаков. Ни за что не пустят птиц с голубятни, если облака вырисовываются на небесной синеве подобием чет и двигаются кверху, надо ждать крепкого ветра: голубям не сладить, они пропадут. Если идет дело на заклад, а облака на небе двойные: нижние белые тянут на восход солнца, а верхние темные идут поперек, — голуби хотя

и пролетают нижние облака, но уже не в силах выкруживать. Зато, когда летит паутина по воздуху, да при этом поднимается кверху — для голубиной прогулки настоящая пора. День жаркий, воздух тихий, вороны и галки играют высоко, частые и белые облака движутся потихоньку: спускай гнездо смело — слетает до трех раз правильно и легко и не ослабнет. День такой же жаркий и в воздухе очень тихо, да брошенное из рук перышко упало накось: бросай затею, не спускай голубей. Пускай закладчик дразнится и смеется; птица на полете против ярких солнечных лучей наживает на глазах сильную восцу — такой упорный лишай, что с ним и не сладить потом. Таковы наши сведения, полученные от настоящих любителей и охотников.

Переманка голубей у охотников почитается делом законным и справедливым; голое воровство наказывается суровым самосудом, как одно из тяжких преступлений. Молодых ребят поколотят родители само по себе, а сверстники прибавят недополученное.

Один такой-то виновный сознавался, через всю улицу, стоя на подмостках своей голубятни и переговариваясь с соседом.

— Ну, ловко же меня вчера отбуцовали: кажись, кровью бы истек; вся кожа от тела отстала.

Другой его утешал:

— Эка! Гришке Зюкину голову проломили. Кулаками-то ворочали-ворочали, да в метлы приняли... Ну, тут спокаялся!

Этим «стальным носам», тульским «казюкам» — оружейникам, кулачные бои и волосяная

расправа — за привычку, а ловля всяких птиц, в среде их — старинный обычай.

Когда из разных губерний, по указу Петра I, собрали сюда «молодых робят» и учили их оружейному делу, а надсматривал над мастерами стольник Чулков, он сознавался сам: «По твоим, государь, письмам истинно, ей-ей всеусердно радею, как пуще того быть невозможно, что каждого дни человек по десяти бью батоги: приботщиков и замочников зело понуждаю в деле, не только что в день дать отдохнуть, но и ночи спать не даю». Измученные, избитые и озлобленные оставили после себя своим потомкам сердитое прозвище «стальная душа», а ближние соседи стали поговаривать (да и расславили): «Хорош заяц — да тумак, хорош человек — да туляк».

Острые на язык, находчивые на ответ, сорвиголова — оружейники, изнемогая около горнов шесть дней в неделю, на досужий час праздничных отдыхов умеют превращаться из оборванцев, пропитанных кузнечным и медяным запахом, в добрых молодцов. Не из одной только корысти на веселую выпивку облюбили они всякую Божью птицу, гоняются за ней, водятся с ней, холят и воспитывают. Птицелов Перова в картине, всем известной, художественно изображает то состояние духа, каким проникается подобный любитель.

— Присядь, бачка, чижи летят! — упрашивал в ино время проходящего человека тот «казюк», просьбу которого обратили теперь в насмешливое присловье всем тулякам.

Он на тот, как и на этот раз, приладил западню, а сам, пустив заводно́го чижа, припал за куст, да там и замер. Старательно он самца выбирал; все присматривался; задолго до охоты отсаживал, а теперь на него уже вполне понадеялся.

По сучьям березы бегают эти зелененькие чижи, вольные и беззаботные, — и чирикают. Заводной как только выпустили его на точок и услышал он чириканье, так и стал тотчас же «мастерить» — заманивать. Один чиж прилетел на западню — и заморозил охотнику сердце. Хлопнул западок, — так словно из ружья выпалил и растопил сердце: первый чиж попался.

А заводной все зазывает: призовет — обойдется, да так, что не знаешь: дивиться ли тому, как это умеет оказывать такую ласку такая маленькая пичужка, или свое сердце сдерживать, — не мешать заводному обманывать. Иной мастерит на все девять позывов, а вольные самки так колом к нему и бросаются. Начинают чижи драться между собою и пищат. От удовольствия и наслаждения у охотника дыхание спирается в горле, — целый день сидел бы да смотрел на птичьи проделки.

На соседней липке тем временем проявился зеленый молодец покрупнее заводного. Привел этот с собой своих целую стаю и всех при себе держит. Западню видит, а к ней нейдет. Раз подскочил, да тотчас же приподнял и взъерошил затылок, затрещал, — да и прочь. Точок опустел весь, только один верный домашний друг и остался на нем.

— Провалиться бы этому самцу сквозь землю! Не дорог конь — дорог заяц.

Надо теперь новый точок разыскать, опять начинать охоту сначала:

— Тю-пик!

Это красноголовый щегленок некстати прилетел над охотничьей неудачей подсмеяться.

Туляки, впрочем, и щеглятники (их же дразнят: «Щегол щаглуе на дубочьку»). Не дают они спуску и синицам: одна какая-нибудь махнет, как колокольчиком, — казюк и замлел. Опять присел, стал прислушиваться, измучился, — до того хороша эта синичка: в пении сильна и полна, и многословна.

— Ти-гю-динь! — и расстановочку сделает необыкновенную.

Завтра и на синичьи стаи напустит казюк заводного. Один такой у него уж отсажен.

ЭЙ, ЗАКУШУ!

Это выражение, в виде предупреждающей острастки и легкой угрозы, народилось в Москве и здесь до сих пор бродит, вращаясь в среде торгового люда. Появление его в обиходной речи относят к началу нынешнего столетия и, приписывая ему историческое и бытовое значение, требуют от нас обстоятельных объяснений.

Покойно, сытно и сладко жилось честным старцам в смиренных кельях святых обителей, а еще того лучше, беззаботнее в богатых лаврах и ставропигиях. Как пели у них на крытых пере-

ходах слепые нищие про Алексея — человека Божьего: «пили-ели сладко, жили хорошо», особенно в прошлом столетии, когда монастыри эти владели крестьянами, и Троице-Сергиева лавра была помещицею более чем ста тысяч душ чудотворцевых. У ее настоятелей и соборных старцев было правилом: не носить иных ряс, кроме бархатных либо шелковых; каждому рядовому монаху полагалась ежедневно бутылка кагору и штоф пеннику, меду и квасу по целому кувшину. В Киеве было не хуже: там тоже покупались виноградные вина бочками, засаливалась рыба чанами, а лавра одинаково славилась и стоялыми медами, и крепкими густыми пивами.

Потрапезовавший инок, грузно опускаясь в смиренные пуховики и утопая в них, ласковым, тихим голосом взывал к прислужнику:

— Гей, хлопче!

Являлся, как шест, высокий послушник.

— А ну, перехрести мене! Да вже ж я сам започию.

В Соловках монахи обленились до того, что не хотели даже петь на клиросах и предоставляли это дело тем крестьянам, которые работали на монастырь либо по обету, либо по силе крепостного права. Служба по обиходу, знание устава, гласов и напевов все-таки требовали напряжения памяти и траты времени, а штатные мужики были к тому делу такие охотливые и доточливые! Зато сергиевские монахи этим занятием не брезговали: там были другие обычаи и иные порядки.

По живым преданиям, в московской лавре, перед всенощной, приносились ведра с квасом,

пивом и медом прямо в алтарь. «Правый клирос поет, а левый в алтаре пиво пьет» — так и говорилось в народе открыто. После благословения хлебов служащим иеромонахам подносилось в алтаре красное вино в чарах серебряных. Выходили они «на величанье» веселыми ногами, сановито покачиваясь, что называлось острыми и злыми языками завистников, «нахвалитех».

А вот — и сами обличители, они же и насмешники: это — заштатные гулящие попы, целый класс людей без средств к жизни и прямых занятий. Тут и запрещенные, и бесприходные, все — гуляки и бражники: шатаются по веселым местам, валяются по царевым кабакам с тех самых времен, когда всякие деяния впервые выучились записывать, и с народом стали разговаривать писаными грамотами. Задумают ли удалые казаки поход на татар или просто добрые молодцы соберутся погулять и пошалить по матушке-Волге, — безместные попы тащатся за ними. Когда поплыл Ермак забирать Сибирь, в его отряде шли три попа и сверх того старец-бродяга, который «правило правил и каши варил, и припасы знал, и круг церковный справно знал». Бродили попы и за Стенькой Разиным, нашлись таковые готовыми к услугам и у Емельки Пугачева. Чем больше нарастало лет и приближали они наше бедовое время — число безместных попов сильно увеличивалось. В конце прошлого и в начале нынешнего века оно было изумительно. Указы совсем перестали действовать: попов они вовсе не устраивали, а стало быть, и не смиряли. Шатались они по кабакам

и нагуливали больную печень; болтались по базарам и среди народных скопищ говорили скаредные речи и творили неподобные дела. Дошатались и договорились вконец до того, что на их артель пало сильное подозрение в кровавых событиях московской чумы 1771 года. Московская чернь убила полумалоросса, полумолдавана архиерея Амвросия Зертис-Каменского, который любил раздавать, по жестокому нраву, плети и розги направо, налево и вдоль всего белого духовенства: даже священники, приносившие бескровную жертву, были сечены до крови. И сами они убегали от приходов своих, и насильно их отгоняли от церквей. Скопилось таковых «безместных» к началу нынешнего столетия великое множество, почуявшее уже силу и возобладавшее смелостью. Кто не успел пристроиться в раскольничьих скитах поповского согласия, те вышли прямо на московские площади. На перекрестках они протягивали руку, на людных «крестцах» объявляли всенародно свои рваные вретища и объясняли свои безысходные и неключимые беды. В Москве особенно прославился «Варварский крестец», что образовался из Большой Лубянки, Солянки и улицы Китая-города, носящий название свое от церкви великомученицы Варвары. Здесь, на дороге из Замоскворечья, собирался торговый люд во всенародном множестве с самым легким и плохим товаром, но дешевым и подходящим всякому на руку. Тут и бесприходные попы приладили своего рода торговлю, чем умели и чего от них могли на рынке требовать.

Этот спрос на попов свободных, гулящих и безместных в особенности усилился в то время, как француз спалил Москву, когда погорели все церкви и стояла мерзость запустения даже в кремлевских соборах. Опасливое духовенство последовало примеру Августина (Виноградского), правившего епархиею за митрополита Платона и удалившегося с чудотворными иконами Владимирской и Иверской в Муром. На все великое множество московских церквей далеко не доставало требоисправителей не только в то время, когда Москва наполнена была пожарным смрадом, на улицах валялась конская падаль, торчали закоптелые каменные фундаменты и печи и всюду была дорога. Собравшиеся со всех сторон священники получали заказ и находили дело далеко потом, когда кое-какие храмы успели уже обновить или подправить. Кладбищенские же хотя и все оставались целыми, но стояли без причта и без пения. Деревянные поповские дома все пригорели. Ничего не пощадил француз: всех ворон поел; все драгоценности расхитил; над святыней надругался; многое с собой увез. На подобном безлюдье и среди такого полного разрушения громадного города безместные попы обрели себе злачное место, чтобы было, где править слово истины. Полюбился им пуще всего «Варварский крестец» и стали все они здесь собираться. Кому их было нужно, так про то все и знали. Походят безместные по толпе, присядут на лавочку, — все поджидают. Волоса, известные на рынках более под именем гривы, торчат из-под шляп с широчайшими полями всклоченными, засели в них пух

и сено. Бороды не расчесаны, нанковые линючие подрясники подпоясаны веревочкой, на плечах выцветшие на солнышке камлотные рясы еле держатся. Иные обуты в лаптишки, и хоть бейся об заклад, на ком больше заплат.

Все забрались с первым светом, когда чуть еще начинал он брезжиться. Рыночные торговки, по своему сердоболью и по чужому обычаю, успели всех попов оделить калачами. Иной, забытый или запоздалый и обделенный, сам припросит:

— Ныне от тебя еще не было благостыни: давай калач-от!

Калачи попами не поедались, а прятались за пазуху.

— Зачем холодному и голодному прятать, лучше съесть: может быть, другая калачница новым и свежим облагодетельствует?

А вот мы сейчас увидим, какую с этими калачами безместные попы «Варварского крестца» выкинут штуку[1].

Идет к ним купец или иной, нуждающийся в попах человек, а они уже его по шапке и по походке издали видят и обступают. Выслушивают, что́ кому нужно: заупокойную или заздравную обедню?

Первые в то тяжелое время были в наибольшем требовании.

— Помянуть надо.

---

[1] Обычай этот многие относят к более древним временам, доводя его даже до Ивана Грозного и бывших грозных пожаров, вроде Всесвятского.

Мало ли народу побито под Тарутином, под Малоярославцем, а того еще больше под Бородином? Другому хочется о своем избавлении помолиться, да притом не иначе как в своей приходской церкви, а духовного отца нет: еще не приехал. Иному это сейчас хочется сделать, потому что он в тот день именинник.

— Ну, что ж тут толковать — мы это дело справим, мы это можем.

— Цена какая будет?

— Что предъявляешь?

— Чтобы со звоном и пением, и пуще всего не пропускать ничего и не торопиться.

— Имеются ли готовые просфоры в указанном церковными постановлениями количестве?

— Заручились: одна-таки просвиренка уцелела и торгует мягкими.

— В каком количестве и все ли пять, и суть ли, сверх того, запасные?

Оказывалось все налицо.

— Полагается поминальная запись: есть ли она?

— Сгорела, затерялась. Потолкаться, чтобы написали, было не к кому.

— Вот и препятствие, труд и болезнь: писать надо. А я сам-то поразучился. Да и веществ тех для рукописания, грех ради наших, ни у кого не промыслишь: здесь на торгу не полагается.

Через плечо другой поп смотрит, лукаво прищурив левый глаз и приклонив ухо. Впрочем, на этот раз он смотрит более из любопытства и отчасти лишь из соглядатайства: на самом деле попы, мужичьим базарным обычаем, уже метали

жребий. Звонили они в шляпе грошами и установили очередь между собою, по порядку вынутых монет. Торгуется умелый и самый бессовестный, а служить пойдет тот, который последним вынул свой ломаный грош. Умелого и не допускают до жеребия, а высылают его вперед по общему назначению и полным голосованием: он получает отсталое и свершонок.

Бойкий старается сбивать заказчика на словах. Торгуется, сбавляя цену копейками. Закидывает всякими мудреными словами, запутывает устрашающими и неожиданными вопросами:

— Касательно полных поминок всех надлежащих имен или только новопреставленных: как читать?

— На всех ли сугубых ектеньях совершать полное поминовение или токмо на первой?

Выговаривает и число выходов из алтаря для каждения, называя кутью «коливом», толкует и о многом неподходящем и, встречаясь с кремневым упорством заказчика, выхватывает из-за пазухи даровой и дешевый калач. Держит его в руке и обсказывает:

— От продолжительных и пустых разговоров я уже и есть восхотел. Эй, закушу!

Между тем остальные попы все уже отошли прочь и, невидимо для наемщика, скрылись в рыночной толпе. Все они калачей своих еще не начинали: по номоканону, следуя священническим правилам, не принимали они ни капли питья, ни крохи пищи со времени вчерашнего солнечного заката. Так, по крайней мере, все думают.

Думает таким же образом и тот заказчик, перед которым, как Мария египетская в Иорданской пустыне, стоит последний поп и, как свеча перед иконою, теплится.

— Закусит тот поп калача, — уж он не петух: обеден петь на весь день не годится. Прячько, батько, калач-то за пазуху! По чистой совести надо бы тебя изругать в корень, да вот «пришло по-та́, что подай попа». От вора отобьешься, от подьячего откупишься, — ну, а от попа, как и чем теперь отмолишься?

ВОЛЬНОМУ ВОЛЯ

Удельные князья писали обычно в своих договорах друг с другом: «...а боярам и детям боярским, и слугам, и крестьянам вольная воля». Вот с каких пор сохранилось до наших времен это выражение, по строгим требованиям нашего языка кажущееся такою же бессмыслицей, как «масляное масло», «поздно опаздывать» и тому подобные неправильности, допускаемые иногда в обиходной речи. Когда складывалась эта поговорка, и в самом деле волен, то есть свободен был каждый крестьянин, носивший в себе умелую и привычную силу, владевший великой тайной из дикой земли создавать плодородную почву и пустую, ничего не стоящую, своим трудом и искусством, превращать в ценную. За таковую уже охотно платили деньги. За пользование ей требовали подати и повинности, и их соглашались платить. Земля делалась «тяг-

лом», и крестьянин с землею и земля с крестьянином так тесно были связаны, что друг без друга они не имели никакого значения. Земля без крестьянина — мертвая пустошь, липкая грязь, «дикая пасма»; крестьянин без земли становился бобылем, бездомным и бесприютным человеком, которого уже никто не жалеет, но все охотно презирают. Ему необходимо было садиться на землю, и если он расчистил новую и ничью, то становился полным хозяином; если занял чужую, то, не переставая быть свободным человеком, жил здесь как наемщик, платил трудом за пользование, а захотел — отошел. Если он забирал при этом на чужой земле у владельца скот и орудия, хлеб на прокорм и семена, он все-таки был только должником: рассчитался по чести и совести — и опять был свободен. У вольного воля, таким образом, была правом, привилегией, означала свободу для действий и поступков, жить на земле доколе поживется, и уходить, куда вздумается. Пользовались этой свободой переходов только именно вольные люди, какими почитались в те времена: сыновья при отцах, братья при братьях, племянники при дядях, все, не вступившие в обязательства или свободные, или уволенные от таковых. Всем вольным предоставлялась полная воля, потому что были еще холопы и рабы. Эти вечно принадлежали господам и, как вещь, могли быть заложены, проданы и даже убиваемы без суда и ответа. Такие кабалили себя сами, продаваясь от крайней бедности или от мучительных притеснений богачей и тому подобного.

Понятным делается теперь и тот придаток, который всегда следует в оборотах живой речи: «Вольному воля — спасенному рай» (иногда с новыми приставками: «ходячему — путь, бешеному — поле, черту — болото»). Старое судебное изречение таким образом превратилось, про наш обиход, в мудрую повсеместную пословицу.

ВЫДАТЬ ГОЛОВОЙ

Этот обычай известен был еще в XII веке, когда с князя за вину бралась волость, а прочих людей отдавали головой, причем последняя выражала понятие о личности. Отданный головою за долг поступал к заимодавцу с женою и детьми в полное рабство, на работу, которую и отбывал до тех пор, пока не покрывал весь долг. Во время местничества оскорбитель был бит батогами и потом обязан был просить униженно прощения у обиженного и жалобщика: кланяться в землю и лежать ничком до тех пор, пока оскорбленный не утешится и не поднимет со словами: «Повинную голову и меч не сечет». Словом, в старину это означало предание суду за преступление с лишением гражданской свободы, а также временное рабство за долги. Тогда «брат брату (шел) головой в уплату»; теперь — нечаянно, без умыслу выговорить в неуказанное время неподлежащему человеку за условленную тайну значит то же, что «выдать головой».

ДОЛГИЙ ЯЩИК

Когда говорят про недобрых дельцов и судей, упрекая их в лености, что они «откладывают дела в долгий ящик», тем вспоминают про тот длинный ящик, который некогда царь Алексей Михайлович велел прибить у дворца своего в селе Коломенском, на столбе. Он ежедневно прочитывал сам вложенные туда челобитья. До того времени челобитные на имя царя клались на гробницы царских предков в Архангельском соборе. Богомольный царь, ревностный к церковному благолепию, поспешил отменить обычай. Ящик сделан был длинным в соответствие свиткам, на которых писались все документы до Петра, заменившего их листами голландского формата, существующими до сих пор. Из царских теремов выходило решение скорое, но, проходя через руки ближних бояр и дальних дьяков, дело «волочилось»: инде застрянет, инде совсем исчезнет, если не были смазаны колеса скрипучей приказной машины. Недобрые слухи про московскую «волокиту» или еще образнее про «московскую держь» в народном представлении остались все те же, а кремлевский ящик из длинного превратился в «долгий», про вековечный обиход несчастных просителей и жалобщиков на всем раздолье русского царства. Особенно же это было чувствительно и тягостно для приезжих из областей и дальних мест. В первопрестольном городе им доводилось задерживаться и издерживаться. Это то же «хождение по передним» нынешних влиятельных лиц, равносильное стоянию на Красном

кремлевском крыльце или у дверей старинных приказов. Насколько тяжело было положение просителей, свидетельствует св. Митрофан, епископ воронежский. Отправляясь в Москву, он считал необходимым, для сокращения сроков московской держи, каждый раз запасаться достаточным количеством денег. Если в монастырской казне их не было, то он прибегал к займам, и издержки аккуратно записывал в тетрадь. Одна из них сохранилась. В ней мы читаем о покупке святейшему патриарху «в почесть 40 алтын на лещей и на 23 алтына и 2 деньги осетрины» в то время, когда на себя лично во всю дорогу издержал святитель всего лишь 17 алтын «за постой и квас». В Москве он поднес патриарху калач, дал патриаршим истопникам 40 алтын, патриаршим певчим славленных 62 алтына, пономарям Успенского собора гривну, подьячему Кириллову на сапоги две гривны и прочая «про́тори и про́ести, убытки и волокиты», как привычно выражались в те времена.

ПРАВДА В НОГАХ

Хотя пословица и укрепляет в том бесспорном убеждении, что в ногах правды нет, однако в недавнюю старину ее там уверенно, упорно и с наслаждением искали наши близорукие судьи, с примера, указанного татарскими баскаками. Сборщики податей, а впоследствии судные приказы, взыскивавшие частные долги и казенные недоимки, ставили виноватых на правеж, то есть истяза-

ли. По жалобе заимодавца приводили должников босыми. Праведчики, то есть пристава или судебные служители, брали в руки железные прутья и били ими по пятам, по голеням и икрам (куда попадет). Били с того самого времени, когда приходил судья, до того, когда он уходил домой.

Били доброго молодца на правеже
В одних гарусных чулочках,
И без чеботов, —

говорит одна старина-былина. Бивали так новгородских попов и дьяконов «на всяк день от утра до вечера нещадно». Чаще всего ограничивали срок битья согласием должника заплатить долг или появлением поручителя. Бирон казенные недоимки, накопившиеся от неурожаев, вымогал тем, что в лютую зиму ставил на снег и все-таки в отмороженных ногах бесплодно искал правды. Стали толковать: «Душа согрешила, а ноги виноваты» и «В семеры гости зовут, а все на правеж». Истязуемые умоляли безжалостных заимодавцев: «Дай срок — не сбей с ног!» А бессильные и безнадежные, когда «нечем было платить долгу, бежали на Волгу». Все эти болезненные вопли и бессильные жалобы ушли в пословицы и с уничтожением правежного обычая приняли более смягченный смысл. Плачевный вывод из суровой практики старых времен погодился в нынешние времена лишь в шутливый и легкий упрек доброму приятелю. Стали уверять, что «в ногах правды нет», тех, которые, придя в гости, церемонятся, не садятся. Точно также: «Дай срок, не сбей с ног» обращают теперь к тем, кто в личных расчетах торопит на работе,

понуждает на лишние усилия, сверх ряды и уговора, в тяжелом труде, затеянном либо на срок, либо в самом деле наспех и т. д. Над упраздненным правежом начали уже и подсмеиваться в глаза заимодавцам: «на правеж не поставишь!» (не что возьмешь). Какая же в сущности правда в ногах? «В правеже не деньги» (то есть иск по суду малонадежен), — сознательно говорят и в нынешние тяжелые времена всеобщего безденежья.

Точно также из отдаленной старины сохранилось живое изречение —

ЛОЖЬ КРИВАЯ

«Диво варило пиво: слепой увидал, безногий с ковшом побежал, безрукий сливал; ты пил да не *растолковал?*» Или так: «Безрукий клеть обокрал, голопузому за пазуху наклал, слепой подглядывал, глухой подслушивал, немой караул закричал, безногий в погонь погнал?» Таковы, на досужий час зимних вечеров, две из народных загадок, вообще очень скупых на отвлеченные понятия, а вращающихся преимущественно в кругу видимых предметов и обычных вещей. Указание для отгадки в данном случае сделано на то несмываемое пятно, которое уже целые века сберегается целым на роде человеческом, и на то, в чем, по Писанию, весь мир лежит, что со светом началось и со светом кончится, чем красна всякая человеческая речь, что, по народной пословице, живет и ходит на тараканьих ножках (того и гля-

ди — подломятся). Его люди терпят, но от него пропадают. С ним весь свет пройдешь, но назад не воротишься. Словом, — загадка указывает на ложь или, по точному и более употребительному народному выражению, на неправду столь же древнюю, как мир, и имеющую отцом своим дьявола («От Бога дождь, от дьявола ложь»), с передачею в наследие всем людям через первую жену. Появление этого порока на земле наш народ объясняет тем, что Бог создал жену из кривого ребра, оттого и пошла *кривая ложь*, или, короче сказать, самым правильным русским словом, кривда. Она крива, по злому насмешливому выражению, как московская оглобля в городских пролетках или санках. Это, по тем же пословицам, либо простая дичь, либо дичь во щах, либо дичинка с начинкой, либо дудки. Она же околесная и сивый мерин, она кривые моты мотает, гнет дугу черемховую, и если заговорит, то не иначе как во всю губу и всегда на ветер. По временам она же самая — и красное словцо, гоголевские сапоги всмятку и его же Андроны, которые едут и Миронов везут, и т. д. «Правда осталась у Бога жить на небесах, а кривда пошла гулять по белому свету».

Мы, однако, не будем останавливаться на истории лжи, не станем повторять избитых и переговоренных истин о том, что привычка ко лжи усваивается нами с детства (у мальчиков лягаются деревянные лошадки, девочки разговаривают с куклами, и каждый ребенок уверяет, что кукла его поняла). Не будем доказывать, что няньки и матери сами научают лгать набедокуривших детей

(«ведь, правда, что не ты это сделал, а гадкая собачонка или блудливая кошка?») и тому подобное. Детские сказки при этом, как первичная ложь, — наша молочная каша. Всякому известно, что иные лгут по недомыслию, не находя возможности выйти из раз и навсегда усвоенного ими кругозора. Другие лгут, чувствуя себя неправыми, с желанием оправдаться; третьи — по привычке; а четвертые — намеренно. Словом — «лжей много, а правда одна; правде путь один, а ложью, как хошь, верти». На этих основаниях ложь можно подразделить на различные виды и провести их в бесконечность: некоторые делят ее, как магию, на белую и черную. Один досужий наблюдатель ухитрился подогнать ее под ясно определившиеся рубрики. У него представлены: ложь хвалебная, деловая и должностная, или служебная, историческая, эстетическая и литературная (рекламы и прочее), галантерейная, беседная, или светская, и вынужденная. Все зависит от тех требований, какие предъявляет каждому из нас общество. Вся наша теория вежливости основана на лжи из учтивости, на которой зиждется и вся так называемая светскость. Такого сорта ложь получила даже полные права гражданства. При этом, как же можем научиться говорить правду, если другие не научились ее выслушивать? А по пословице: «На всякого враля по семи ахальщиков».

Лгал постник, с *желанием оправдаться*, когда пойман был на месте, в Великом посту, с яйцом, которое он пек на свечке: «Сатана меня соблазнил!» Подслушавший его черт не вытерпел

и закричал: «И сам-то я впервые вижу такую штуку. Вот смотрю да учусь». Врут охотники (которые полагаются первыми лжецами в мире), врут по привычке, как лыки дерут: у них слово за словом, ложь за ложью, как лыко за лыком тянутся. Один из таких добрался до собаки из породы гончих, которая так долго гонялась за зайцем, что истерла себе лапы и превратилась в коротконогую таксу: на беду ее заяц был с восемью лапами (еще четыре на спине) — устанет одна пара, он перевернется, упадет на свежие — и опять бежит. *Намеренно* лжет цыган на конной ярмарке, выхваляя небывалые достоинства лошади, и божится, а сам себе не верит — и когда кончил и побожился, — люди ему не верят. *По легкомыслию* врут люди, заразившиеся этим пороком — по наследственности или избаловавшиеся привычкой ко лжи, которая, как всякая болезнь, заразительна. Этого сорта лгуны примолкают лишь в тех случаях, когда успевают их переврать: матрос в трактире уверял за чаем, что где-то он видел реку, обросшую лимонными рощами так густо, что вода превращается в лимонад-газес; буфетчик поспешил ему сообщить о своем сельском колоколе, в который позвонят о Рождестве, а он гудит до самой Пасхи. Один рассказывал, что он с горя поседел в одну ночь, слушатель перехвастал его тем, что противопоставил своего приятеля, у которого по той же самой причине поседел парик, и тому подобное.

Заразительность лжи всего нагляднее выясняется на нашей прислуге и в особенности на бывших крепостных лакеях. Один подгулявший

помещик обещал наградить того из прислуги, который лучше соврет. Первый сказал: «Я, барин, никогда не врал». Другой: «Я совсем не умею лгать», а третий: «Мы все трое говорим чистую правду». Обещанная награда, по справедливости, была присуждена последнему. *Наследственность лжи* всего прямее объясняется указаниями наблюдателей и историческими примерами, когда обличаются в этом пороке не только отдельные мелкие племена, но и крупные народы. Например, по нашим летописям, греки «лживы суть даже до сего дня», и в сей день, по народному присловью: «Если грек на правду пошел, держи ухо востро; его правда, как цыганская, хуже православной кривды; это Сидорова правда и Шемякин суд». Греки и в древние лучшие свои времена сами по себе не задумались же рассказать и записать в историю, что, идя в битву на Марафонском поле с 10 тысячами войска против 600 тысяч персов, они потеряли лишь 192 человека. Хвастливость греков унаследовали французы — изобретатели военных реляций, которые до Наполеона I были сущими пустяками сравнительно с бюллетенями «Монитера» (во Франции вошло даже в пословицу говорить о лжеце: «Он врет, как *«Монитер»* с переводом на наши обычаи и язык: «Врет, как Булгарин» или «Врет, как «Пчела», «Врет, как по-печатному, как живая газета»). Поражения свои в России французы приписывали морозам, в Испании — зною, в Германии — измене союзников и маршалов и т. п. Хотя упомянутый мною выше (неизвестный) автор и оправдывает военное красноречие,

именно гиперболические сравнения как поднимающее дух войска, но тем не менее находит возможность острить. Наполеон говорил: «Я видел у ног моих королей, и если бы я был притязателен, то мог бы приобрести 50 милл., но я гражданин и генерал великой нации: меня прельщает лишь уважение избранников, мнение потомства, чистота совести и благоденствие моей родины». Наш автор замечает: «В то же время он составлял уже честолюбивые планы, и до 50 милл., вероятно, хватало немногого».

В хвастливой нации успели, однако, выделиться гасконцы как давние и опытные и неисправимые лгуны и хвастуны (оба типа — как известно — родные братья). Гасконец все знает и все видел: он даже присутствовал при сотворении мира, но, несмотря на это, он все-таки симпатичнее парижанина. Он лжет, сам того не ведая, преувеличивает, вовсе того не замечая; выражаться гиперболически сделалось его потребностью. Матрац гасконца набит волосами из бакенбард убитых им неприятелей и т. п. Об них, как и об испанцах, написаны целые трактаты. Один из них в переводе с немецкого издан был Н. Осиповым (в 1818 году пятым изданием) и напечатан, как сказано в заголовке, «сызнова, с прибавками и в лицах, под титулом «Не любо, не слушай, а лгать не мешай». Из этих же рассказов добрая доля заимствована неизвестным автором в русскую книгу под тем же названием в 30-х годах нынешнего столетия, книгу, некогда очень распространенную, но теперь почему-то исчезнувшую на книжных рынках. Во мнении русских людей по хвастливо-

сти выделяются поляки, и в их литературе, вместе с анекдотами о знаменитом пане Коханку (Радзивилле), имеются книжки, также повествующие о подобных хвастунах и лжецах. Знаменитый владелец города Несвижа (где и лежит под костелом его крупное, богатырское тело) любил веселую беседу и всегда лгал без совести. Для поддержки его в этой слабости неотлучно находился при нем любимец шляхтич Боровский. Этот обязан был поддакивать. «В одну зиму, когда было мало меду, Карл Радзивилл наловил до двух тысяч медведей, нагрузил их шкурами барку и поплыл в море продавать товар за границей. Поднялась буря: судно того и гляди разобьется о камни. Радзивилл соскочил в море, схватил барку обеими руками в обхват, оттолкнул от камней, — сам поплыл, поддерживая судно плечом, пока не причалил к пристани». И еще раз проврался Радзивилл на веселом пиру в своем увеселительном несвижском дворце таким образом: «Бежит дикая коза. Я попал в правое ухо, и пуля вышла в копыто задней ноги». — «Как так?»— усомнились слушатели. — «Спросите у Боровского...» — «А так было!— поддакнул Боровский. — Когда пан стрелял, коза задним копытом чесала себе ухо, оттого пуля и прошла сквозь копыто». После рассказа Радзивилл отошел к окну, Боровский последовал за ним и говорит: «Нех, ясновельможный, вперед так не лжет: я насилу задний копыт притянул к уху, — без меня бы козе недостать...» и т. п. Подобные анекдоты изданы, между прочим, Боричевским под заглавием: «Народные славянские рассказы». О домашних чудаках этого

сорта в русской литературе существуют художественные рассказы, замечательные по своей реальной правде и написанные Алексеем Феофилактовичем Писемским. Замечательно при этом, что самый внимательный обзор русских присловий, пересмеявших все племенные недостатки не только по городам, но и по деревням и селам, приводит к тому заключению, что порок лживости и хвастовства представляется в нашем народе слабым. Из инородцев выделяются лишь одни цыгане.

Люди, обладающие живым и пылким воображением и впечатлительностью (не исключая, конечно, прежде всего и детей), никак не могут ограничиться представлением голого факта, а должны непременно его идеализировать. Часто, рассказывая одно и то же придуманное ими, то есть распространяя ложь, они доходят наконец до того, что сами убеждаются в правдивости личных фантастических образов. С каждым разом, придавая своей лжи художественную законченность и видя, что их ложь действует сильнее правды, они наконец доходят до того, что, по пословице, перед ними леса нагибаются и сыр-бор преклоняется. Таков, между прочим, тот путешественник, который, рассказывая о том, что он сам видел, как дикие ели воображаемых детей его, всякий раз заливался горючими слезами. Про таких-то и говорят наши пословицы, что «кто их переврет — трех дней не переживет» и «один врал — не доврал, другой врал — переврал, третьему ничего не осталось». Один сморозит, а другой плетет кошели с лаптями либо прямо несет

колеса на турусах (или наоборот); один выворачивает дело наизнанку, другой лошадь через шлею валит; иной так путает, что и сам дороги домой не найдет, — и все они, попросту сказать, врут. От иного вранья уши вянут, в глазах зеленит, святых выноси и сам выходи. Под другое вранье иглы не подбить, через третье — не перелезть, четвертого вранья — за пазуху не уберешь.

Если, как сказано и доказано, лжей много, то, во всяком случае, правда одна, и та непременно — голая.

ПРАВДА ГОЛАЯ

Александр Невский сказал: «Не в силе Бог, а в правде», а русский народ говорит: «И Мамай правды не съел». Однако на всем свете, по всенародному убеждению, правду говорят только дети, дураки да пьяные. В самом деле, многие ли ищут истину и любят правду? К слову: в последних двух словах, при некотором обусловленном сходстве, есть существенная разница. Истина «все, что есть», что справедливо, верно и точно является достоянием человеческого разума или, как говорится, истина *от земли*, в смысле правдивости и правоты, а *правда с небес*, как дар благостыни. По объяснению В. И. Даля, истина относится к уму и разуму, а добро или благо — к любви, нраву и воле. Благо во образе, как в форме, доступной пониманию, есть истина. Свет плоти — солнце, свет духа — истина. Истина

же во образе, на деле, во благе и есть правда как правосудие и сама справедливость, суд по правде. По псалтырю «Истина от земли возсия, а правда с небесе притече». Истина присуща только богам (ее-то и не знал Пилат и громогласно просил объяснения); стремиться к истине — значит, желать быть добродетельным. Вот почему она встречается так редко. Да и правда, будучи нагою, не дерзает являться в свет иначе как прикрытою ложью, чтобы, по русскому выражению, не колоть глаз, то есть не возбуждать ненависти. Правда не так сладка людям, как плоды заблуждения и обманов, да и притом же ее трудно проверить, а потому и народный совет: «С нагольной правдой в люди не кажись». Нагая правда, то есть прямая, без обиняков, не на миру стоит, а по миру ходит, то есть не властвует людьми, не начальствует над ними, а, истомившись, сама лжи покорилась. Всякий правду хвалит, ищет, любит, знает, да не всякий ее сказывает в том убеждении, что и хороша святая правда, но в люди не годится. Между тем отцы церкви, как св. Августин, не разрешают лгать даже одного раза, хотя бы этим можно было спасти все человечество и даже на те случаи, когда ложью мы удерживаем человека от преступления или сами спасаемся от вечной погибели. Греческий философ Платон, ненавидевший ложь, разрешал ее только врачам. Пробовала правда спорить с этой кривдой, да свидетелей не стало, а сталось так, что у всякого Павла оказалась своя правда, и все оттого самого, что она живет у Бога. Если хороша эта правда-матка, так не пе-

ред людьми, а все же только перед одним Богом. И трава перекати-поле, подхваченная ветром, унесла на себе кровавые следы, которые обнаружили убийцу, и ракитов куст тем же способом за правду постоял, но все-таки правде в людях нигде нет места, и не по той же, в самом деле, причине, что она ходит нагишом. Ее уже с древнейших времен, когда настояла надобность изображать в лицах, попросту изображали голою (отсюда и русское выражение «правдолюб — душа нагишом»). Она слишком бедна, чтобы жить в столицах и больших городах, где и самая жизнь очень дорога, а потому ее надо искать скорее в деревнях и всего вернее в глухих, простеньких и дешевеньких. А, впрочем, зачем искать ее в других, когда в самом себе ее нет? Как трудно отличать добродетель от порока, так же нелегко в мире, управляемом общественным мнением, добиться правды тому, кто не угоден перед Тем, Кто есть свет и истина. Стало быть, по-видимому, нечего плакать о том, что правда улетела на небеса, а следует обживаться с кривдой, привыкать к ней: правда свята, а мы — люди грешные. Ввиду господствующей лжи, современные любители и искатели правды советуют одно утешение в молчании с убеждением и верою, что правда все-таки есть на свете. «Все в нем минется, а правда останется». Под прикрытием лжи можно долго изловчаться, однако до тех только пор, пока не грянет гроза, очищающая и освежающая воздух, и не разразится буря, ломающая все гнилое и попорченное. «Правда есть, так правда и будет».

СЧАСТЬЕ ОДНОГЛАЗОЕ

— В некотором царстве, а может, и в самом нашем государстве, жила-была женщина и прижила роженое детище. Окрестила его, помолилась Богу и крепким запретом зачуралась — довольно-таки с нее одного: вышел паренек такой гладкий, как наливное яблочко, и такой ласковый, как телятко, и такой разумный, как самый мудрейший в селе человек. Полюбила его мать пуще себя: и целовала-миловала его день и ночь, жалела его всем сердцем, и не отходила от него на малую пяденочку. Когда уж подросло это детище, стала она его выпускать в чистом поле порезвиться и в лесу погулять. В ино время то детище домой не вернулось, — надо искать: видимое дело — пропало. Не медведь ли изломал?

А та женщина называлась *Счастьем*, и сотворена была, как быть живому человеку: все на своем месте, и все по-людскому. Только в двух местах была видимая поруха: спина не сгибалась и был у ней один глаз, да и тот сидел на самой макушке головы, на темени: кверху видит, а руками хватает зря, что нащупает и что под самые персты попадется наудачу. С таковой-то силой-помощью пошло то одноглазое Счастье искать пропавшее детище. Заблудилось ли оно и с голоду померло или на волков набежало, и те его сожрали, а может, и потонуло либо иное что с ним прилучилось — не знать того дела Счастью: отгадывать ему Бог разума не дал — ищи само, как ты там себе знаешь. Искать же мудрено и несподручно: видеть не-

можно, разве по голосу признавать. Так опять же ребячьи голоса все на одно. Однако идет себе дальше: и может, оно прислушивается, может, ищет по запаху (бывает так-то у зверья) — я не знаю. В одной толпе потолкается, другую обойдет мимо, третью околесит, на четвертой, глядь-поглядь, остановилось. Да как схватит одного такого-то, не совсем ладного, да, пожалуй, и самого ледящего, прахового, сплошь и рядом обхватит, что ни на есть самого глупого, который и денег-то считать не умеет. Значит, нашла мать: оно самое и есть — ее любимое и потерянное детище. Схватит счастье его себе на руки и начнет вздымать, чтобы посмотреть в лицо: оно ли доподлинно? Вздымет полегонечку, нежненько таково, все выше да выше, не торопится. Вздымет выше головы, взглянет с темени одним своим глазом, да и бросит из рук, не жалеючи, прямо оземь: иный изживает, ин зашибается и помирает. Нет! не оно! И опять идет искать, и опять хватает зря первого поперечного, какой вздумается, опять вздымает его к небесам и опять бросает оземь. И все по земле ходит, и все то самое ищет. Детище-то ее совсем сгибло со бела света, да материнское сердце не хочет тому делу верить. Да и как смочь ухитриться и наладиться. Вот все так и ходит, и хватает, и вздымает, и бросает, и уж сколько годов оно это самое делает — счету нет, а поискам и конца краю не видать-знать, до самого светопреставления так-то будет! Правду молвят в народе: «Счастье, что трястье — на кого захочет, на того и нападет».

Таковую притчу слышал я от старика-раскольника на реке Мезени, но после нигде с нею не встречался и ни в каких изданных сборниках не нашел.

ГДЕ РУКА, ТАМ И ГОЛОВА

Рука согрешит — голова в ответе.
Пословица

Взятая в буквальном смысле, всем известная и повсюду распространенная пословица может показаться ненужной, лишней пустословкой, вызывая прямой и короткий ответ: конечно, так, само собой разумеется. В самом же деле пословица заключает в себе глубокий смысл и есть ни что иное как юридический термин, от старины до наших дней не утративший своего значения. В старину по́слухи или свидетели, при поголовном безграмотстве, ручаясь в данном показании, подавали полуграмотному дьяку правую руку и тем как бы давали собственноручную (или, вернее, и по старинному «заручную» подпись). Во многих случаях требовалось даже наложение самой руки или обеих вместе на бумагу свитка поручной записи — прием, объясняемый словом позднейшего сочинения, — рукоприкладства или (короче и проще по-русски) подписи, вместо составленного на немецкий лад. В некоторых случаях она заключалась в том, что послухам или видокам обмазывали правую ладонь черной краской и делали оттиск на свитках в столбцах, называемых поставами (гер-

бовую бумагу начали употреблять с 1699 года). Во всяком случае человек ручался за данное показание на суде, становился порукою за другого человека. Все равно, ограничивался ли он одним лишь голословным показанием или целовал Евангелие, крест, сырую землю или скреплял все клятвы подписью на бумажном листе. Отсюда и «держать чью руку» — значит стоять за того, быть на его стороне при выборах и клятвенных ручательствах, и «играть в одну руку» — действовать во всем заодно. В старину «порукой» назывался и тот человек, который брал подсудимого себе на руки, ручался ответом за него. Порукой считалась и целая семья купцов, остававшаяся как бы в закладе дома на родине, когда (по Котошихину) торговые люди ездили в чужие земли, чтобы «им в иных государствах не остатися». Со времен той же старины поручным называется всякий задаток, особенно деньги, взятые или данные при битье по голым рукам или по рукавице, при условиях всякого рода: наймах, продажах, куплях, обменах. Точно также до сих пор отцы жениха и невесты покрывают полами кафтанов руки и ударяют ими в знак окончательного согласия на брак, то есть одновременно этим способом подписывают брачный контракт и свидетельствуют его у нотариуса. То же самое делают барышники при продаже лошадей, хлопая в иных случаях неуладицы по несколько раз до последнего, когда бьют по рукавицам, прихватив на этот раз руками повод продажного коня и т. д. До сих пор на общинных сходах, при составлении мирских приговоров верители подают грамотеям руки, что и зовут «от-

бирать руки», и прочее. Так велико значение этой верхней конечности человеческого тела в жизни и обычаях русских людей. В то же время столь разнообразны в живой речи применения в иносказательном смысле этого существительного имени женского рода!

Ленивый человек, привыкший ничего не делать и сидеть праздно, «поджал руки»; у таковых, конечно, по этой причине и всякое дело «валится из рук». Иной городской извозчик или почтовый ямщик сумеет запрячь лошадь «под руку», то есть на пристяжку, да в езде часто не знает «своей руки», то есть не знает правила держаться «парадной», то есть узаконенной у нас в России правой стороны при направлении в езде (в Англии и в Японии «парадная» сторона — левая). Иные бестолковые или тупые люди «руки не знают», то есть не разбирают права или лева, как прежние рекрута, приведенные из глухих мест и требовавшие на учениях привязки к одной ноге сена, к другой соломы, чтобы уметь разбирать очередь той или другой ноги при маршировке. Человек, от постоянно преследующих его неудач пришедший в отчаяние, растерявшийся до того, что не знает, как поступать дальше и что ему делать, «опустил руки». Драчливый и вздорливый человек, посягая на смирного, «поднимает руки»; нападая на податливого «прибирает его к рукам», и на худший конец «налагает руку», то есть порабощает и притесняет. Воры, у которых «руки с ящичком», действуя с товарищами, «играют с ними в одну руку», и если поживились случайно или нажились окончательно, — они «нагрели ру-

ки». Бывают руки тяжелые, легкие, длинные, как бывают толстые шеи и медные лбы, и т. п. Вообще применений всякого рода так много, что их можно назвать почти бесконечными.

ПРИТЯНУТЬ К ИИСУСУ

В 1732 году тайная розыскных дел канцелярия из Москвы переведена была в Петербург, и хотя Петр Третий уничтожил ее, но Екатерина поспешила восстановить. При Екатерине разыскивание правды, как известно, поручено было знаменитому Степану Ивановичу Шешковскому, тайному советнику, получившему особую известность в 80-х годах прошлого столетия, когда он сделался главным распорядителем в делах тайной экспедиции. По сыскной части он был виртуоз еще в молодых летах и на первых шагах в служебной карьере, но когда стал заведовать политическими розысками, пользуясь полною доверенностью императрицы, он сделался грозою всех по причине грубого и неумолимого личного характера. Шешковский наводил ужас одним своим именем: Радищев, написавший известное сочинение «Путешествие из Петербурга в Москву», упал в обморок, когда услыхал, что дело его поручено Шешковскому. При встречах с последним, Потемкин приветствовал его всегда одним и тем же вопросом: «Каково кнутобойничаешь, Степан Иванович?» — «Помаленьку, ваша светлость, потихоньку!» — обычно, потирая руки, отвечал он, и подобострастно кланялась при этом

его небольшая, мозглявая фигурка, одетая в серый сюртучок, скромно застегнутый на все пуговицы. Принимая, по свидетельству поэта Г. Р. Державина, важный, грозный и таинственный тон, с заложенными в карманы руками, он не чинился ни с кем, кто попал в его лапы, не различая знатных дам и ростовского архиерея Арсения Мациевича от Емельяна Пугачева и от всех прочих, обвиняемых во «враках», как привычно выражались в то время. Шешковский пускал в ход и розги, и кнут, и свою толстую палку. Смотрел он спокойно и бесстрастно, считая удары и наслаждаясь, когда работали его палачи, но иногда увлекался до того, что вскакивал с места, выхватывал кнут и бил им сам. Допрос с вынуждением признания он начинал, не иначе как внезапно ударяя своей толстой камышовкой под самый подбородок заподозренных лиц с такой силой, что трещали и выскакивали зубы. Затем следовали всевозможные истязания, включительно до того стула, на который сажал свою жертву самородный отечественный инквизитор и патентованный палач. Стул этот особым механизмом опускался под пол, где скрыты были готовые секуторы, с орудиями пыток. Допросчик был холоден и неумолим — по характеру, звероподобен — по воспитанию; но при этом старался казаться богобоязненным человеком: усердно посещал церкви и каждую обедню вынимал три заздравные просфоры. По преданию, та комната тайной экспедиции, где он снимал «пристрастные» допросы с истязаниями, вся изувешена была иконами. Вопросы, обращаемые к жертве,

Шешковский уснащал текстами Священного писания. Когда раздавались стоны, вопли и мольбы о пощаде, ханжа-пустовер начинал кощунствовать, впадая в гораздо худшую крайность: он начинал читать на то время акафист Божией Матери или «Иисусу Сладчайшему, души утешению, Иисусу многомилостивому...» По догадке господина А. Н. Корсакова («Исторический Вестник», декабрь 1885 года), в этих оригинальных приемах Шешковского, «верного пса» (как он сам расписался под своим портретом), следует, по всему вероятию, искать основания этому очень распространенному выражению, поставленному в нашем заголовке. Иначе и объяснить его трудно, ввиду странного состава самой фразы с таким неожиданным сопоставлением в речах глубоко и искренно верующих русских людей.

ПОСЛОВ НЕ РУБЯТ

В давнюю старину подкупленный убийца прокрался темною ночью к богатому вельможе, но чем ближе подходил к спальной, тем сильнее одолевал его страх. Когда же увидел он воочию перед собою намеченную жертву, погруженную в глубокий, безмятежный сон, разбойник вдруг почувствовал, что та рука его, которая держала отточенный нож, стала мертветь и отыматься. Приняв это явление за Божье наказание, испуганный злодей начал сам будить обреченного на смерть. С трудом собравши силы и справившись с языком, нанятый разбойник объяснил своей

жертве, что злые враги хотят его извести, но Бог выбрал его в посланцы, чтобы сообщить о злодейском умысле и велеть остеречься.

— Я бросаю нож, но ты вели казнить меня: весь я теперь в твоей воле!

— Послов не секут, не рубят, — ответил князь, — а домой отпускают. Ступай и ты туда, откуда послан, — благо темно здесь. Ступай скорей, чтобы я тебя и в лицо не видал. Повинную голову и меч не сечет!..

НЕ В КОЛЬЦО, А В СВАЙКУ

Самым малым деревенским ребятам известно, что без кольца играть в свайку нельзя: нет никакой забавы и невозможно показать ловкости в руках и зоркого прицела глазом. Умеет сковать свайку всякий деревенский кузнец: выберет троетесный гвоздь, обколотит углы, обровняет их так, чтобы казалось толстым шилом, и наварит на толстый конец из обрезков железа (которые, по вековому праву, всегда остаются у кузнеца на клещах, как у портных сукно на ножницах) толстую и тяжелую голову (чем она тяжелее, тем лучше). Свайка готова: и на потеху малых ребят, и на похвальбу верным глазом взрослых. Надо попадать в кольцо так, чтобы не только угодить в срединную точку, но чтобы кольцо прискочило и завизжало, и с быстротой вонзилось тотчас же в землю, а того лучше в гнилые бревна под избицы. В подобном случае попробуй вытащить эту «редьку» тот, кто проиграл, то

есть не попадал в кольцо, а бил его по внешнему краю и вышибал свайкой из намеченного кона, навылет, или просто забивал кольцо глубоко в землю, ударяя в него головой свайки. За такие неловкие удары приходится долго служить, вытаскивая свайку, и часто наклоняться, чтобы передать ее счастливому игроку. Этот берет тонкий конец гвоздя или хвост свайки в кулак и всей пятерней броском вонзает в землю, причем самая свайка успевает раз перевернуться в воздухе. При верно намеченном ударе она обязательно падает на свой хвост, который и вязнет в земле. Наловчившиеся пробуют бросать свайку, придерживаясь за хвост двумя пальцами правой руки поочередно. Самый ловкий становится к кольцу спиной в таком расстоянии, что, приложивши острие ко лбу и наклонившись вперед, бросает через голову свайку так удачно, что она не только попадает в свое место, но и самое кольцо снова бешено взметывается с земли и снова задорно визжит у самой головки.

Теперь от уличной забавы (как это ни покажется странным) для нас необходим переход к такому важному народному бытовому вопросу, как обычное народное право в применении его к наследованию имуществ. По этим народным законам, издревле установленным и нигде не напечатанным, но тем не менее общим и однообразным для всей России, в применении их к женщине, между прочим, заповедано «Бабьему добру от бабы не отходить». Жена — хозяйка своего добра: все, что принесено ей в мужнин дом, принадлежит ей одной, будет ли то кладка

(деньги от жениха в виде платы за невесту) или сундук (то есть приданое в смысле даров от родителей носильным платьем, бельем и нарядами) и т. д. По смерти мужа, если она останется бездетной вдовой, все это уносит с собой. Вдовою при детях, в значении хозяйки, она остается лишь до совершенных лет ребят, иначе пользуется только какою-нибудь частью имущества (чаще $^1/_2$). Во всяком случае, «мать при сыне — не наследница», точно так же, как «сын наследует отцу, но отец не наследует сыну». Мать хотя и великий человек (в мучениях родит, грудью кормит), но отец стоит выше матери: он родит, дети — его кровь, он властитель и хозяин, как Бог надо всем светом. На этом основании женщина и в семейном быту, и в юридических правах весьма ограничена, сильно обездолена и всегда обижена, особенно, при имущественных разделах. Немудрено, но очень долго приводить все многочисленные доказательства тому, что «женский быт — всегда он бит» или «бей шубу — теплее, бей жену — милее» и т. п. При свекрови сноха — подчиненная, безответная работница, с распределением очереди (обычно по неделям) для отправления обязанностей стряпухи. Младшей снохе труднее всех, потому что она всех ниже значением, а старшая сноха, будь она даже вдовою, сохраняет свое почетное положение и ее больше слушают. Только в том случае младшая поднимается на одну ступень выше, когда вернется в семью родная дочь, выданная на сторону замуж и успевшая овдоветь. При дележе, по смерти родителей, сестры при братьях должны

довольствоваться тем, что захотят им выделить на справу к свадьбе, если мать при жизни своей не успела исполнить свою главную и священную обязанность — выдать дочь замуж (хлопоты о женитьбе сыновей лежат на отцах). Только в том случае делится имущество на равные части, когда наследницами являются дочери. Во всяком случае, до сих пор нерушим вековечный закон, выраженный пословичною формулою: «Сестра при брате — не вотчинница». Отсюда же становится понятным иносказательное выражение, наше крылатое слово — «не в кольцо, а в свайку» идет имение, то есть поступает в собственность сына, а не дочери. Это значит, что заготовленное и сбереженное родителями имущество всего чаще не приращается, но проматывается по закону — «отцы наживают, детки проживают», и по пословице: «Наживной рубль — дорог, даровой рубль — дешев».

ПО ЗЕМЛЕ И ВОДА

Как живое и живучее слово перестанет считаться непонятным или дешевого смысла, если взглянуть на него как на древний юридический термин! Поиски за последними должны составить самостоятельный труд, не входящий в задачу настоящего исследования по многочисленности таких выражений и по трудности собрания воедино всех без исключения. Ясно, что в спорах о владении землей установилось естественным образом право владеть и водами, протекающими в грани-

цах земельного участка. По земле присуждалась и вода. Вся трудность, вызывавшая путаницу отношений и споров, заключалась в точном определении межей, когда живые урочища не помогали резкими особенностями и яркими очертаниями и приметами. В таких спорах обыкновенно являлись решителями дела указания стариков. Чтобы память старожилов была решающим мнением, малых ребят привычно водили на эти межи и там секли розгами, чтобы зарубить на память. На старости им приводилось свидетельствовать о том с соблюдением некоторых таинственных обрядов. В Каргополе сохранился самый старинный: доказывающий свое или чужое право, кладет на голову кусок дерна, то есть «мать сыру-землю», и с ним обходит по граням. В других местах дерн успели заменить честною иконою. В древней ростовской земле епископ посылал священника с крестом св. Леонтия. Крест ставился на спорную землю, и свидетели должны были, удостоверясь крестом ростовского первомученика, определять: которой из двух тяжущихся сторон должна принадлежать земля. Таким образом и в Ростовском княжестве «развод земли» производился также по совести, «а не как в других местах (говорит описатель чуда св. Леонтия), — где обыкновенно суды и тяжбы производились и лилась кровь». Самое же право владения определялось выражением: «Куда топор и соха ходили», по ту грань в лесу и на полях надо считать землю собственностью лица, поселившегося и приложившего труд на таких новях.

ПОКАМЕСТ

Здесь, между прочим, следует искать происхождение слова «покамест» как старинного, оставшегося кое-где в ненарушенной форме: «Ждали по ка, подождем и по та», то есть подольше слышится зачастую. «По ка (по какое место) укажут, по та и отрубишь», — обычно говорят плотники северных лесных губерний. «Покамест живется, потамест и жить стану», а инде, уже подсмененное общеупотребительным наречием пока, покудова, на северо-востоке России дока, докуда, поколь, поколе, на юго-западе — покель, поколева, покелича, покедь, поколя; на юге — покаме, покамест, покилича, а у белорусов и малороссов по́ки и допо́ки. По ка место как сложное существительное издревле склоняется в любимой и более употребительной форме множественного числа, например, как в старых актах, «по кех мест те судные деньги (то есть взятые взаймы) за ними исполщиками (половинщиками в работах) побудут (вперед за условленную работу), а где ее запись выляжет, тут по ней суд» и прочее.

Или так, как поступал Петр Великий.

Он что-либо прикажет исполнить, да непременно тотчас же и пристращает: «Если в срок не исполните, то велю сковать за ноги и на шею положить цепь и держать в приказе покаместо», пока выписанное исполнится. Такой, между прочим, указ послал он за своею подписью архангельскому вице-губернатору ближнему стольнику Ладыженскому.

На реке Урале у тамошних казаков и посейчас сохранился таковой старинный яицкий обычай при косьбе лугов. В силу законов общинного владения (особенно бережно и упрямо соблюдаемых этими казаками), все казаки, имеющие право на сенокошение, по тому же правилу, как и при рыбных ловлях, в назначенный день общего покоса — на ногах. Ждут сигнала. Когда же он подан, все бросаются на луг и на те места, кто где захочет. Всякий спешит взапуски обойти косой, захватить желаемое место вокруг — «обкосить» до заката солнца. Обкошенное пространство на этот удалой и удачливый раз считается собственностью казака и он может с семьей своей косить тут траву и при этом ни за что не посмеет закашиваться в чужой обкос. Паев здесь не разверстывают, а предоставляют все дело силе и расторопности, как и на багренном, и на плавенном рыболовствах. Сенокосные отводы делаются только тем казакам, которые не могут отлучаться по службе, но в самом ограниченном размере (не более стога на каждую служилую лошадь). С 10 мая начинается ковыльное, которое продолжается на общественных землях «обволечным» и кончается третьим сенокошением общим «валовым».

ГРЕХ ПОПОЛАМ

С грехом пополам бывает такое дело или даже самая жизнь, что можно выразить также словами кой-как, так-сяк, с примесью добра и худа,

горя и радости, довольным быть нечем, а впрочем, ничего — не жалуемся, а терпеливо сносим: от греха не уйдешь. Грех пополам, — это уже совершенно другое. Пополам с водою и молоко рыночное продается, пополам делят, по обычаю, и общую находку, а озорники все рвут пополам да надвое. Несогласные семейные наследство делили: пополам перину рубили, не смотрели на то, что давно уже сложилась насмешка на таких людей: «Кувшин пополам — ни людям, ни нам». Пополам также люди торгуют, то есть работают на складочный капитал соединенными силами находчивого ума и налаженной опытом привычки, да, впрочем, с такими приемами и воры мошенничают и крадут. В лавке торговец за свой товар запрашивает, покупатель дает свою цену, конечно, меньшую. Между посулом этим и запросом образуется, таким образом, разность. Она уменьшается по мере того как соперники борются, слаживаясь каждый на своих резонах. Выходит так, однако, что разность все еще такова, что им ее не осилить: тому и другому тяжело и невыгодно, а желательна сделка ради знакомства и других добрых чувств. Вот тогда-то эта разность оказывается «грехом», в смысле помехи, которую и решаются, с обоюдного согласия и по взаимному уговору, рубить на две равные половины, как бы бревно или полено, попавшие под ноги и мешающие ходу.

Таково самое простое, всем известное толкование этого выражения. Нередко каждому из нас доводилось даже применять толкование его на деле, но у нас имеется про запас другой повод,

чтобы указать иные применения греха пополам. В народной русской жизни здесь важно то, что этот обычай перешел в судебные разбирательства при исках и тяжбах: суды решают платить ответчику только половину той суммы, которая с него ищется. Так, на Дону у казаков и таких же сибирских казаков (яхтышских). Во-вторых, этот обычай упоминается еще в эпических песнях. Так, например, Илья Муромец говорит своему крестному отцу:

Батюшка крестный Самсон Самойлович,
Покажи ты половину греха на меня.

У донских казаков, в случае погибели скота во время езды, пастьбы или в случае недостатка доказательств для решения спора, станичный суд определяет платить ответчику только половину той суммы, которая с него ищется.

ОСОБ-СТАТЬЯ

Слово вовсе не позднейшего происхождения, как сочинение приказных, шутливо пускаемое в оборот в нынешние времена, а очень старинное и при этом важного юридического смысла. В значении всего опричного и невместного, и как исключительная особенность оно применялось, например, к земельной собственности. Это было в те далекие времена, когда все населенные местности, вроде деревень, тянули к своей волости, и когда самые церкви с их имуществом находились в полном распоряжении мира, избиравшего для заведования церковным имуществом особого

приказчика. Таким землям нелегко было выделиться от мира, а надо было во всю силу тянуть заодно с черными волостными людьми. Бывали исключения. Старые и богатые церкви и монастыри взятками, подкупами, лестью и разными способами иногда добивались того, что писцы писали все их деревни «особ-статьей», то есть отдельно от волости. Тогда они имели уже и свои подушные книги и своих приказчиков. Эти обители и приходы уже «опричь черных людей» сами назначали подати земские и государственные, и служили службы. В таких редких и исключительных случаях и монастыри, и церкви получали название «особных» (неправильно объясненное в Толковом словаре Даля тем, что «в таких обителях каждый из братий жил на своем иждивении»). Позднейшие подьячие давали совсем другое толкование. Один квартальный не так давно отвечал: «Я не человек, а лицо, а губернатор — особа».

У НАС НЕ В ПОЛЬШЕ

Заданное к объяснению и подслушанное в Великороссии выражение это, кажущееся неясным и в виде загадки, станет понятным с забытым или просто недосказанным придатком. Оно объясняет взаимное отношение супругов — говорят всегда таким образом: «У нас не в Польше, муж жены больше». Говорит это забаловавшийся, увлеченный своим мужниным правом, как бык рогатый, задуривший мужик жене, когда видит,

что последняя старается забрать в свои руки значение и власть в семье. «Не в Польше жена, — не больше меня!» — толкуют иные по-другому. В самом же деле говорится это без надлежащих справок, а с ветру, с чужого (солдатского) голоса. Известно, например, что в Подляхии муж с женой обращается так же деспотически и грубо, как и в наших местах. Он так же готов бить жену за всякие пустяки, а безропотное терпение польской крестьянки выражается и в народных песнях, где жена называет мужа своего «паном». Польская замужняя женщина, как великорусская (по песням же), вековечная слуга, оправдывает мужнину тяжелую руку тем, что побои его свидетельствуют о силе мужчины и его достоинстве. Если казнит, то, стало быть, может и миловать. Он может всегда защищать жену от посторонних обид. Физическая слабость женщины вызвала потребность в защите со стороны сильного. И этот принцип сохраняется у всех западных славян до черногорцев включительно, как вообще у сербов. Там славянская женщина не протестует против семейного ига даже пороком и преступлением, но в великорусской семье подобное явление представляется уже довольно ясным. У нас имеется на этот случай и объяснительное выражение, и крылатое слово «срывать сердце», одинаково относящееся к тому и другому лицу, составляющему крестьянскую семью. При этом неизменна и древняя поговорка про жен: «День во́рчит, ночь верещит, плюнь да сделай». Только, может быть, в высших сословиях Польши можно найти признаки женского преобладания в семье и несом-

ненное участие в общественных делах и политических убеждениях, породившее начало поговорки, которая потребовала в ответ предлагаемую заметку. Существует в живой речи еще и такое выражение, обращаемое как окрик или упрек озорнику и своевольнику, привыкшему к самоуправству: «У нас не Польша, есть и больше».

КАМЕНЬ ЗА ПАЗУХОЙ

Остался в обращении с тех пор как во время пребывания поляков в Москве, в 1610 году, последние хотя и пировали с москвичами, но, соблюдая опасливость и скрывая вражду, буквально держали за пазухой кунтушей про всякой случай булыжные камни. Об этом свидетельствует очевидец, польский летописец Мацеевич. «С москалем дружи, а камень за пазухой держи» — с примера поляков стали поговаривать и малороссы одним из своих присловий в практическое житейское свое руководство и в оценку великороссов.

ВДОВА — МИРСКОЙ ЧЕЛОВЕК

Писатели подслушали верно, но неточно поняли эту юридическую, а не бытовую пословицу, выражающую почет и уважение вдовам, а вовсе не упрек или осуждение за подозрительное житье и недобрые деяния. На мирских сходах теперь, как и древле, женщина не являлась, так как не имела права голоса, пока оставалась в девицах или

пока находилась замужем, то есть жила за мужем, за его спиною и под его охраной. Когда же она теряла мужа, то уже не возвращалась в отцовскую семью, а становилась сама себе госпожой и в доме хозяйкой. На самостоятельность указывают: и первая русская княгиня Ольга своим примером, и первый свод законов «Русская Правда», трактующая о вдове-матери, «яже сидети начнет с детьми». Припомним Марфу Посадницу на Новгородском вече в особенности, и тогда поймем легко и свободно, что вдова должна быть мирским человеком, то есть полноправным и самостоятельным членом разумно организованного общества. Если она, как в старину, не обязана являться на сходы, так и теперь она имеет право послать туда своего уполномоченного. В старину даже иногда и судебные акты совершались на дому тех женщин, которые не желали являться на сход. Теперь в иных случаях вдовы приводят на сход своих старших сыновей; в других случаях являются сами не иначе как надевши на голову мужскую шапку покойного мужа, и т. п.

Точно также неверно толкуют пословицу: «На вдовий двор хоть щепку брось», — не клевету, брань или недоброе слово, а добрую помощь, хотя бы растопками в печь. Вдове при детях предоставляется право полновластной хозяйки: она остается на месте, то есть в избе покойного мужа, пока не вышла снова замуж. Вдова старшего брата сохраняет в больших семьях свое почетное положение и ее, как старшую сноху, всех больше слушают: большая сноха распоряжается домашними работами. Говорят: «Овдове-

ет — поумнеет», то есть более молчаливая, владеющая при муже ограниченными правами, которые, расширяются с его смертью, получает возможность предъявить во всю силу весь запас знаний, приобретенных опытом, прежней жизнью, и усилить проявление их на независимом просторе при самостоятельном и ответственном образе действий и т. д. По пословице прямого смысла: «У вдовы обычай недевичий».

О вдовьих правах я имел случай подробно говорить в журнале «Нови», в статье «Честна вдова».

БИТЬ ЧЕЛОМ И БЫТЬ В ОТВЕТЕ

Оба выражения коренные русские — и первое из них с несомненным византийским пошибом — ведут свой род из Москвы и сохранились в языке как остатки московских дворцовых обычаев. Соберутся, бывало, бояре в «передней» Кремлевского дворца рано утром и после обеда в вечерню — и только одни самые ближние бояре, имевшие право входить в «комнату» или собственно в кабинет государя. По словам Котошихина, «уждав время», бояре или входили туда, или на старом месте ждали выхода. Завидев царя, бояре и прочие чины кланялись государю большим обычаем, то есть в землю, прикасаясь лбом полу, а иные и постукивали им так, чтобы было слышно и ведал бы въяве государь про их любовь и усердие. От таких-то свычаев и обычаев пошло в оборот и

до наших дней уцелело выражение «бить челом», в основном смысле «кланяться», и со всеми его разновидными применениями: на кого — значит жаловаться, в чем — извиняться, на чем — благодарить, чем — подносить подарки, о чем — просить. С просьбами и на честной поклон перед царскими очами большею частью и ходили ежедневно бояре в царские хоромы. Государь выходил к ним по обыкновению в тафье (шапочке вроде скуфьи или татарской тюбетейки), иногда в шапке. Ни ту, ни другую он никогда с головы не снимал «против их боярского поклонения». После приема, царь шел в церковь, а по выходе от обедни начинал в передней, а иногда в самой комнате «сидение с бояры». Это и называлось царской палатой или думой. При этих думных людях всегда лично присутствовавший царь слушал судные дела и челобитные. Здесь же он назначал боярам должности и, между прочим, ту ответственную и важную, которая прямо обязывала государственных чинов «быть в ответе». Это значило вести переговоры с иноземными послами (переговоры и ответ одно и то же), давать царские ответы или решения посольских дел. Происходили они всегда в особой палате, называвшейся и «ответною», и «посольскою». «В ней, — по свидетельству И. Е. Забелина, — подобно как и в Грановитой палате, устроен был тайник, тайное окошко, из которого государь слушал иногда посольские совещания». А по Котошихину: «А как им, послам, велят быти у думных людей в ответе и им потому ж велено ездить в ответ учтиво».

Затем, по общему закону, кто первый в совете, тот первый и в ответе, а по истории и ее свидетельству: «Были, были, и бояре волком выли»: при Грозном — от опричнины и во все другие времена — от стрельцов-молодцов. По старинной поговорке: «Они стреляли, да и мошну не забывали» (то есть обижали и грабили). Вероятно, с тех же пор и приметы: «Лоб свербит (или чешется), то либо кланяться спесивому, либо челом бить с правой стороны мужчине, с левой — женщине», и поговорка: «Богатый-то с рублем, а бедный-то с челом»; «Бей челом на Туле, а ищи на Москве» (намек на времена самозванщины); «Я тебе челом, а ты уж узнаешь о чем» и т. п.

ЧИН ЧИНОМ

В этом ходячем выражении разговор идет, конечно, не о том чине, который велят почитать и о чем ходил по Москве анекдот, относившийся к Н. В. Гоголю. По возвращении его в Россию после долгого пребывания за границей, один знакомый поинтересовался спросить: что его, свежего человека, отвыкшего от русских обычаев и порядков во время долгого пребывания в Западной Европе, прежде всего поразило в отечестве. Николай Васильевич будто бы отвечал, что на первых же шагах в таможне самую первую фразу он услыхал на китайском языке: «Чин чина почитай». Отвечал он так, сильно ударяя на звук *ч*. В нашем выражении заключается тол-

кование другого рода, прямо применительное к тем случаям, когда нужно бывает поступать неторопливо, а исполнять все по порядку, степенно, как установлено приличием и обычаями — так сказать, по церемониалу. Выражение «чин чином» или «чин по чину» прямо народилось в тех народных приемах, какими обставлялось самое чинное (в смысле степенного, чопорного, ломливого, требующего изысканной обрядовой вежливости) сватебное торжество с последующим пиршеством. Самые сватебные дары и даже сласти носят название «чинов». За сговором следует веками установленный церемониал. Вот, например, «чин поезда жениха» в дом невесты: 1) дружка или старший боярин с чинами: обувью, притираниями и другими подарками, с пряниками и орехами невестиным подругам; 2) большие бояре или прочие дружки с благословенным образом жениха; 3) сам жених со своим тысяцким, то есть посаженым отцом, каковым бывает обыкновенно крестный отец; 4) свахи и 5) лагунные бояре, обыкновенно двое, едущие в конце поезда с лагуном пива или ведром водки, чем и угощают встречных, чтобы не взглянули недобрым глазом или не вынули из-под поезда следов на несчастье новобрачных. А вот и «чин невесты» при выходе из дома в церковь под венец: 1) дружки; 2) бояре с благословенными иконами; 3) жених с тысяцким; 4) особо сваха жениха; 5) невеста со своими свахами (тетками и другими родными); 6) постельные бояре с приданым невесты и 7) лагунные бояре. После венца из церкви жених садится в сани или телегу

рядом с невестой. Тот же порядок соблюдался и на сватьбах московских царей, лишь с бо́льшим количеством сватебных чинов; с большею пышностью и торжественностью, но с соблюдением основного народного чиновного устава. Стало быть, чин не только самый порядок, установленный для определенного торжества, но и лицо, им заведующее и за него ответственное: «чин (ведется и устанавливается) чином».

ГДЕ РАКИ ЗИМУЮТ

По народным приметам, этою завидною способностью знания владеют *хитрые люди*, умеющие отыскивать свое благополучие и устраивать благосостояние такими способами и при таких условиях, которые заурядным людям вовсе не известны. Хотя знатоки этого сорта не пользуются сочувствием прочих и об них отзываются с презрительною досадою, но уму их отдают преимущество, предполагая, что они владеют исключительным знанием и выдающимися способностями. Сведения о местах нахождения рачьих зимовок, по суеверным понятиям, очевидно, предполагаются исключительными, не каждому доступными, а лишь избранникам. От последних требуется если не полное изучение таинственных сил природы, то во всяком случае обладание одним из величайших ее секретов. Даже самый вопрос, обращенный в такой форме, в какой стоит он в нашем заголовке, способен поставить «в тупик, что некуда сту-

пить»[1]. Над дешевым ответом всякий поспешит как будто задуматься даже по той простой причине, что не было случая об этом подумать прежде. Да и стоит ли самый вопрос внимания? И само-то водяное животное, принадлежащее к роду скорлупчатых насекомых (crustacea) и представляющее вид речных раков (astacus fluviatilis), по русскому выражению, «ни рыба, ни мясо», именно то дрянное среднее, что возбуждает отвращение и брезгливость. В северной лесной России этого «зверя», который «по ножницам — портной, а по щетине — чеботарь», в самом деле, употребляют в пищу с большим разбором и под сомнением. Потребляет их далеко не вся православная Русь. Раков, как и зайцев, не едят староверы, бережно уберегающие древние народные обычаи и суеверия и сохраняющие их с особенною

---

[1] Тупиками, как хорошо знают все городские жители, называются такие улицы, которые, как совершенный мешок, имея вход, не дают сквозного прохода. Эти непроходные улицы теперь называются «глухими переулками». Наши города, расположившиеся у подножия гор и в распределении жилищ очутившиеся в зависимости от направления косогоров и оврагов, в особенности обилуют этого сорта улицами. В старинных городах, когда, вопреки нынешним узаконениям, ставили даже в порядок, как вздумалось и как пришлось, вкривь и накось, — к тупикам этим оказывается даже как бы намеренная и сосредоточенная страсть. Много возни и хлопот они причинили тем, кто пускался переделывать и перестраивать этот самый «шиворот-навыворот». Не избегнул тупиков и такой вытянутый в струну, аккуратный немец, как регулированный три раза Петербург в своих Глухих переулках.

любовью и ревностью. Не могут лакомиться раками очень многие из таких людей, у которых этого рода съедомое вызывает болезненные припадки (в виде накожной сыпи или красноты), называемые в медицине диким неудобьсказуемым словом идиосинкразия. Мало употребляет их в пищу и Сибирь, в каком бы виде ни подавали и каким бы соусом ни замаскировывали этих животных, которые, по народной загадке, в баню входят черными, а выходят из нее красными, и которые, в отличие от прочих, только одни в целом свете краснеют от горя. Однако в то же время московские трактиры прославились раковым супом на целую Россию, а в последние времена и на всю Европу, благодаря частым наездам иноземных гостей на выставки.

Не без причины же взяты в пример эти скорлупчатые съедобные насекомые и не без основания около этого класса животных отыскал народный язык довольно-таки всяких иносказательных выражений. Отправляются ловить раков утопленники; краснеют, как рак, со стыда, уличенные и пойманные в дурных мыслях на слове и в худых делах с поличным на месте. Пятятся раком отупелые в предрассудках и изжившиеся на устарелых и вымирающих верованиях и убеждениях ввиду грядущего нового, не стерпя его света и убоясь его силы. Чрезвычайно забавны наши раки именно этою исключительною способностью — ходить не так, как все животные даже одной с ними породы. Иные ходят твердым размеренным шагом; омар с быстротой стрелы дви-

жется по каменистым рифам и песчаным мелям, и, как хорошо направленная пуля, сильным прыжком бросается на добычу. Наш рак — наоборот: ползает, пятясь назад даже с некоторою виртуозностью. Как тени, бродят раки около углов скал: глаза упорно направлены вперед, но крючковатые ноги изгибаются в сторону. Эти роющие многочисленные ноги с ножницами и щиплющими клешнями, с недоверчивыми сяжками и щетинами, которые все чего-то ищут и вздрагивают, силятся сказать что-то таинственное, таращатся, грозно пошевеливая усами, но на самом деле эти движения скорее противны, а рак кажется смешным и комическим до пародии. Немецкие зоологи так обрисовывают их характер и нравы: «Об умственной их жизни едва ли можно сказать хоть что-нибудь. Эти обитатели тьмы и глубины представляются как бы подвижными образами, живыми представителями и олицетворением сна, но в них нередко проявляется черта хитрости или страсти. Искусством не отличается ни одна порода раков (то есть ни речные, ни крабы, ни шримсы, ни ктырь и гарнат, ни омары); зато они все известны силою своего оружия. При нападении видна ярость в их глазах. Если двое из них встретятся, то бросаются один на другого, щиплют и дергают. Во всяком их движении видны холодные, впрочем, предусмотрительные флегматики. Скудное развитие чувств указывает на низкую ступень, которую раки занимают в животном царстве. Слух, однако, по-видимому, обладает большою тонкостью; обоняние тоже замечательно развито; даже ощущения вкуса лишены, кажется,

не все раки, хотя орган вкуса у них до сих пор верно не установлен. Все эти челюсти и ногочелюсти, усаженные щетинками и щетками, обращенные в пилы, когти, ножи — все они представляют у речного рака искусное вооружение и ненасытную работу этих органов».

Понятно, с какою легкостью и искусством и в то же время очень глубоко при таких орудиях вырывают себе норы наши речные раки, когда внезапные холода с крутым морозцем разом превращают всюду в мелких реках воду в стекло вплоть до самого дна. Немудрено раку войти в первое удобное место под камнем и еще легче просверлить нору, разрывая ногами целые горсти песку и с помощью других ног откидывая их далеко от норы. Здесь он впадает в оцепенение и оставляет его тотчас, как только животворная теплота восстановит отправления тела. В норах раки и дожидаются весны, но видали их и между полярными глетчерами. Хотя и дознано, что несколько поколений могут размножаться без оплодотворения и раки отличаются плодородием (у самки омаров насчитали до 12 тысяч яиц), но и старые умеют зимовать. Неспуста слово молвилось и потому еще, что рак растет во всю жизнь, которая продолжается до 20 лет. В глубине норы скрывается самка, самец настороже у входа держит свою боевую клешню поперек отверстия. В конце весны они только перелиняют, то есть сбросят кожу, которая лопается подобно коре на дереве. В безопасном убежище они выждут отвердения новой кожи и опять живут, когда так называемые «жирновки», или «камни», или «гла-

за», рачьи — два угловатые каменистые сростка, содержащие углекислую известь и животный студень, — растворятся в желудочном соке. В новом мундире, при старых орудиях, которые вполне обеспечивают раков как паразитов для присасывания к другим живым телам, эти животные, перезимовавшие и перелинявшие, остаются все теми же хищниками. Таковы наши раки и по природе, и по своему внешнему виду. Даже коротенькие и маленькие из их породы смеют запускать ничтожный коготь в самую большую и сильную рыбу. Напрасно она увертывается и вывертывается: коготь паразита неотразимо вцепляется в тело, и измученная болью рыба сама прыгает рыбаку прямо в лодку. Раки, точно так же, как муравьи на суше, неподражаемым образом препарируют в воде трупы утопленников, собираясь изо всех нор, из-под каждого камня грозными и жадными толпами.

СОБАКУ СЪЕЛ

Таких выражений, не имеющих определенного смысла и недопускающих объяснений, в нашем богатом обиходном языке очень много. Вот и еще раз из известных всем пример. Все, на что иные не обращают внимания, к чему другие не питают уважения, считая то пустяком, называется очень часто «трын-травой». В какой же ботанике мы разыщем ту траву, которая называется трыном и которая при этом всякому нипочем, ни для кого не имеет цены? Точно также с трудом поддается объяснению весь-

ма распространенное выражение «собаку съел»[1]. Это — тот, кто изучил до тонкости или искусства какую-нибудь науку, ремесло, торговый промысел, мастерство и т. п., тогда как настоящую «собаку» едят только не брезгливые китайцы и притом считают ее лакомым блюдом при исключительных условиях их поваренного искусства, имеющего дело со всякими слизняками и даже птичьими гнездами, приправляемыми столь прославившейся китайской голодовкой. У нас на Руси петрозаводцы попробо-

---

[1] Впрочем, нельзя искать объяснения в обычае начетчиков хвалиться бойким чтением, когда они, громогласно читая (например, на церковных службах), «борзятся», ведут это дело с такою поспешностью, что даже захлебываются. Слышатся отрывистые вскрики, чавканье и рявканье, привычному уху простых людей кажущиеся подобными звукам собачьего лая. Старинные дьячки, для которых в самых богослужебных книгах указывалось правило петь и читать «косно, со сладкопением, не борзяся», не так давно давали прямой повод к таких уподоблениям. В актах археографической экспедиции свидетельствуют о том, что в церквах ввелося от небрежения многогласное пение: поют и говорят голоса в два и три, и в четыре; читали псалмы борзо, вдруг, в несколько голосов, и при чтении стояли лицом не к царским дверям, а назад или на сторону. В другом регламенте читаем следующее: «худой и вредный и весьма богопротивный обычай вошел в службы церкви и молебны двоегласно и многогласно петь, так что утреня и вечерняя на части разорвана, вдруг от многих поется и два или три молебна, вдруг от многих певчих и чтецов совершается. Сие сделалось от лености клира и вошло во обычай, и, конечно, должно есть перевести такое богомоление». Певцы пели, псаломщики читали, дьяконы говорили ектеньи, а священники возгласы, не выслушивая и не дожидаясь друг друга: все в один голос, смущая души богобоязненных простолюдинов и даже вызывая с их стороны горькие сетования и вынужденные насмешки.

вали нечаянно поесть собачины, так с той самой поры им от насмешек прохода нет. Всякий встречный их дразнит: «Боску съел!» Или так: «Боска, боска! На тебе костку!» Произошел этот несчастный случай с олончанами в Шелтозерском обществе Петрозаводского уезда таким образом.

В одной деревушке приготовились справлять свадьбу. В жениховой избе, по обычаю, шла накануне большая стряпня до поздней ночи. Северный человек, вследствие климатических влияний, вообще ест много, обязательно четыре раза в день на четыре выти, как говорят там (завтрак, обед, паужин и ужин). Олончане же сами про себя давно когда-то выговорили: «Наши молодцы не дерутся, не борются, а кто больше съест, тот и молодец». На веселых свадьбах съестное угощение изготовляется в особом изобилии. Олончане в таких делах не отстают по силе обычаев от прочих. Мать жениха на этот раз надумала угостить «богоданную» новую родню, между прочим, щами с убоинкой, то есть с мясом свиным и коровьим. Чтобы капуста упрела, она выставила щи на шесток на ночь, чтобы на другой день опять уварить их и подать с пылу — горячими. Затем печь скутала и сама легла спать. В ту же ночь надумала ощениться собака, которых в тех местах предпочитают называть карельским словом «боска», но ценят едва ли не больше, чем в других местах. Где она забава, шут, почтальон, комедиант и игрок в домино, спутник и оберегатель дома и стад, — здесь она помощник в борьбе, товарищ на охоте и проводник и, сверх всего, в то же время,

упряжное животное: возит воду, а при случае и воеводу. По этой причине везде на Севере для такой суки заботливо отводят особую щенковую закуту, а в данном случае шелтозерка положила суку на горячую печь. Щенята жары не стерпели и расползлись, а со слепа попадали с печи прямо на печную загнетку и во щи. Собрались сватебные гости, подали «шти», — показались собачьи морды, уши и лапы: все разбежались и всем рассказали; дошло и до нас.

Впрочем, про тамошних первобытно простых людей нельзя сказать в иносказательном и отвлеченном смысле, чтобы они в чем-нибудь, кроме охоты на зверя и птицу, «съели собаку». Однако в утешение себе они могут ссылаться на пример вологжан, которые также, по преданию, опростоволосились до того, что съели где-то и когда-то теленка даже с подковой. Телятина вообще, с древних времен Руси, — кушанье запретное, так же как заяц: истые староверы ее также не едят в том расчете, что из малого теленка может выйти молочная корова или бык большой. Зайца, несмотря на его вкусное и невинное мясо, не едят по той причине, что он родится слепым и с головы брюзгливым людям кажется похожим на котенка. Даже и те, кому он нравится жареным в сметане, употребляют в пищу только заднюю часть этого трусливого зверька из чрезвычайно плодовитой породы грызунов, гнушаясь передом на том же суеверном основании. В сущности же в тощей передней части нечего есть и, стало быть, стряпухам не о чем хлопотать и напрасно расходовать сметану.

Олончане могут еще ссылаться на старорусских новгородцев, которые съели целую лошадь, «да в Новгород писали, чтоб еще прислали». В Пермской губернии, в Красноуфимском уезде, есть Сылвинский завод, жителей которого обзывают «векшеедами» не без основания, как и крестьян Никольского уезда Вологодской губернии. В полуголодных местах они выучились употреблять в пищу мясо этих животных, именем которых по всему русскому Северу называют обыкновенных белок — игривых и забавных зверьков, заменивших в наших холодных лесах обезьян лесов жарких тропических. Крайних северных лесовиков той же Пермской губернии, каковы чердынцы, прозвали даже «щепоедами» (больше за то, что между ними очень много плотников).

СОБАК ГОНЯТЬ

Ничем не заниматься, шатаясь без дела и избегая работы, чтобы сделать из себя ни к чему не способного и для всех неприятного и противного человека, — значит, между прочим, «собак гонять» или, что одно и то же, на них же «шерсть бить». Сверх таких выражений про бездельников этого рода и звания придумана объяснительная «прибаутка», что называется, сверх сыта коротенький анекдот или смешной рассказец:

— Пора бы обедать, — вспоминает один такой-то художник, позевывая и потягиваясь.

Ему отвечают:

— Хлеба нет!
— А кнут есть?
— Есть.
— Пойдем собак гонять.

ГОЛ, КАК СОКОЛ

К кому только ни приравняли совсем бедного, бездомного, неодетого и необутого человека? Говорят: гол, как осиновый кол, как перст или бубен, как сосенка. Такие уподобления, взятые для примера, наглядны и весьма понятны и в пальце, скудно прикрытом волосами, и в бубне, обечка которого нарочно обтягивается сухой кожей, тщательно очищенной от шерсти («Тяжбу завел, — сам стал, как бубен, гол»). Если всем хвойным деревьям судила природа смотреть вершинами только в высокое небо, то сосне заказано это строже других. Исполняя такое назначение, сосна стремится охотнее ели занимать самые возвышенные места, обрастает все горы своей семьей, борами и не любит соседей. Она глубоко, как редька, пустила свой корень в сухую, большею частью песчанистую землю, но затем растеряла все ветви почти вплоть до вершины и густо скопила их только здесь в виде шапки. Большая часть ствола этих высочайших деревьев во всем свете является совершенно голою и такою же стройною, как все столь прославленные южные пальмы. На просторе, который сосна очень любит, древесный ствол высоко очищается от сучьев, потому что сосна сбрасывает отмирающие

сучья и в молодом возрасте дает самые длинные, крепкие и голые жерди. Словом, все эти, принятые в разговорном языке, сравнения и уподобления с полным правом пользуются общим кредитом. Их довольно бы, но почему-то понадобился еще сокол — хищная птица, один из известнейших тиранов воздушного царства?

Природа снабдила сокола грозными орудиями, настолько надежными, чтобы быть ему сытым и не линять от недостатка пищи. Серый глаз с острым, холодным и жестким взором, угрожающий погиб клюва, расставленные люто когти, — все это признаки могучего силача. Он по природе опытный воин: неподвижно покоясь на прозрачном воздухе, он пронзительным взором видит пернатое царство. С быстротою молнии, как всякий хищник, он падает на жертву и, как гастроном, медленно, наслаждаясь, высасывает ее теплую кровь. Сокол еще, сверх того, обучается бить на лету особым, любимым охотниками, приемом: он сперва подтекает под намеченную жертву, взгоняет ее испуганную ввысь, потом сам выныривает сзади и, взмахнувши крыльями, взлетает вверх и тотчас опускается в то самое время, когда испуганная птица падает как бы с последнею надеждою на спасение. Он, как живой нож, быстро распарывает ее, перерезая горло, и пьет кровь не так, как ястреб, который щиплет куда ни попало.

Этот-то своеобразный полет и оправдывает ту ходячую поговорку, что «видно сокола по полету, как доброго молодца по ухваткам». На длинных и широких крыльях, подобно орлам, сокол пока-

зывает всю силу величавого стремления и поразительную красоту парения. Как рыба в воде, он парит в воздухе, как бы покоясь на незримом облачном столбе, и сам воздух как бы стремится к нему навстречу целыми потоками, ищет и окружает его, проникает в него, подымает и носит. Можно сказать, что и эта птица есть ни что иное как сам окрыленный воздух.

Оперен сокол так же, как и все летающие птицы, представляя в воздухе непроницаемое целое из переплетенных между собою бородок перьев. При этом он свободно и красиво плавает в воздушном пространстве, и вся фигура его отличается теми же мягкими контурами, которые при ярких цветах, вообще предназначенных всем хищным птицам, делают из сокола такого красавца, которого восхваляют и в песнях, и в пословицах, и в поговорках. Для русского доброго молодца нет лучшего уподобления и наибольшей похвалы. Зачем же этой красивой птице придается такая несчастная, унизительная прибавка, какая указана нами в заголовке? Если сталось так по набалованной привычке к приятному для уха созвучию, — то отлично выручает и заменяет, кстати подслужившийся и успешно выполняющий свою службу, осиновый кол.

Действительно, мертвенно гол и гладок другой сокол — одно из старинных стенобитных орудий, которое обыкновенно выливали из чугуна, подвешивали на железных цепях и ломились им во всякую стену, каменную и деревянную, с большим успехом. Если изловчались придвинуть сокола к воротам, то и от железных створов ле-

тели только осколки да щепа. Это — то же тяжелое бревно, окованное на одном конце и называвшееся также тараном или, еще проще, бараном. Под именем сокола идут и большие ручные ломы, которыми обычно ломают и гранитные камни, и каменную соль; ручная баба, или трамбовка, вроде песта, — тоже сокол, в работе и от нее не только голый, но и ясный сокол.

ПЕЧКИ И ЛАВОЧКИ

К слову о крестьянской избе, где печь занимает целую треть всего помещения, а лавки наглухо приделываются к трем стенам обычно четырехстенного рубленого бревенчатого жилого сруба. Всего-то счетом сто бревен, каждое не больше 8 вершков в толщину, обеспечивают любую крестьянскую семью и на сырое осеннее, и на холодное зимнее время. Затем, в тесноте да не в обиде, имеется в избе все то, для чего господам купцам и дворянам надобится целый десяток комнат.

Вглядимся, в самом деле, и вдумаемся именно мы, обязанные платить для помещения своих семей в здешней столице до тысячи рублей ежегодно.

До первого деревенского пожара русский крестьянин уладился в своем тесном жилье таким образом:

в левом углу, первом от входа, поставлена либо битая из глины, либо кладеная из кирпичей печь — «мать наша» в самом широком значении.

Около нее — многое добро и всякая благодать, что выражается великим словом «семейный очаг», понятным всему человеческому роду и драгоценным каждому мыслящему существу. Все пространство между печью и стеною с волоковым окном, выходящим на улицу, принадлежит женщинам и носит название «бабьего кута». Это и кухня, и рабочая женская комната, и будуар. Угол этого отделения избы так и зовется «жернов угол», где стоит жернов и ставятся прялки. Если это место и не отделяется от прочей избы перегородкой или ситцевой занавеской, то подвешенная к потолку зыбка показывает, что тут уже детская. Затем следует «красный или большой почетный угол» с иконами на тябле и с обеденным столом, — все вместе: моленная, столовая и гостиная. Отсюда к задней стене и в угол «коник, или хозяйский кут» — рабочий кабинет и спальная хозяина с разными пожитками, орудиями и сбруей под лавкой в ларе. Над этим кутом настланные палати — общая спальня и гардеробная — одним краем упираются на пристройку к печи из досок. Это — «голбец», или чулан, для поклажи провизии и для схода в подизбицу — подручную холодную кладовую. Он пристроился к печи, и на нем всегда сидит дед, которому, вместе с бабкой, отдается во владение вся теплая печь. Здесь они, как в богадельне, и доживают свой век, получая тут и спальную, и, на случай, рабочую комнату. В подпечке — место для котят, в запечке для щенят. Подле печки приделывается шкафчик, удобно заменяющий целую буфетную комнату. Под лавку печного бабьего

кута, или «стряпного угла», обыкновенно сметается весь сор избы веником, чтобы был под рукой: его, по завету предков, обязательно сжигают в печи, а не выбрасывают вон. Там может попасть сор на ветер, а с ним вместе, и по его следу, злой колдун легко может напустить недобрую порчу. В этом суеверном обычае находят основание к прямому объяснению пословицы, не советующей «выносить сор из избы», что, собственно, значит: не носи домашних счетов в люди, семейные дрязги обсуждай дома — впутаешь чужих, тогда и сам не разберешься; а сор через трубу домашней печи выносится дымом.

Начав с печи, так как она первая встречает всякого входящего с улицы в избу, и кончив ей, мы обошли по лавкам все крестьянское жилье, известное целому свету своим гостеприимством. Для гостя — за столом самое почетное место в красном углу, под образами, на столе — все, что есть в печи; для спанья на ночь — та лавка, которая идет от коника под самые святые образа. Если же гость очень измок и зазяб — ему предлагается место на самой печи, вообще без всякого стеснения и при полной готовности и радушии. Полежать на печи да крепко выспаться, за стол залезть, да из печи сытно поесть, на лавке посидеть-покалякать, да хоть и опять на печь и снова за стол. Это ли не житье, не блаженство Это ли не дружба, что водой не разольешь, когда все вместе: и эти самые печки, и все лавочки? «Кто сидел на печи, тот не гость, а свой» — говорит прямо другая пословица.

ДЫМ КОРОМЫСЛОМ

Та же печка или, собственно, дым из ее широкого жерла или трубы дал повод к разным общеупотребительным выражениям и поговоркам. В так называемых курных избах, которые ставятся без труб — дым из устья печи валит прямо в избу и выволакивается «волоковым» окном, открытыми дверями либо дымоволоком, выведенным в сени. Говорят: «Тепло любить, и дым терпеть» и «Курна изба, да печь тепла». Выходит дым из труб над крышей, судя по состоянию погоды, или так называемым восходящим потоком, либо «столбом» — прямо вверх, либо «волоком» — стелется книзу, либо «коромыслом» — выбивается клубом и потом переваливается дугой. Поэтому гадают на вёдро или ненастье, на дождь или ветер и говорят «дым столбом, коромыслом» про всякую сутолоку: многолюдную ссору со свалкой и суетней, где ничего не разберешь, где «такой содом, что пыль столбом, дым коромыслом, — не то от таски, не то от пляски».

Когда подымала пыль столбом московская рать Ивана Третьего, шедшая громить Новгород в сухое лето 1471 года, тогда и дым коромыслом буквально и успешно сыграл свою историческую роль на всех трех дорогах, которые вели от Москвы. Тогда немилосердно жгли села и пригороды, убивали без разбора и сострадания и малых, и старых, и «клали пусту всю землю». Между прочим, осаждали Вышгород и стали сильно теснить огненными «приметами». Вышгородцы защищались храбро, стреляли метко и убили одного

из предводителей, а камнями ловко раздробляли головы. Да не было у осажденных воды — их начала мучить жажда. Дым, переваливаясь через стену и, застревая в забралах (наличниках шлемов), слепил глаза и сильно беспокоил. Осажденные не выдержали: вышли со крестами и воевода их кричал: «Учините над нами милосердие; мы же вам животворящий крест целуем».

БРАТАТЬСЯ

С древнейших времен Руси побратимство умело выражаться в особом слове и оригинальном обычае «крестового брата». Совершенно чужие люди обменивались тельными крестами и обязывались на всю жизнь взаимной помощью и дружбой, более крепкими узами, чем те, которые существуют между кровными родными. Обменявшись, крестились и обнимались, называясь потом «побратимами» и «посестрами». Не так давно в бурлацких артелях заболевший рабочий, которого обычно бросают на дороге на произвол судьбы, если имел крестового брата, был обеспечен. Побратим, несмотря на все тяжелые невыгоды остановки, хлопотал о больном, пока тот не поправится и не удастся его пристроить к какому-нибудь делу. Этот же обычай приладили русские люди к инородцам, наиболее оказавшим способности и заявившим стремления к обрусению (в особенности вотякам). Однако похвальным обычаем злоупотребляли, пользуясь беззаветной искренностью и простотой полудика-

рей, то есть делались побратимами на те случаи, где предполагался перевес выгод и услуг, и переставали держаться обычая, когда он начинал стеснять. На этот случай сохраняется много забавных анекдотов. Однако в этом христианском обычае чисто русского происхождения (теперь, кажется, совершенно исчезнувшем) нельзя не видеть одного из действительных средств к тесным сближениям с аборигенами дремучих лесов на всем пространстве колонизационного движения русского племени. Братались — и плотнее садились на новых землях.

КАША САМА СЕБЯ ХВАЛИТ

Какая ни уварись: изо ржи — оржаная, из ячменя — яшная, из гречи — грешневая, всякая каша хороша и каждая сама за себя ответит. Нечего ее хвалить и попусту слова терять, когда налицо самое дело в незатейливом и скромном виде, с наглядными и ощутительными достоинствами. Никто не мудрил, не ломал головы: налил в горшок воды, насыпал крупы, присолил, поставил на огонь, — она и уварилась. Не зевай только, чтобы каша не перекипела, когда вода забьет ключом, и не ушла бы из горшка: это очень худо, и всегда не к добру. А вскипит в меру и уварится густо — нет для русского человека вкуснее и слаще этого кушанья, и потому еще, что оно непременно требует масла: «Овсяная каша тем и хвалилась, что с коровьим маслом родилась». Замечают даже так, что русского мужика без каши

и не накормишь. Да она, в самом деле, везде с ним, выручая его даже и там, где нет ничего: и в лесу, где лишь одни пенья да коренья, и на реках, где песок да каменья. Мало крупы для нее, можно ее повернуть на кашицу и все-таки остаться довольным: спорое кушанье — из малого выходит большое. Оржаная каша даже благодарнее пшенной, а с грешневой всегда такое дело, что и «есть не хочется, а отстать не сможется».

В самом деле, это заветное, можно сказать, даже ежедневное народное кушанье: точно какое святое, добрый друг и охранитель, обрядовое приношение, как бы осколок старой языческой веры наших предков. Вероятно, вся эта честь за то доброе свойство каши, что она встречает и умеет с честью поддержать человека на первом и на последнем пороге его жизни. Ей главное, красное место и на крестинах, и на сватьбах как заветному праздничному блюду, вроде блинов на Масленице, яиц на Пасху и т. д. Крестильную кашу даже покупать надо, то есть платить повитухе деньги с приговором: «Кашу на ложки, а молодец (новорожденный) на ножки». Для каши уряжен издревле особый праздник (на Рождество Христово «бабьи каши»). На нее и гадают (летом румянится она в печи, к дождю, зимой к снегу, вылезла в печь — к добру, из печи ушла — к худу). На ней расчет у рабочих, и достоинство самой работы («Ела коса кашу — ниже бери, не ела ее — ходи выше»). У плотников при постройках новых крестьянских изб издавна велся такой обряд. Когда строение было готово вчерне,

ладились «подымать и обсевать матицу», то есть тот поперечный брус, на который настилается потолок. Когда она поднята и укреплена в последнем венце, — варят кашу, кутают горшок в полушубок и подвешивают на веревке к матице. Плотник лезет на потолок, обходит настланный накат этот, рассыпая рожь и хмель на счастливое житье в новом доме. Проходя по матице, он рубит топором веревку, на которой висит горшок с кашей, и садится с товарищами есть это сладкое и масляное кушанье. Едят они с приличным угощением водкой и пивом от хозяина, — сверх ряды за сруб избы. Затем опять следуют в живом языке выражения и уподобления, заимствованные от этого всенародного кушанья — значит, «сыт пострел, коли каши не ел», потому что всякому брюху должно быть любо, «если глаза видят кашу» во всей ее простоте и скромности. Зачем выхваляться хорошему человеку теми доблестями, которые и без того всем видны? Что хорошо, того нечего хвалить, — иначе выходит самохвальство, то есть докучливый и оскорбительный порок, выродившийся из тщеславия. За это он и осмеивается, с легкого сердца, а погрешивший и уличенный хвастун приравнивается к каше: то к оржаной, то к грешневой.

И ЗВЕРЮ СЛАВА

Животное царство дало много подобий, пригодных для пословичных выражений и крылатых слов. Так, между прочим, наблюдения над жи-

вотным царством из пернатых привели к уподоблению галкам людей, ненаходчивых в трудные минуты жизни и в виду неожиданных препятствий. Все у них идет хорошо, ведется по привычным приемам, и вдруг остановка такого рода и свойства, что иные имеют дурное обыкновение при этом широко раскрывать свой рот. Чтобы достигнуть такому человеку намеченной цели, надо начинать дело сначала. Полоротые дикари захолустных мест получили и такое насмешливое прозвище, заслуженное ими явно показанным изумлением при виде невиданных и незнакомых диковинок (таковы костромские галичане, которые в Москве свою деревенскую ворону узнали; таковы же ярославские пошехонцы и многие другие). Причина заключается в добытых наблюдением данных из жизни галичьей породы вороньего рода. Строит галка гнездо — и все идет у ней хорошо, умно, даже очень остроумно: отыскала прутик, подняла, подбросила и повертела — значит взвешивала, делала выбор и примеряла подходящую ветку: не всякая годится. Иную не унесешь, другую стащишь да не уложишь. Выбрала птица ветку, взяла ее клювом поперек за середину и установила для облегчения полета полное равновесие. Летит умная и смышленая птица к гнезду — и вдруг поглупела: ветка, взятая поперек, не идет в маленькое отверстие гнезда. Стоило бы ухватить ветку или прутик за один конец и свободно просунуть, а между тем птица бьется изо всех сил, стараясь просунуть, хлопает крыльями, вертит головой и хвостом, и не попадает. Выбившись из сил, она бросает вет-

ку и летит за новой, с которою начинается такая же возня, как в сказке про белого бычка. Кто всматривался в галичьи гнезда, тот видал, как много под ними разбросано сухих прутиков и веток: все это собранные материалы, но, без ватерпаса, топора и скобля, не прилаженные к сооружению в должную меру. Выходит, по пословице: «Галка не прытка и палка коротка», «Разбросались палки на чужие галки»[1].

---

[1] По отношению к названиям птиц в нашем родном языке замечательна выдержанность при усвоении их в звукоподражании. Не говорим уже о зловещей кукушке, накричавшей свое прозвание целому свету и всем народам, хитрый, осторожный, выступающий театральною поступью с гордо приподнятой головой и высматривающий умными и пронзительно-зоркими глазами ворон называется в Белоруссии необыкновенно верно, в соответствии его крику на полете, — «круком». «Карр», а всего чаше «крра», «грра», с самыми первыми признаками весны должен слышаться ежеминутный неустанный крик в городских садах и пригородных рощах, где много старых деревьев, на которые и накидывается птичья стая, со времен творения привычная жить большими колониями, бесчисленными артелями, — стаи вороньего рода сплошь черные, и белоносые грачи (этим-то звуками «грра» и рекомендуется при первой встрече старая птица этого рода). Прислушайтесь, когда летит за добычей самая маленькая изо всего вороньего рода птица с коротким и толстым клювом, черно-серая цветом, похожая на ворону, но отмеченная особым именем «галки», — прислушайтесь к крику ее внимательнее, она ясно сама выговаривает свое неважное имя. Весной, сидя парочками, галки умеют очень мило болтать вполголоса и на разные лады, подобно щебетунье-сороке, — как подметил то прислушливый к жизни природы и ее голосам профессор Дмитрий Кайгородов. Такой естественный народный прием в присвоении прозваний довольно нагляден, обычен и понятен, и не требует представления дальнейших доказательств.

Лентяй, вечный соня и неповоротливый лежебока обзывается именем хомяка, неисправимого хищника зерен, который и больно кусается, и терпеливо сидит в своих норах и проходах. Таким понят он у нас (у немцев хомяк превратился в пословицу, рисующую образчик скупости, соединенной с гневною яростью).

Кто работает суетливо, но без пользы и добрых последствий; кто всю жизнь хлопочет, состоя при одном и том же деле или ремесле, мучительно перебиваясь в нужде, тот работает, что белка в колесе.

Болтливую, неугомонную бабу — рыночную торговку, свах и прочих разнощиц вестей и сплетен зовут сороками, с сорочьим языком, сравнивая их с долгохвостой птицей, которая непоседливо прыгает, пляшет вприсядку на задворках и неугомонно стрекочет, сокочит — гостей пророчит, на хвосте вести приносит. Она скажет вороне, ворона борову, а боров всему городу. «Сорока пустая» — это всякий пустомеля, любящий много болтать: наскажет он тебе даже и то, «на чьей сороке изба сидела». Вообще эта птица, совершенная лисица между пернатыми, народом не любима. Ее считают проклятой трижды: одни говорят, что она, склонная воровать чужое добро, утащила у великого постника и подвижника не то просвирку, не то лепешку с окна кельи. В Москве толкуют, что она навела врагов на боярина Кучку, владевшего той землей, где стоит теперь белокаменная русская столица. В этом же городе обернулась сорокой-птицей и улетела Марина Мнишек, когда супруг ее, самозва-

нец, был убит московскими людьми. Всякий раз эту птицу проклинали, и она спешила оставлять такие места с тем, чтобы в них никогда уже больше не появляться. Все тому рады, потому что сороке заказано предсказывать всякие беды и напасти. К тому же, она — воровка, или, как говорят в народе — «охоча до находки», — в сущности же она наделена страстью к блестящим вещам, которые таскает и прячет.

С другой стороны, о вороне — родной сестре белобокой сороки не установилось одинакового мнения: кто считает ее воровкой, кто приписывает ей похвальные добродетели, кто находит в ней комические стороны, применимые к людским свойствам. Большой рот ее пригодился в укор тому, кто имеет дурную привычку, слушая, разевать рот. Дураковатый ходит, постоянно держа его незакрытым; рассеянный, несметливый умеет прозевать подходящее дело и полезное начинание. Полоротая ворона, одетая в павлиньи перья, понадобилась для укора и насмешки над тем, кто не по заслугам хвалится и гордится, и, чествуемый не по достоинству, даже наружно старается показать себя вороньей гордой выступкой. Коренастая неуклюжая ворона, мерно расхаживая по двору, распустив на груди перья, важно кивает головой при каждом шаге: не столь величественно, сколь смешно: «Ворон соколом не бывает», по словам пословицы. И за море летала, а вороной вернулась. Плох сокол, если ворона с места сбила, и частенько бывает в жизни и службе, что «сокол (снимается) с места, ворона (садится) на место».

Настойчивый до докучливости человек уподобляется у нас дятлу, — той птице пурпурового цвета, которая на верхушке дуба или сосны откалывает куски коры и щепки от ствола длинным, сильно сжатым клювом. Последний служит и ударным молотом, пробующим крепость дерева и отыскивающим гниющее, наполненное червячками и насекомыми для пищи, — и буравом, высверливающим из-под коры добычу. Долбит он неустанно (и «как у него голова не разболится» — острит народная поговорка): его странное стучанье раздается в лесу даже и в ночную пору. Настойчиво он долбит кору в то время, когда его сильные ноги и черные глубоко вонзающиеся когти, вместе с хвостом, на который дятел упирается, как на палку, помогают ему целые сутки не оставлять дерева и по несколько часов держаться перпендикулярно на стволе, как на намеченной жертве. Со скоростью ящерицы обегает птица кругом дерева и все лезет вверх, потому что вниз она лазить не умеет.

Бестолковый, туго смекающий и плохо вникающий в чужие речи и мысли человек, сидя, хлопает глазами, «как сыч» (не сова или филин, а совушка). Особенно удачно это уподобление по тому видимому признаку, который делает глаза птицы подобными человеческим. Значительно увеличивает это сходство кружок из перьев, окаймляющий эти огромные глаза, от которых не ускользает ни малейшее движение жертвы. Днем меланхолически неподвижная и молчаливая птица, поводящая из стороны в сторону плохо видящими глазами, действительно дает легкую возможность

к составлению укоризненного сравнения, пригодного для смешных и досадных людей.

Глухой человек и по свойствам, в нем замеченным и приравненным к лесной птице глухарю или тетереву-косачу, в самом деле обнаруживает характерное наружное сходство. Сидит в архангельских лесах в тайболах этот глухарь на дереве и равнодушно-смело глядит (не шелохнувшись и покачиваясь с боку на бок) на прохожих и проезжих людей. Словно он никогда их не видывал и про их хищные наклонности не слыхивал, а сам впервые старается ознакомиться. Куда направляются шаги охотников, туда и птица смотрит (за это почитают их и зовут глухарями). Когда же птица на току надувает горло, распускает крылья, семенит ногами и, как пьяная, ворочает глазами, тогда охотник может смело подойти к ней и удачно застрелить: птица страстно увлеклась и никого теперь не способна заметить. Их, при завоевании Амура, солдаты просто убивали палками.

Орлиный и соколиный взгляд, ястребиный взор в смысле уподобления известного выражения глаз человека как немой, но высшей речи его — выражения, весьма всем известные не по одним поэтическим произведениям. Выбор именно этих птиц, а не иных, можно назвать самым счастливым: хищные птицы в особенности наделены от природы остротой зрения. Она обеспечивает им жизнь, облегчая добычу продовольствия, разбойным способом, на чужой счет. Современные орнитологи давно отказались от старого преувеличенного понятия о чувстве обоняния, бо-

лее соответствующем низшим беспозвоночным животным, например, насекомым. Пернатое царство, в отличие от прочих животных, почти все одарено завидным преимуществом острого зрения.

В жаркий летний день у завалинки избы, в пыльной ямке, беззаботно и с очевидным наслаждением купается курица, распустив крылья и перья хвоста. Она совершенно забыла о своих цыплятах, и вдруг всполыхнулась: вытянув шею, начинает она повертывать то тот, то другой глаз, направляя зрение в небесную глубь и лазурь. При этом издает она необычные тоскливые звуки, подобно умоляющему стону. Она горбится и надувается и делается спокойнее лишь тогда, как все цыплята сбежались к ней и она успела прибрать их под себя и прикрыть крыльями. Она заметила врага, очень высоко плавающего в воздухе, и самому зоркому человеку кажущегося нисколько не подозрительной маленькой точкой. То плавает ястреб, умеющий намечать жертву с такой выси, где сам совершенно скрыт от людских взоров. Оттуда же взвившийся почтовый голубь превосходно видит свою голубятню и падает прямо на нее. Глазной хрусталик всех этих птиц наделен способностью делаться более или менее плоским или слабо выпуклым для наибольшей дальнозоркости. У голубя, например, глазной хрусталик может значительно изменять свою кривизну из плоской в выпуклую и наоборот. Сверх того природа озаботилась снабдить птиц лишним против нас веком — третьим, внутренним, прозрачным и тонким. Оно непосредственно прикрывает собою глазное яблоко: при каждом движении наружных век, внутреннее, бы-

стро вращаясь, обтирает и прочищает зрачок, освежает его и непрестанно придает зрению новую энергию и силу.

ШИВОРОТ-НАВЫВОРОТ

Шиворот-«навыворот», как и «задом наперед», — однородное несчастье и прямая неудача: делать вовсе не так, как бы следовало, истолковать превратно, разъяснить извращенно, сказать и поступить совсем наоборот, думать затылком, как говорят попросту крепкие задним умом деревенские русские люди. Шиворот в обиходном употреблении разгуливает по свету и в смысле ворота, и в значении затылка, одинаково в народной жизни имеющих большое значение. Для пущего позора обычно бьют по шеям, сгоняя прочь с занятого места и отказывая от дела, в расчете, что у русского человека шея крепка: многое на ней висит тяготой и бременем — и ничего, выносит себе. Блажен и счастлив тот, кто «сваливает с шеи» — отделывается от докучного дела и освобождается для отдыха; но не завидует никто тому человеку, который «берет на свою шею», то есть на свой ответ, конечно, обязываясь при этом разнообразными хлопотами и многочисленными заботами. За тот же шиворот хватают тех, которых ловят на месте преступления или ведут на суд и к ответу. Равным образом бывает обязательно для всех, как непреложный закон: «по шее и ворот». И самый ворот также имеет большое значение и получает разнообразный пе-

реносный и прямой смысл. В последнем значении он служит даже важным племенным этнографическим признаком, по которому легко различаются северные русские люди, пристрастные к косому вороту на верхнем (армяках и полушубках) и на нижнем одеянии (рубахах), от южных жителей (малороссов и белорусов). Эти последние искони предпочитают прямой ворот — с разрезом посередине шеи на гортани — косому, застегнутому на правом боку для пущей защиты груди от холода. В старорусских обычаях этот ворот играл даже более значительную роль: он отличал боярина от простолюдина тем козырем, который на торжества и царские выходы прикреплялся, весь вышитый золотом, серебром и жемчугом, сзади шеи, на затылке к вороту парадного кафтана (зимой к нему пришивался ожерелок, то есть меховой воротник). Расшитый козырь торчал так внушительно, придавая осанке прямое и гордое положение, что до сих пор сохранилось выражение «ходить козырем», надменно, высоко и прямо держа голову и не сгибая спины, с полнейшим сохранением важного достоинства и вида и с видимым презрением ко всем прочим. С тех пор все, что резко выдается вперед, как бы наступает и грозит, зовется козырем, начиная с кожаного зонтика, пришитого к картузу или шапке, и кончая передком саней, дерзко загнутых кверху. Оказалась козырем та игральная карта, которая бьет остальные масти, и «козырь-девка», которая выделяется от подруг находчивостью, веселым духом, видным ростом и бойкими ухватками, и т. п.

Ни один боярин ни разу не надевал своего ворота наизнанку и навыворот не по одному лишь тому, чтобы не стать в глазах других посмешищем. С последнею целью выворачивали наизнанку, на исподнюю выворотную сторону, все носильное верхнее платье, чем особенно любил забавляться грозный царь Иван Васильевич, а за ним и московская чернь. Обреченные на такой позор отягощались еще тем, что их сажали на лошадь лицом к хвосту. И сейчас случайно и второпях загнувшийся ворот с невольной улыбкой спешат поправить, — и теперь также точно надеть платье наизнанку значит не к добру: «Биту быть», — спроста говорят мужики. К добру выворачивают намеренно они же овчинные шубы и полушубки только на свадьбах, как родители жениха, при встрече молодых из-под венца. В старину чаще всего практиковался этот способ выворачивания одежды наизнанку или — по деревенскому — наизворот[1] в самосуде над пойманными на месте и уличенными в грязном деле. Однако этот прием не исключителен для русских людей, а, по всему вероятию, сохраняется с древнейших времен. Он, между прочим, употреблялся среди евреев.

---

[1] Существительное изворотъ принадлежит к именам с неустановившимся родом. Если ударение поставить на первом слоге — оно будет женского рода, на последнем (изворот) — мужского, подобно слову степень, которая стала признаваться женского рода имен лишь в недавнее памятное время. Еще митрополит Филарет (Дроздов) в катехизисе своем принимал это слово в значении мужского рода, — он печатал: «Сей высокий степень блаженства» и проч.

ЗАДАТЬ КАРАЧУНА

И прииде к Новугороду архиепископ Аким, и требища разори, и Перуна посече, и повеле врещи в Волхов. Он же, плаваша всквозе великий мост, вверже палицу свою на мост, и рече: «на сем мя поминают новгородские дети»; ею же и ныне, безумне упивающеся, утеху творят бесом.

(Новгородская 2 летопись, под 988 годом, стр. 1 и 2).

Всякий знает, что «*задать карачуна*», значит то же, что *пришибить*, *убить* или злодейски *замучить* кого-либо, *уничтожить* что-либо в корень. Это слово, при случае, заменяет слова: мат и капут (как говорят просвещенные горожане по-немецки) и извод (как понимают крестьяне наши по-русски). Картежники условились обозначать в игре этим словом тот удачный случай, когда партнеру не дадут ни одной взятки. Все это каждый из нас знает, но не всякому известно существование старинного русского слова, означающего определенное в году время. В последнем издании (1888 г.) новгородской летописи (по синодальному харатейному списку) под 1143 годом записано: «стояше вся осенина дождева, от Госпожина дни до Корочюна, тепло, дъжгь (дождь) и бы вода велика вельми в Волхове и всюде, сено и древа разнесе». Уже по одному этому летописному указанию, записанному новгородским грамотеем в столь древние времена, легко догадаться, что слово «карачун» происхождения очень старинного, и

притом славянского корня, а не татарского, как вообще склонны думать наши торопливые отгадчики, и в чем, однако, не менее повинны и наши присяжные ученые исследователи. Увлечения последних достаточно известны и доказаны. Весьма нередко многим из них зачастую доводилось попадать прямо-таки впросак. Так и относительно этого слова один из известных старых археологов (Ст. Руссов в «Отечественных Записках», изд. Свиньина, в № 91, 1828 г.) пытался искать объяснения в греческом слове Kalais и легкомысленно отыгрывался оговоркою, что «славяне название это принесли в Россию, попортив оное несколько от дороги». Российско-латинский словарь (стр. 29) силится сопоставить его с названием «калачунов» и ищет в Молдавии. Там-де один только раз в год собирались шайками особенные плясуны, которые ходили по городам и местечкам между праздниками Воскресения и св. Троицы в течение десяти дней. Это были не только плясуны, но даже ворожеи и колдуны. Одевались в женское платье, головы украшали венками из полыни, говорили по-женски. Каждый, держа в руках обнаженную шпагу, имел право заколоть ей на том же месте всякого, кто бы осмелился открыть его лицо, завешанное белым платком. Если одна толпа «калачунов» встречалась с такою же другою, тогда они должны были между собою драться, и побежденная обязывалась признавать себя победителям подчиненною. «Суеверная чернь еще приписывала калачунам силу исцелять застарелые болезни. Калачуны, положив больного на землю, начинали кричать и при некоторых местах своих

песен топтали лежавшего, начиная с головы до ног, ворчали ему на ухо нарочно составленные речи, которыми приказывали болезням удалиться» и т. д. В конце подобного произвольного толкования тот же Руссов, очевидно, увлекавшийся созвучием слов, снова попался впросак. Привожу буквально конец заметки: «Что же принадлежит до слова «чур», то оно значит то же, что juro и «*чур то-то не делать*» (курсив подлинника) значило: «заклинаю тебя от того удержаться — и больше ничего».

Да, кажется, что только и всего, что ничего!

В сущности оба слова представляют собою имена старых славянских богов. О «чуре» я дал особое объяснение. Теперь очередь за Корочуном — подлинным, а не тем фантастическим знаменитым бояриной, который жил близко города Славянска на верху крутой горы, и о котором заставил петь теноров, со слов Загоскина, Верстовский в опере «Аскольдова могила».

Слово *корочун* — несомненно, славянское, и корень его заключается в глаголе «*коротать*». До сих пор во многих местах Великороссии именем Корочуна зовется день Спиридона-поворота, то есть 12 декабря, или «Солноворот». Тогда наступает конец нарастания темных ночей и, по народному календарному выражению, солнце идет на лето, а зима на мороз. Столь важное время с обычными молитвенными гаданиями и практическими предсказаниями из опытных наблюдений начинает хозяйственный период, который кончается на днях равноденствия. На сорок мучеников,

9 марта, кончается зима, начинается весна, знаменуясь прилетом жаворонков на проталины. Все время, когда длятся самые короткие дни, старинные новгородцы, до принятия христианства, называли корочуном, ограничивая последним из них, когда начинают убывать ночи. Имя этого дня придано всему длинному предыдущему периоду времени. Когда христианство, вступив в борьбу с язычеством, между прочим, сменяло имена богов именами святых, на месте Корочуна стал «Поворот-Спиридон», и все предшествовавшее время с канунным заговеньем, 14 ноября, стало позднее называться филипповками (от дня св. апостола Филиппа) и Рождественским постом, как предшествующим дню Рождества Христова (у карпатских славян также до сих пор корочуном называются святки[1]). Понятным становится изумление новгородского летописца столь продолжительной дождливой погоде и странному физическому явлению запоздалой зимы, непонятному и чудесному в глазах современника, когда

[1] Под Корочюном, указанным новгородскою летописью (так называемою Первою, изд. 1888 г., стр. 134), надо принимать именно день преподобного Спиридона, епископа тримифийского, 12 декабря. Это ясно видно из последующего текста летописной записи, что *в ту ночь* озеро Ладожское замерзло, но ветер разбил лед («растерзал и вынес в Волхово»). Причем льдом поломало городской мост и снесло неизвестно куда («без вести») четыре городни (то есть либо четыре сруба, насыпанных землей и каменьями для укрепления в виде быков или устоев под мостом, либо четыре обыкновенные сваи). Во всяком случае в следующем 1144 году «делаша мост весь через Волхов, по стороне ветхого, нов весь».

и климат был суровее, и погода устойчивее. Очевидно одно, что кто-то борется с той злой силой, которая умерщвляет жизнь природы, напускает леденящие лютые морозы. Ведьмы-вьюги заслепляют глаза, злые метели засыпают все пути и тропы — ни входу, ни выходу, ни света в очах. При этом, видимо, происходит и борьба света со тьмой, добра со злом, с преобладанием последних над первыми. Царствовал, хозяйничая над землей в это время, этот самый Корочун — подземный бог, повелевающий морозами. Он воевал со светлым богом Перуном и, зная, что родится «божич» (красное солнышко), оборачивался в медведя, набирал стаи волков (метели) и гонялся за женою Перуна (громовницей, или колядой, или пятницей), которая пряталась между ивняками и на деревьях, и там родила сына Дажбога. Этот-то и сокрушал лютого врага, сменяя долгие ночи такими же светлыми днями на тепло.

В силу этих представлений, среди пустынных болот и в дремучих лесах, при вое голодных волков, щелкающих железными зубами, сохранилось имя покинутого бога и живое о нем представление. До сих пор верят, что в самый день св. Спиридона тримифийского медведь поворачивается в берлоге с одного бока на другой. До сих пор во время святок непременно стараются сами люди наряжаться медведями. Словом — старый бог Корочун жив и за справками об его существовании стоит лишь отправиться к белорусам, чтобы убедиться в том воочию. Этот источник доказано благонадежен: белорусы известны как самые усердные и ревнивые хранители древнейших сла-

вянских верований и преданий. У них Корочун в живой речи и до сего дня — злой дух, сокращающий жизнь, а в переносном смысле — нечаянная и преждевременная, в молодых летах, смерть: «Корочун его возьми!» — до сих пор там побраниваются со зла. Там еще не свыклись с «Поворотом», как великорусы, но Корочуна хорошо помнят. Это — «старый дзед (дед) — сива борода». Он носит эту седую бороду длинною, сам ходит в белой шубе, но всегда босоногим и без шапки. В руках он держит тугой лук и железную булаву, и когда рассердится, то ударяет ей в пень, вызывает вихри и рассылает их по земле, а самым стуком производит трескучие морозы. За то и зовут его кое-где «марозом» и «зюзей». Молитва ему такая: «Хадзи куцью есть: на чугунную бороду железным кнутом». Это темное мифическое выражение значит так: «Не мешай уродиться хлебу и всему тому, что можно положить сковородником (железным кнутом) в чугун или на сковородку (железную борону)». При этом и священнодействие в полной форме: в самый вечер коляды за ужином или куцьей бросают первую ложку праздничной кутьи за окно для умилостивления сердитого бога с вышеупомянутым ласкательным приговором. А затем во время колядок чествуют его обязательно и безбоязненно тем, что водят живого медведя с козой, благодаря местечку Сморгонам, где князь Радзивилл научил обучать этих неповоротливых, но понятливых зверей затейным пляскам. Нет под боком цыгана с живым медведем — сами наряжаются зверем, выворачивая кожухи наизнанку.

ЧЕРЕСЧУР[1]

Вовсе не с тою целью, чтобы поставить читателя в тупик и затруднить разгадкой, я придумал и выставил такой, по-видимому, странный заголовок. Пользуясь известным грамматическим правилом, дозволяющим всякой части речи быть подлежащим, принимаю за таковое всем знакомое и общеупотребительное наречие. Ставлю же его в заглавие своей статьи по той причине, что оно дает тему для беседы. Эта тема может показаться и новою, и любопытною, лишь только мы зададим себе самый простой вопрос: что значит это русское слово и откуда оно произошло?

Применение загадочного слова «чересчур» в обиходной речи для каждого совершенно понятно. Неясно лишь его происхождение, так сказать колыбель и место его родины. «Слишком», то есть с ненужной прибавкой, с излишком поел жирного, сырого, сладкого, проще, объелся — и заболел. Не в меру или чрезмерно, то есть свыше предела и границ, определяемых заслугами и достоинством каждого человека, одного жалуют, возвышают и балуют, а на другого, более достойного, чересчур нападают и унижают его, — обоих равным образом делают «чересчур» против нужного и должного несчастными. Иные чересчур весело живут, и при этом большею частью чрезмерно тратят денежные средства и чрезвы-

[1] Из двух способов начертания этого слова берем звуковой как наиболее свойственный русскому уху и общепринятый великорусским народом.

чайно быстро проживают состояния, — чрезвычайно в том смысле, что поступают таким образом больше и дальше, чем предписывает общий свычай и указывает мера расчета и благоразумия. Среди этих сложных слов занимающее нас отличается, между прочим, тем, что оно по значению почтеннее, а по происхождению древнее. Первые — более книжные, сочиненные позднее учеными людьми, другое — совершенно обиходное и коренное народное слово.

Если мы расчленим (говоря учебным выражением) слово «чересчур», то есть разделим на обе составные части наше наречие, то получим предлог «через» и существительное «чур».

«Чур» у наших предков, у язычников славян, был божеством не особенно высокого ранга, скорее полубогом, мифическим существом, однако таким, что имя его повсюду знали и особенно чествовали. В Белоруссии, например, «чур» до сих пор не забыт (как случилось в Великороссии), но пользуется особенным уважением. Он почитается покровителем и оберегателем границ поземельных владений, и еще живет на земле как существо, которое может награждать и наказывать, любить и ненавидеть, и т. п.

Все славянское племя, и в том числе русская ветвь его, — преимущественно хлебопашцы. Вот например, старорусский богатырь Чурило Пленкович, не помнивший ни отца, ни матери, идет от короля в Литве в свою сторонушку на свою родину, а все дойти не может. Идет он дорогой широкой, да осмотрится, а все видит, что пахарь попахивает. День идет до него — дойти не может, а прислуша-

ется: все пахарь лошадку понукивает. И на третий день все одно и то же: и видит, и слышит, как у пахаря соха поскрипывает. Насилу он дошел, словно в образное предсказание исторических судеб земледельческой Руси, которую после Киева и Волхова надо было искать на Клязьме, на Печоре, за Камой, на Иртыше и далее до самой Камчатки. Всем понятно и известно, до какой степени любит и ценит, холит и удобривает всякий земледелец свой участок. Ту почву, которая родит хлеб и питает семьи, он зовет не иначе как «матерью» (сырой землей). Проще сказать, крестьянин боготворит землю: плодотворную силу ее почитает за божество, чествует приношениями и жертвами, и устанавливает особые праздники с песнями и плясками. Так было и у всех народов на земле, а у нашего языческие верования и суеверное боготворение земли как питательной почвы соблюдается до сих пор в такой мере, что можно их наблюдать и ясно видеть. В особенности это удобно делать в тех местах, где вся жизнь зависит от земледелия, как в Малороссии и Белоруссии, там, где языческие верования еще борются с христианскими, как в указанных странах и в глухих отдаленных местностях Великороссии.

Везде и всякому дорог тот участок земли, от которого он питается, который с величайшим трудом отбил от леса и болота, удобрил, возделал и буквально полил своим потом. Всякий строго следит за своей полосой земли и старается не запахивать чужой соседней, но есть лихие, дерзкие и бессовестные люди, которые любят жить чужим добром и трудом. Существуют в природе такие могучие и неожиданные явления, в виде ураганов

с лютыми дождями и гибельными наводнениями и пр., что смывают и разрушают определенные межи так, что потом бывает трудно разобраться в своем и чужом. Надобится посредник, который разобрал бы споры и прекратил ссору; желательна такая сила, которая сберегала бы межи от разрушения и истребления. Но где найти и то, и другое, когда и самые межи невозможно определить с точностью, и пределы поземельных граней выяснить на почве, точно так же, как делается это пером и циркулем на бумаге?

В старину да и теперь там, где земли много и лежит она в диком состоянии, будто никому не принадлежащею, поневоле прибегали к случайным и неточным межам. В старинных актах мы то и дело наталкиваемся на такие обозначения границ: «с каменя на вяз, да с березы долом прямо через поперек бору к грановитой сосне, а на ней граница крест».

Налетала на ту сторону огненная стрела молнии, и сгорало столетнее дерево, как свечка; вырывал ураган развесистый вяз с корнем, и замывал песком и илом бешеный ливень вместе с тем и все другие грани и знаки. Наконец размножалось население в такой степени, что валил топор весь дремучий бор, соха и борона превращали лес в пашню и пожню. Затем размывало овраги и буераки, высыхали ручьи и колдобины, и все те приметные урочища, вообще называемые живыми, которые служат более надежными признаками поземельных граней. У кого же искать защиты и к кому обращаться за управой? Приходилось надеяться не на усталую и неверную память старожилов, а на сверхъестественную силу,

на случайности и неизменное народное «авось». В старину, привыкшую верить в чудесное, так и поступали в подобных случаях, что искали помощи в той же матери-сырой земле. Нашли — или лучше — заподозрили в ней такую новую силу, которая оберегала межи, удерживала дерзких и своевольных нарушителей чужих владений, останавливала зазевавшуюся или разгулявшуюся соху, тупила, запутывала и ломала размахавшуюся косу, расходившийся топор. Эта сила и был «чур» — справедливое существо, как помощник матери-земли, в той правде, которую искали при земельных спорах, в запутанных чересполосных владениях.

Бога «чура» как всякую живую и действующую силу олицетворяли, представляли его в видимом образе, в деревянном изображении, имевшем форму кругляша, короткого обрубка, толщиной в руку. На нем вырезались сначала кремнем, а потом железным ножом условные знаки, обозначавшие имя семьи и владельцев. Такие обрубки сохранили древнее название свое в известных словах, уцелевших до нашего времени, каковы: чурбак, чурка, чурбан, чурбашка, чурак, чурок, чушка[1]. Они ставились в давнюю старину

---

[1] Не отсюда ли и прозвище старорусского богатыря Чурила Пленковича, дружина которого то и дело посягает на святость меж и на права собственности: то всю рыбу выловят, не оставив князю Володимиру свежего куса, то повыстреляют в тихих заводях гусей-лебедей и серую пернатую малую утицу, то в самом стольном городе Киеве лук-чеснок весь повыдергают; чужие невода раздергивали — свои заметывали; куницу-лисицу повыловили, черного соболя повыдавили и т. п.

по межам на тех местах, «куда топор и соха ходили», как привычно выражались в старинных владенных актах. Несмотря на грубость работы и ничтожность того материала, из которого вырубались, эти «чуры», стоящие на границах, почитались предметами священными и неприкосновенными. Безнаказанно их нельзя было уничтожать; вырванные случайно должны быть заменены новыми тотчас же, чтобы не свела неосторожных рук су́дорога, чтобы не высохли они на том же самом месте. На нем уже предполагалась невидимо поселившаяся сила, которую следовало бояться, так как ей предоставлено право наказывать, насылать беды и наделять болезнями до пожизненной слепоты и преждевременной смерти включительно. В Белоруссии до сих пор можно видеть, с какими стараниями и опаскою опахивают эти «чуры», боясь того духа, который поселился в них. Там это — небольшие курганчики или бугры, нарочно насыпанные на межах и очень нередко огороженные частоколом, состоящим именно из толстых и коротеньких чурок. Ни один белорус еще не осмелился разрыть хотя бы одну такую земляную кучку. Этими покровителями пограничных примет и знаков и защитниками прав собственности в Белоруссии еще до сих пор не отвыкли клясться. Там часто говорят таким образом: «Чурочками клянусь, што гэтого не буду дзелать».

В Великороссии «чур» как божество совершенно забыт — осталось в памяти только его имя, да в глухих лесных местах кое-какие обычаи из далеких времен язычества. По всей Велико-

россии слово «чур» перенесли прямо на поземельные границы, и этим именем зовут всякую межу, грань, рубеж и т. п.

Говорят «не ступай за чур» (за черту); «не лей через чур» (через край), «наше по чур» (то есть по эту грань) и т. д. Затем по всей обширной России чураются и зачуровываются, делают себя и разные вещи заговоренными, неприкосновенными, заповедными; словом, не забыли выражения, старого, как русский белый свет и родная мать-сыра земля: «чур меня!»

ЧУР МЕНЯ

Идут или едут несколько человек в товарищах по одной дороге. Зазевавшийся и неосторожный путник, ранее проходивший тут, обронил какую-нибудь вещь. Вещь эта валяется забытою, и кто-нибудь другой ее непременно подымет. Хозяин оброненной вещи, видимо, не спохватился о своей потере и не возвращался ее отыскать и взять. Взять чужое, конечно, все равно что украсть: от такого греха избави Бог всякого человека. Все так и думают: «Нашел, да не сказал — все равно, что украл». Чужую, однако ж, вещь, которая валяется на проходном пути, велят считать за находку: не искал, а набрел на нее неожиданно. Это бывает так редко, что всякому приятно зачесть за особое свое счастье: «Бог послал». Если бы вернулся хозяин, объявил, представил доказательства, — бесспорно чужую вещь отдать надо. Отдать ее следует и в том случае,

когда бы можно было разыскать владельца; да где же его уследить в незнакомом месте, в целой толпе неизвестных прохожих людей, между которыми всегда можно рассчитывать на обманщика? Он вклеплется, назвав чужую вещь своею. Всего же чаще случается так, что лежит чужая потеря среди чистого поля, в бесследном перелеске и на проезжей дороге.

Хотя находке и не велят радоваться, как и об утрате горевать, однако кому же ее взять, когда шло несколько человек? Из глубокой старины установлено так, что если спутников двое, находку надо делить пополам с товарищем. Не всегда это бывает легко и возможно (смотря по вещи).

А если шли втроем, впятером, и разделить никак нельзя, да и из деленого каждому почти ничего не достанется, и вещь может быть дележом испорчена, тогда как в целом виде кому-нибудь очень бы погодилась. Как поступить? На этот-то раз выручает одно только слово, этот самый «чур».

— «Чур одному!» — спешит выговорить тот, который первым заметил находку. Этим запретным словом он бесспорно и бесповоротно заручил ее за собой, как нераздельную собственность. «Чур одному — не давать никому». И чтобы вконец было верно слово на деле, к находке притрагиваются рукой. «Чур чуров и чурочков моих!» — говорят при этом в Белоруссии.

У белорусов это слово во множественном числе относится ко всем тем вещам и предметам, которые, будучи приговорены словом чур,

как присвоенная находка становятся для всех запретными, являются собственностью единоличною, а не общественною. Клады, например, спрятанные в земле, считаются общим достоянием всех ищущих, но остаются собственностью того, кто умеет «чуровацъ» (по белорусскому выговору), то есть словом чур прекращать, разрушая волшебную силу наложенного запрета или очарования. «Чурую землю, воды и гроши» — говорится в местных сказках. Например, тамошний рыбак из тверских осташей, ведомых и искусных истребителей озерной рыбы, никогда не возвращается домой с пустыми руками. С белорусом случается противное, потому что бородатый осташ в кожаном фартуке зачурал во всей стране для себя все рыбные места, все подводные тайники. Как «чаровник», он видит даже, где подо льдом кучатся лещи, спят щуки и прочее. Осенней порой, когда небо покрывается черными облаками, осташ уверенно бросает в озеро сети. Буря вздымает волны, покрытые пеной, а он, как нырок: то появится на ребре самой большой волны, то низвергнется в кипящую бездну — только и видно, как крутятся над ним крикливые птицы-рыбалки. Он знает, что иные породы рыб ловятся только в непогодь, другие, когда тихо и ясно, а потому зовет ветры на озеро, волнует воду, поднимает и беспокоит рыбу, а когда этого не нужно ему — он гонит ветры прочь и возвращает на землю день ясный. Такова сила чарования, ведомая практическим великороссам, по понятию суеверных белорусов.

— «Чур пополам, чур вместе», — торопятся выговорить все товарищи, если все увидали находку разом или когда ранее усмотревший ее не успел, или не догадался ее «зачурать», то есть заповедать. По этой причине скорее чурают ее, доколе кто не увидал, — вся тайна и все права в этом. Обыкновенно же поступают так, что по взаимному соглашению обязывают платить соответственную долю товарищам того, кто возьмет себе находку.

Зачурованные, то есть чуром приговоренные, присвоенные находки на этом основании называются также «чурами». А тех людей, которым находками случайно посчастливило в жизни, зовут «чураками».

По народному поверью, помогало слово «чур» с неизвестных времен тем, кто находил клады, то есть зарытые в земле сокровища. Зарывались клады с зароками, например, на три головы молодецкие, на сто голов воробьиных и т. п. Три головы должны погибнуть при попытке овладеть кладом, — следующему по счету, четвертому, он обязательно достанется.

Надо зарок знать и при том помнить, что клад стережет злая сила-нечисть. Когда клад «присумнится», то есть выйдет наружу и покажется блуждающим огоньком, и выговоришь зарок, черти начнут стращать, отбивать клад. Тут слово чур и очерченный круг только одни и выручают, спасая от смерти и мучений.

По народному верованию, на архангельском Севере, клады достаются только тем, которые «не обманывают Бога», то есть тем, кто, запри-

метя клад, скажет три раза: «Чур мой клад с Богом пополам». Это значит, что дан твердый обет половину из открытого отдать на доброе дело или в пользу церкви.

Не вывелись еще, кроме того, на свете и в деревенском быту такие люди, которые на всю жизнь помешались на отыскивании кладов. А так как клад дается на счастливого и на клад надобится знахарь, то и выходит всего чаще пословичный: «Чурило — свиное рыло: по лесу ходит, дров не находит».

— «Чур меня!» — говорят (и вслед затем спешат положить на себя крестное знамение) те люди, которых поражает какое-нибудь неожиданное явление.

Каждый из нас с ранних детских лет хорошо помнит, насколько важно было в товарищеских играх оставить за собою занятое место, хотя бы в игре в медведя, или оставить себя безопасным от ударов и от «ожогов», например, в игре мячом (в лапту, на рюхах, в городки). Кому надо отойти по какому-либо частному поводу в сторону, вне порядка игры, тот обязан оговориться: «Чур моя ямка, чур мое место, чур меня!» Зачуровавшийся, равно как и заговоренное место, становятся священными и неприкосновенными, как бы и впрямь какая-нибудь важная пограничная собственность.

Путник в дороге, догнавший другого пешехода, добрым приветом «мир доро́гой» зачуровывает, заговаривает его в свою пользу, вместе идет, коротает время, чтобы не было скучно: сокращаются расстояния, меньше чувствуется усталость и прочее.

Деревенские колдуны-обманщики и знахари-лекаря, действуя на воображение, опутанное в туманную существенность, вызывают или нечистых духов, или темные врачебные силы такими заговорами и мольбами, в которых неверующий человек не найдет никакого смысла. Эта бессмыслица в суеверных людях даже увеличивает и страх, и веру. Когда ловкие и опытные колдуны видят, что воображение верующих достаточно напугано, они выговаривают страшное слово: «Чур меня, чур!» Этим они желают показать, что нечистая сила уже явилась, невидимо присутствует тут, у него за плечами, и готова творить всякое зло. Но колдун, сильный человек, ее обуздывает, останавливает одним этим могучим словом «чур меня, чур», то есть не тронь меня, не смей тронуть, в то самое время, когда она готова кинуться на людей и натворить разных бед и напастей. За проговоренным же словом все стали безопасны и неприкосновенны, как за каменной стеной, потому что заручены вызванным добрым духом, всегда готовым на помощь, чуром: они — «зачурованы», то есть заговорены от нечистой силы. Для пущей уверенности в том, колдуны обратившихся к ним за помощью очерчивают кругом, за который уже не посмеет заскочить самый бойкий и дерзкий чертенок. Велика сила этого слова, и им пользуются все суеверные люди с древнейших времен и повсеместно. Народ твердо убежден в том, что от нападения вражьей силы только тем и избавиться можно, если поспешить очертить вокруг себя круг, хотя бы перстом или палкой, и заручиться заговором, и оградиться криком «чур меня!»

Таким образом немудреное слово неважного бога живет на русском белом свете заведомо вторую тысячу лет. Всякому делается известным оно с младенчества, и пришедшему в зрелый возраст напоминает дорогое и золотое время детства, весну человеческой жизни.

НАКАНУНЕ

Таково свойство всех чисто народных праздников, доставшихся в наследство от предков и цельно сохранившихся со времен славянского язычества, что они начинаются с вечера того дня, который посвящен тому или другому богу. Так начинают с вечера и прыгают через огни во всю ночь на Ивана Купалу, перед днем перелома лета. Точно также в святой вечер, начинающий двенадцатидневные коляды и совпадающий с рождественским сочельником христианских времен (перелом зимы), стелют на обыкновенный стол солому и, покрывая скатертью, ставят обетные кушанья: разварные зерна, насыченные медовым или маковым соком, овсяный кисель, блины, толокно и т. п. Это — первая кутья «постная» и первая коляда.

В Малороссии и Белоруссии, где в особенности уберeглись старинные языческие верования и доисторические обычаи, вторая кутья (исчезнувшая в Великой России) поедается с вечера, накануне городского Нового года, в деревенский Васильев вечер, в языческую «щёдровку». Эта кутья — самая важная; эта коляда — настоя-

щая: ласая, мясная, товстая (толстая), щедрая, жирная, богатая, а потому и любимая. Она почтена многими прозвищами за то, что требует непременно мясных кушаний и по мере возможности в роскошном обилии. Здесь первое место принадлежит колбасам разных сортов, ветчине, студню, — все из свинины, все жирное и все мясное. С колбасой лезет старший в семье на печной столб в черной рубахе и съедает всю колбасу, в расчете на урожай всякого жита. Самая кутья поедается теперь с коровьим молоком или топленым скоромным (а уже не постным) маслом. Девушки хватают со сковородок первые блины и из горшков первые ложки кутьи и бегут с ними на перекрестки гадать — прислушиваться. Молодые ребята выбирают из среды своей самого рослого и красивого парня, одевают его стариком в парик из кудели и в рваное вретище. Это — щедрец, который водит по домам ватагу товарищей, распевающих для подачек особые песни, называемые щедровками. Молодежь также теперь «щедрует» (гадает), тогда как накануне Рождества она «колядует», славит Христа и коляду. Существенная разница здесь заключается в том, что песен-колядок очень много и они весьма разнообразны, а щедровки от древнейших времен остались в виде маленьких осколков, и притом в замечательно ничтожном числе (меньше десятка), и с однообразным содержанием. Великоруссы-псковичи поют: «Щедрин-ведрин, дайте вареник, грудочку кашки, шматок колбаски», а коренные белорусы: «Дарите не барите, коротки свитки — померзли

лытки, коротки кожушки — померзли петушки, матка казала, штоб кусок сала» и т. п.

Третья кутья бывает в крещенский сочевник (неправильно сочельник, ибо слово происходит от сочива, именем которого называется всякий сок из семян: мака, льна, конопли и прочее). Такая кутья (последняя в году) носит прозвание «голодной», потому что она опять постная, и от того, что на этот раз все запасы уже съедены. Во время первой кутьи первою ложкою чествуют мороз и зовут его есть кутью зимой, а летом просят жаловать мимо, лежать под гнилой колодой, не губить посевов. Тогда же обязываются домовые хозяева подарками и приношениями духовным лицам. Отдаривались здесь, откупались подарками и в Великороссии, за грехи, преследуемые этими самыми служителями веры.

В Архангельской губернии под кануном разумеют те «богомольные дни», когда чествуется заветный праздник особо в каждом селении всею общиною, в одном из домов поочередно. Складчина требует, чтобы все участники приносили съестные припасы «по силе — помочи». В складчину же варят пиво, кое-где освящаемое духовенством. Оттого самое праздество называется пивá, а напиток самый, с вечера заправленный хмелем, именуется кануном, канунным пивом. Начнут молитвой в сельской церкви за обедней, а кончат попойкой и играми. Чтобы не смешивать таких канунов, справляемых в известные дни (например: на Ивана Богослова 8 мая, на Илью, на Петра и Павла и прочее), для прочих праздников имеются

свои названия: «богомолья, поварки»; иные «николют». Я видел одно торжество, которое мне называли «борода». То было окончание уборки сена (или, все равно, хлеба). Зовут на «бороду», когда дожнут и свяжут последний сноп (белорусские «дожинки», великорусские «обжинки»). Одну кучу стеблей оставят на ниве с колосьями горсти на три; солому разогнут, присыплют туда горсть земли и начнут завивать бороду. Девушки соберут по меже цветы, подовьют их к бороде и разбросают по ниве около того места. Тогда уже идут в избу хозяина угощаться, затем водить хороводы, петь песни, играть во всякие игры. Из кушаний здесь играет общественную роль «отжинная каша».

Христианская церковь уступила народным привычкам и вековым обычаям и в свою очередь начинает чествовать наступающий праздник также с вечера, совершает «правила». А это последнее слово перевод с греческого «канон», превратившееся на русском языке в «канун» и выражающееся церковными песнопениями в похвалу святого или чествуемого праздника. Эти стихиры или похвальные тропари, эти ирмосы или вступительные стихи, выражающие содержание прочих стихов канона и других, иногда читаются, иногда поются на заутренях и вечернях. На таких канунах, как начале отправления праздника, по известным правилам, или, проще, в вечер наступающего знаменательного дня приготовляются и праздничные столы с символическими кушаньями, то есть «справляют канун».

Оттого и все такие дни «кануны», и всякое совершившееся событие, всякое законченное дело к известному дню, но во всяком случае в этот, который предшествует срочному или видному празднику, за день, с вечера, породил прямое и ясное выражение «накануне», то есть случилось на тот день и в тот раз, в самый канун. Таким образом, а не иначе, мы вправе понимать слово, поставленное в заголовке, в его расчлененной форме.

Канун, сделавшись самостоятельным словом, выражающим определенный день, в свою очередь допустил в языке новое и законное выражение: «канун кануна», то есть день до кануна, вечер перед кануном. Говорят и «накануне третьего года», то есть в четвертом году. В самом деле, и священник ездит и собирает кануны — всякие приношения; и по усопшим совершают кануны, то есть поминки; и в начале, и по окончании полевых работ заказывают кануны, то есть молебны; и варят канунцы, то есть заготовляют домашние пиво и питейный мед. С успехом читают кануны по усопшим на дому приглашенные начетчики. Пошло даже и на то, как откровенно высказывает поговорка, что «хоть сусек снести, только канун свести», лишь бы изловчиться совершить поминки по усопшим родителям. Зато водятся и такие люди, которые за чужими канунами своих покойников поминают; а иные, руководясь таким правилом, совсем забывают про то, что «если все кануны справлять, ин без хлеба стать».

ПОКАМЕСТ[1]

Кому рассказывают про такое дело, которое он отлично знает и помнит, видел его очень ясно, своими глазами, а не усвоил по слухам, тот обыкновенно (в лесной северной России) отвечает:

— Не рассказывай: я на межевой яме сечен.

Хотя это и не требует дальнейших разъяснений ввиду того, что межи или границы земельных угодий обыкновенно обозначаются «гранными ямами», тем не менее такое выражение обязывает остановиться на весьма важном народном обычае. Гранные ямы — такие места, которые не только представляют собою жизненный глубокий интерес для деревенских соседей в вопросе владения землею, водою и лесом, но и представляют собою историческое явление в народной жизни, требующее изучения как самобытное.

«Гранные ямы» прежде всего замечательны тем, что практический смысл прорывших эти ямы первыми, на пользование будущих поколений, научил зарывать сюда для признака уголья. Чтобы зарубить на память и закрепить такую надежную примету, что называется сверх сыта и окончательно, прикидывали сюда черепки горшков как не гниющие (успевшие сохраниться в курганах до наших времен цельными даже от каменного века). Рассчитывали на долговечную прочность также и углей, так как хорошо выжженный древесный уголь не гниет. «Уголь — такой же негной, как

[1] Возвращаюсь снова к объяснению этого слова в его глубоком и многостороннем историческом значении.

нетленен и черт» (по пословице), особенно если первый, будучи положен в виде дров в ямах, истлеет без пламени, не сгорая, а медленно тлея под костром земли, окладенной дерном. Уголь там, как говорят лесовики, тает, то есть поспевает от одного жара: дерево изникает на месте, как бы воск или олово. Тогда и вторые, то есть черти, по народному поверью, сумеют оценить достоинство такого вещества. «На межевом бугре, на угольях да на черепочках, черти в свайку играют», — думают суеверы и пословично говорят: «Когда нечем черту играть, так угольем».

В те времена, когда руководили людьми прадедовские обычаи, межевые границы подчинялись особым правилам и определялись совершенно иными способами.

До времени изобретения мензул и астролябий оставались еще целые века впереди, а для измерения земельных имуществ не существовало никакой определенной единицы. Говорили и писали в актах: «по туль и владение, куда топор и соха ходили», или по другому: «по ка места плуг и соха ходили». Каждый брал на свою долю столько земли, насколько хватало у него сил для обработки ее. Стало быть, земля, никем не занятая в ту пору, измерялась личными трудами и силами первых насельников. На общинных землях, где каждый владелец участка ежегодно сменялся, способ определения границ временного владения сопровождался особенными оригинальными приемами, в обеспечение общего права и в подкрепление коренного народного неписаного закона. Такой прием еще можно наблюдать в особенно

яркой картине на землях Уральского казачьего войска, живущего до сих пор строгим общинным строем, как и указано было в первой статье. Туман, застилавший грани владений, давно уже рассеялся перед планшетом съемщика, перед вехой и цепью межевщика-землемера. Теперь положен конец прежним захватам сильных и возникшей неугомонной борьбе между куренями рядовых казаков и хуторами влиятельных или богатых чиновников. Прекратились неурядицы, жалобы и иски — это неизбежное зло между «соседями», нынешними и «шабрами» старинными.

Конечно, в те стародавние времена эти споры и тяжбы, доходившие на полевых рубежах до драк, увечий и даже убийств, возбуждались неясностью межевых знаков. Это продолжалось даже и в то время, когда появились записи в актах, принявших народные термины на корне их происхождения в живом языке: рубежей — от рубить (резы на деревьях) и граней — от гранить (насекать) знаки на камнях и других твердых предметах. Ни в одном из актов нет ни одной черты, по которой можно было бы теперь выразить в цифрах величину чьего-либо владения. Немного также поправили дело и попытки правительственной власти, учреждавшей «межевины» (размежевания), которая сочинила так называемые разводные или разъезжие грамоты и писцовые книги, в величайшем множестве сохранившиеся в наших архивах. Принимались за признаки границ такие урочища, которые истреблялись временем: сгнивала береза и иное зарубленное межевым знаком дерево, рассыпался

курган, размывался дождями вал, засорялись и самые русла речек, переменяли направление, исчезали ямы и рвы и т. д. Межи «западали», как выражались и в давнюю старину, как говорят и в настоящее трудное время. Алчность поземельного соседа всегда стояла настороже и при оплошке и ослаблении бдительности соперников являлась во всеоружии захватов, готовая и на насилие, и на открытый бой. Вековечная пословица оправдывалась в лицах: «Межи да грани, ссоры да брани». Обозначалась беспокойная чересполосица.

Где земля представляла особые удобства жизни, там межевые споры были бесконечны: потребность в земле вынуждала одних жителей входить в те участки, которые сосед отвел для своих занятий, признавал своею принадлежностью и засчитывал давность пользования и владения. Соседи, работавшие рядом межа-о́бмежу, грани свои перепахивали и, впахавшись в чужое, обыкновенно защищались тем, что «межи-де запали», то есть изгладились. Те и другие хозяева доказывали свое право на спорный участок, опираясь на живое фактическое обладание им, обеспеченное приложением личного труда или затратою денежного капитала. Чем пособляли спорным делам?

Полюбовно устраивались такими способами: оба соперника выходили на спорный участок и предъявляли доказательства давнего владения. Чтобы спокойно владеть дальше, вперед на неопределенное время, ставили метки, зарубали условные знаки на деревьях, отмечали особенно

приметные и выдающиеся места и т. д. Выходило так, что межа шла «с каменя на вяз, а на вязу граница (резь) крест»; «да со логу долом прямо через поперек бору к грановитой сосне», то есть порезанной знаками крестика, очка, угла, квадратика и т. п.

Когда колебалась в доказательствах одна сторона, и осиливала ее противная более вескими данными, а сладу и мировой все-таки не было, отыскивали, приводили на межи знахаря, вполне доверяясь его свидетельству и решению. Этот «знахорь» (назывался так старинными актами) не был по нынешнему нашему распространенному понятию колдуном, умеющим портить и править людей, шептать и заговаривать. Старинный «знахорь» актов являлся просто знающим, опытным лицом, убеленным сединами, отягченным обилием лет и пользующимся всеобщим уважением как человек сведущий и опытный во всяких деревенских делах и задачах и, наверно, в детских годах сеченный вместе с товарищами вблизи или на этих самых межах. Доверие к ним народа выразилось в одном акте в такой общепринятой формуле: «Доселе была моей пожне межа по та места, а ныне по та места, по ка места отведут, как отвести подымет думу знахорей». Отводили земельные угодья знахори. Обе спорящие стороны оставались довольными, а велось таким образом, несомненно, исстари, с тех времен, когда существовало между нашими предками нетронутое язычество и первобытная форма отношений. Вот она какова в цельном и образном виде по старинному юридическому акту.

Встал судья из митропольчих посланцев на пожне, на наволоке реки Шексны, в лугах, и говорил ответчику:

— Ты, Левонтей, перекосил государя моего митрополита пожню ту, на коей стоишь. Отвечай!

— Я ту пожню косил, а меж не ведаю. Ее заложил у меня в деньгах Сысой, а указал, господине, ее косити по та места, чего на мне ищут, — говорил Левонтей.

Отвечал Сысой:

— То, господине, пожня моя, а и́но вели повести знахорем, а у меня той пожне разводных (мировых) знахорей нет.

Спрашивает судья:

— Кто у вас знахорей есть на разводные межи?

— Есть у меня старожильцы — люди добрые. Те знахори стоят перед тобою, — оправдывался Сысой.

Этим свидетелям говорил судья:

— Скажите, браты, нам право: знаете ли, куды той пожне митрополиче с Сысоевой пожнею межа? — Поведите нас по меже!

Знахори отвечали:

— Знаем, господине: пойдите за нами, а мы тебя по меже поведем.

И под леса повели они судью от березы к трем дубкам, стоявшим середь пожни, а отсюда по берегам к виловатой (развилистой) ветле, по самые рассохи (разрезы, где слились под острым углом две речки, по подобию развилин матушки-сохи Андреевны).

— Вот здесь межа митрополичья с Сысоевой.

Сысой сказал последнее слово:

— Знахорей у меня нет: дума этих свидетелей подымет (то есть, полагаясь на их совесть, верю им и вполне соглашаюсь с их указанием и вашим решением).

Во времена христианства в спорах о межах прибегали к «образу Пречистыя». Когда соглашались на такой способ, один старожил брал образ Богоматери, ставил его себе на голову и в сопровождении прочих знахорей шел по меже от дуба, на котором намечен был знак. Пошел немного до стопняка, повернул направо, а когда вышел к паренине[1], за перелеском, то прямо указал гранные копаные ямы. От них, возле паренины, шел пожней на горелый липовый пень и здесь предъявил свидетелям ямы. Дальше он указал на дубок и на резаные на нем грани и опять шел вперед до речки, где стоит дуб со сеченым (срубленным) верхом, что тоже означало границу и служило приметой, и т. д.

Такой стык или рубеж, казавшийся знахорю верным и справедливым, становился бесспорным на будущее время для обоих соседей. Когда со временем полюбовное размежевание таким способом объявилось недостаточным, начали прибегать к содействию государственной власти, у которой имелась на такие случаи особая должность «межевщиков».

---

[1] Третье гулевое поле, обыкновенно оставляемое под выгон скота, оно же и паровое поле, а стопняк — сложенная в порядке куча: либо ворох булыжных камней, либо дрова или бревна, сложенные в клетки, обыкновенно счетом.

Размежевальщик, он же и судья или писец, являлся на спорную землю, призывал тяжущихся и свидетелей, учинял разъезд, то есть делал пропашкой борозду, устраивал межу, клал грани (то есть зарубки на стоячих деревьях), копал ямы и т. д. Добродушные старики и потехи ради, и чтобы не отстать от обычаев старины, собирали ребятишек, клали их на эти взрытые сохой борозды (на которых любят ложиться зайцы) и секли их с наказом и приговорами, для забавы и утехи скучавшего и сердитого, заезжего в дальнюю сторону межевщика[1]. Затем судья этот писал на бумаге разъезжую или разводную грамоту по общепринятой форме. Тогда уже, вместо старинного сырого дерна на голову, прикладывалась горячая восковая или сургучная печать

---

[1] В доказательство насколько этот первобытный обычай был повсеместным на Русской земле, приводим выписки о таких же приемах на Дону, у казаков. Один автор (г. Харузин) пишет: «Казак, облюбовав себе место, подводил к его границам своего малолетнего сына и больно сек его тут, чтобы помнил границу»: это на его же пользу делалось. По смерти отца, он уже хорошо знал границы своего наследства» (толковали автору старики). Другой писатель о донском войске (г. Тимощенков) как очевидец говорит: «Граждане, сошедшись с гражданами других пограничных станиц, согласились насчет меж и поставили грани. Для того чтобы они лучше помнились в народе, граждане собрали всех взрослых мальчиков как из своей, так и изо всех других станиц, водили их толпою по меже и секли розгами в тех местах, где стояли грани. Как кого высекут, так и пустят бежать домой. Делая это, они надеялись, что каждый мальчик до старости будет помнить то место, где он был сечен». В некоторых станицах казаки сообщали, что и пастухов в прежние годы секли на границах, дабы они помнили их и не гоняли скотину, куда не следует.

на бумагу, а на нее клались руки свидетелей, совершалось воочию людьми, неумелыми грамоте, то действие, которое сохранилось до наших дней уже в отвлеченном и переносном значении рукоприкладства. К нему присоединились потом: присяга с поднятою правою рукою, сложенною в молитвенный крест, чтение или повторение за священником клятвенного акта, заключительное целование креста и слов Спасителя, то есть Евангелия, и, наконец, своеручная подпись на присяжном листе.

ОПРИЧЬ

Подобно двум наречиям, потребовавшим наших объяснений, каковы «чересчур, покамест и накануне», третье наречие (которое, однако, может быть и предлогом) — именно «опричь, опрочь», старинное «опроче» — замечательно тем, что в свое время послужило основою к составлению грозного смыслом и значением существительного имени «опричина». В прямом смысле употреблялось слово исстари славянщины для означения всего отдельного, обособленного в правах, в значении исключенной из общего счета единиц, поставленной вне правил, «что либо на окроме». Например, по старинным актам, от крестьян отписывали деревни и починки опроче; архиереям указывали «опричь святительского суда не вступатися ни во что же». В духовных завещаниях писали прямо «даю я моей княгине два села в опришнину», то есть отдельно от детей как прибавку к ее родовому на-

следству. Этим словом (с таким же прозрачным смыслом) подозрительный московский царь Иван Грозный назвал особое войско своих телохранителей и боярских карателей. В число их, как известно, он отобрал шесть тысяч молодых людей всякого звания и сословия и взял с них присягу в том, что они отказываются от отца и матери и что будут знать только его одного и доносить ему на изменников. Царь наделил их за такие клятвы поместьями и домами, отнятыми у опальных бояр, и отличил сверх того особыми наружными значками: собачьими головами и метлами. Эти знаки отличия должны были понимать так, что верные царские слуги грызут его лиходеев и выметают измену из государства. Мало того. Грозный все государство поделил на две части: земство и опричнину. Последняя подчинена была дворцовому правлению и пользовалась особыми правами. Сюда приписаны были, сверх богатых и населенных городов, ближних к Москве, те далекие залесские города, которые уберегли еще гордый дух и вековую вольность свободной и строптивой новгородчины. Всем этим непосредственно ведал сам царь, а земщиной управляли бояре. Опричники, выметая измену и накидываясь на заподозренных, вели свое дело с таким усердием, озлоблением и дерзостью, что стали всем в тягость и возбудили к себе всеобщую ненависть. Измученный народ вынужден был прибегнуть к злому сарказму и в однозначащем наречии, в слове, теперь совершенно заменившем его — «кроме», «окромя», подыскал свое приватное прозвище, приличное по деяниям телохранителей, и высказался бранным словом «кромешники».

Оно оказалось кстати именно в смысле исчадий ада, особенного выделившегося из видимого мира царства сатаны — внешнего места — во тьме кромешной, иде же есть плач и скрежет зубов. Грозный понял это ругательство по-своему, отнеся его к боярскому и народному нелюбью опричников за их преданность к нему. На самом деле прозванием этим, отнесенным именно к ратникам служилой опричины, народ сумел различать «опричинцев», то есть жителей областей, вошедших в царскую собственность; и придумал тогда, и до сих пор сохранил в памяти (теперь в шутливом смысле) поговорку: «Просим к нам всем двором опричь хóром», что значит: иди сам угощаться и всех своих тащи — всем будет место. В те варварские времена, сидя на борзых конях с привязанными к седлам метлами, удалые опричники могли своевольничать, разъезжая по улицам, но не входить в дома. Сюда прятались все, кому попадались навстречу эти буйные ватаги, из опасения не только иметь с ними какое-нибудь дело, но даже и встречаться. Что же и делать? — надо покоряться: опричь худого, ничего хорошего не жди — «вот тут бери, а опричного нашего ничего не тронь», — тех ищите, кто лучше нас, — думали и говорили русские люди. Сам царь поставил то же правило отчуждения и для самих опричников, освобожденных им от суда и управы, и брал с них присягу в том, чтобы они не дружили с земскими людьми. И в свою очередь это новое государственное учреждение сам старался скрывать и прятать от сведения иноземных государей. В наказах гонцам, отправляемым к польскому королю Сигизмунду, давалось ясное на-

ставление: «...когда у вас спросят, что такое опричина, — скажите: мы не знаем опричины». Разрешая торговлю англичанам, Грозный оставался последовательным: он освободил иноземных гостей от суда этих опричников. Семь лет было грозно это звание и страшно название: в 1572 году земщина получила прежнее имя «Россия», а опричники стали именоваться «дворовыми», и то же название присвоено было городам и волостям, приписанным к царскому двору.

НИ КОЛА — НИ ДВОРА

Несмотря на то, что кол, в виде и смысле короткого шеста, с одного края заостренного, очень пригоден к употреблению для обрисовки крайней бедности («гол, как кол» — так и пословица говорит), в указанном нашим заголовком крылатом слове он употреблен не в этом общепринятом значении, а в другом. На одно из очень оригинальных и неожиданных случайно натолкнулся господин Александр Борзенко. Он пишет в «Московских Ведомостях», 1877, № 273: «Привелось мне летом нынешнего года идти вверх по течению небольшого ручья, впадающего в Волгу (в Ярославской губернии). Скоро очутился я среди местности, поросшей высокой бурьяноватою травой и мелким кустарником, изрезанной небольшими впадинами с болотистым дном. Вдали, на пригорке, чернелись крестьянские избы, за ними желтела нива, еще выше раскинулся лес, венцом зелени охватив склоны холма. С трудом выбрался

я к деревне, постучался в первую попавшуюся избу, ища проводника. Вызвался крестьянин по имени Иван Матвеевич. Вышли мы на пахотное поле.

— Вот мои два «кола», — сказал Иван Матвеевич.

— Где? — спросил я.

Иван шагнул с тропинки к пашне.

— Вот полоска — два сажня ширины — это один кол, а вот другая такая же полоска — это другой кол. В деревне у нас шесть дворов и на каждый двор два кола, — продолжал он.

— Стало быть, все живущие у вас в деревне имеют двор и кол?

— Все, кроме одного. Отставной солдат к нам вернулся, так у него нет «ни кола — ни двора», а кормится он сапожным мастерством.

Поговорка стала понятна. Кол — это полоса пахотной земли, шириною в две сажени. «Следовательно, не иметь кола — значит, не иметь пашни; не иметь двора — значит, жить у других. Итак, «ни кола — ни двора» употребляется в крестьянском быту для означения человека, не имеющего недвижимого имущества и живущего личным трудом, а вовсе не в смысле дурного хозяина, как предполагает Даль». О дурном хозяине говорится вернее и прямее: «Соко́л хоть на ко́л, да гол, что мосо́л».

О голом соколе я уже имел случай говорить, но за мосол, по объяснению господина Борзенко, принять не решаюсь (как он советует) скупщика по ярославским деревням холстов и полотен, который все-таки бегает с деньгами, да и зовется чаще «маяком» (известны там «заозерские» молодцы, ловкие на эту руку, из села Заозерья Углицкого

уезда). Настоящий мосол, в прямом и общеупотребительном смысле, как толстая и большая — одна из округлых — кость в том оглоданном виде, в каком бросают ее собакам, действительно голая до такой степени, что и собака ее «хоть глодай, хоть лижи, хоть вперед положи».

ГОРОХ ПРИ ДОРОГЕ

Незавидна участь людей богатых, но тароватых, и тех смиренных бедняков и бедовиков, которых всякий готов обидеть, подобно участи всем известного, а русским людом любимого стручкового растения и плода (pisum), называемого горохом, когда он посеян подле проезжей дороги. «Кто ни пройдет, тот скубнет (ущипнет)». Тогда, в виду очевидного соблазна, зачем же и сеять его на видном месте (он и так оттеняется в поле своею веселою и густою зеленью); зачем и оперять его, утыкая хворостом? Пройдет мимо один зоркий и приглядливый, нащиплет целую кишину (охапку), прижмет левой рукой под мышкой, правой начнет пощипывать и шелушить. И другие пройдут — то же сделают: горох да репа завидное дело, а горох при том всякому ворог, всякий его щиплет. Могут и до того дощипаться, что потом нечего будет и «крючить» (горох, как известно, не жнут и не косят).

Для разрешения этого вопроса приходится идти в давнюю старину, когда расселялся православный русский народ по лицу родной земли своей. С готовым запасом, на шитых плотах и в долбле-

ных комягах плыл он по рекам, но попадал в междуречьях на волока. По таким надо уже было тянуться сухопутьем, подвергаться опасностям долговременного безлюдья, испытывать тяжелые беды от захватов в пути неожиданно нагрянувшими холодами и видеть ежечасно впереди самую жестокую и тяжкую смерть от голода. Она, впрочем, и не медлила там, где сами на нее шли и доброй волей напрашивалась. Сколько же смертей постигло русских людей на то время, когда они клали тропы по непролазным северным лесам, торили пути по диким и совершенно безлюдным и обширным пустыням холодных стран, и проложили такую длинную неизмеримую дорогу, как та, которая увела в Сибирь и помогла от домашнего бесхлебья родины расселиться по тамошним девственным местам и на благодарной почве? Конечно, по людской молве, а в иных случаях на крик бирючей по базарам и торжкам, расхваливавших новые места и суливших всякую на них благодать, снимались охотники с родных, насиженных гнезд семьями, артелями. В горячее время переселений (в начале XVII века), когда достигли обратные хвалебные зазывные слухи испытавших приволье вновь открытых мест, шел народ толпами, одна за другой. Передним рядам было худо, задним стало лучше: все приловчились, заручившись мудреным опытом и испытанной наукой. Стало так, как говорится в пословице: «Передний заднему мост». Испытавший беды на самом себе, сделался не только опасливым, но и жалостливым для других, вольно и невольно оставляя по дороге следы, приметы и разного рода памятки для руководства.

Указателем пути и вожаком в дороге прежде всего служит звездное небо, а на нем в особенности та звезда, которая раньше всех появляется и позднее других скрывается в той именно стороне, где лежат самые холодные места. Об них же можно наводить точные справки и на древесных стволах, которые с северной стороны всегда обрастают мохом, кутаясь в него, как в шубу. Помогают и направление течения струй в попутной речонке, и следы ветра, намеченные на снежных сугробах, и множество других признаков, добытых долговременным опытом скитанья по лесам, и указанных, и доказанных, и передовыми пришельцами из русских, и давними насельниками тех стран, то есть разных названий инородцами. Выручило же главным образом доброе христианское чувство памятования о задних, несомненно неопытных и обязательно страждущих. А это памятование выразилось во многих из веков установленных обычаях, как бы законно утвержденных правилах, могучих и равносильных как в северных русских, так и в сибирских лесах.

В Архангельской и Вологодской губерниях лесные избушки, названные образным славянским словом «кушней» (от кущи) — в Сибири переиначенные в «заимки», — великие, но малооцененные пособницы при народных переселениях (особенно первые). Никому они не принадлежат и неизвестно, кто и когда их срубил, а по заплатам на щелях видно, что их чинил тот, у кого нашелся досуг и топор. Изба стоит без хозяина, заброшенною в лесу, значит, она мирская: забредшего в нее некому выгнать, к тому же она и не заперта. Вместо окон

в ней — щели, вместо двери — лазейка; печь заменяется каменкой; пазы прогрело солнышко и вытрусил ветерб углы обглоданы и расшатаны. Чтобы вконец не обездолили лютые бури, она приникла к земле: на потолки (крыш нет) накиданы каменья и густо навален дерн, даже веселая травка там выросла и завязались небольшие березки. В такой избушке на курьих ножках, пожалуй, и не выпаришься, хотя она и очень похожа на деревенские баньки, — и тепло она держит кое-какое. Нехороша она видом и складом, но зато хороша обычаем. Про бездомного случайного человека в ней всегда оставляется какой-либо припас: кадочка соленой трески, ведерко с солеными сельдями, голая соль в берестяной коробочке, сетка с поплавками — половить свежей рыбы в соседнем озерке или речонке; вместо стакана, выдолбленная чурочка и т. п. Вот и низенькие лавки, где посидеть можно, и усталому человеку сладко выспаться. Вот в углу и полочка со старенькой иконой — Богу помолиться. Отсиделся здесь некто из передних, ушел, — и владей избушкой, кому надобно. Дай, Господи, повладеть тому, кому доведется отсиживаться от лютых морозов, злых вьюг и проливных дождей. Кто отсиделся, тот поблагодарил тем, что оставил здесь из своих припасов, какие оказались у него излишними и какими не жаль было поделиться. Кому снова довелось испытать подобное — поступай таким же образом, по вековечным примерам и по правилу, нигде не записанному, но всем известному по на́слуху.

В Сибири эта забота об участи отсталых и задних до сих пор как остаток старины, очевидно, со-

хранилась в полках, приделанных снаружи домов, под кухонным окном. Сюда домовитые хозяйки ставят остатки из съестных припасов для нищей братии и для прохожего человека. В последнее время этим воспользовались беглые с каторги и мест поселения — и добрый обычай оказался вдвойне милосердным и полезным: голодным бродягам нет нужды прибегать к воровству и грабительским насилиям: поешь и проходи мимо. Времена изменяют обычаи, из которых многие стали уходить в предание. Между прочими, и горох сеют теперь подальше, особенно на больших и проезжих дорогах, но в глухих местах этот старозаветный прием не покинут. Его еще можно видеть воочию, во свидетельство старинной загадки (на церковных богомольцев): «Рассыпался горох на четырнадцать дорог». Там еще поступают даже так, что к посеянному гороху присевают рядом репу, что называется сверх сыта. Пословица вопрошает прямо: «За репу, кто хвалится?» — и сама же отвечает ясно: «Репой да брюквой люди не хвалятся». Да и что же, в самом деле, бывает на свете дешевле пареной репы?

ЧУЖОЙ КОНЬ

Понятие об этом и самое имя составилось также из юридических обычаев, на этот раз самых древних. Источник находим в первом письменном памятнике русского законодательства, замечательного небольшим количеством статей и мягким тоном при наложении взысканий за преступления. Они ограничивались по большей части денежными

пенями (продажами) и вирами, определяемыми взносом ходячей монеты — гривны. Этот драгоценный памятник, известный под именем «Русской Правды», составленный киевским князем Ярославом (Мудрым), относится к 1016 году. В нем-то и заключается буквальное объяснение пословицы, всем известной на словах и на деле: «С чужого коня среди грязи долой». В «Правде» написано: «...аще кто всядет на чуж конь, не прошав, ино ему три гривны» (то есть платить за конокрадство). Мимоходом скажем, что при разборе юридических терминов требуется чрезвычайная осторожность, не всегда соблюдаемая нашими исследованиями. Встречаются ошибки при различении, например, таких двух общеупотребительных до сего дня выражений: бить челом — это значить просить о чем-либо; а ударить челом — поднести какой -либо подарок и т. п.

СПЕЛА И СВИНКА ВОЛКУ ПЕСЕНКУ

Ходит в объяснение такая притча. Пришел волк резать свинью не столько для щетины, сколько для мяса. Пробовал было раньше его черт стричь ее, так получил не столько шерсти, сколько визгу. Волк сослался свинье на Егория, сказавши, что этот звериный бог велел ее съесть. Взмолилась несчастная: «Дай старину вспомнить — спеть любимую мою и заветную песенку. Ею я с белым светом попрощаюсь». Получивши согласие, свинья запела. Ее услыхали кабаны, сбежались и приняли на клыки доверчивого злодея.

СВИН-ГОЛОС

Говорят обычно: «Кричать в свин-голос» (по объяснению Даля) — кричать не вовремя, некстати, до поры или спустя пору, заранее, а особенно запоздно». Повод к этому выражению дали те грязные и глупые домашние животные, которые в летнюю пору, гуляя без пастуха, бегут с поля домой всегда поздно (когда уже подоили коров и загнали овец), нередко даже ночью с ревом и хрюканьем. В отчаянии, что замешкались и загулялись по рассеянности и несмышлености и нашли ворота крепко запертыми, свиньи разводят хрюканье до самого утра и визжат, как зарезанные. Кто помнит деревню, тот не забыл этих ежедневно и в разных местах повторяющихся сцен отчаяния и жалоб, где своя вина валится на чужую голову. Не соображает глупая свинья того, что вот и ворота крепко заперты, и хозяева сладко спят, — нечего больше делать, как ложиться спать на том самом месте, где стоишь. К чему же вопли и отчаяние, когда перед глазами пример: собака-жучка свернулась кольцом у завалинки — и спит себе молча и крепко? Отсюда — по настойчивости применения и точности живых наблюдений — имеется в языке еще выражение: «в свины́-полдни», то есть тоже поздно, и при этом настолько поздно, как это могут делать люди совершенно ленивые, рассеянные, непривычные не только ценить золотое время, но и соблюдать часы. К ним-то и обращается этот злой и насмешливый, но справедливый упрек, известный, однако, не только великороссам, но и белорусам — «Свиння́ полудня не знает».

ПОСТРИГСЯ И ПОСХИМИЛСЯ

Замечено, что лукавый человек, желая достигнуть цели, изменяет свой обычный вид, принимая другой, обманчивый и льстивый. Скроет свои мысли и чувства, припрячет налаженные замыслы, начнет говорить совсем не то, что думает, противореча себе самому и всеми мерами стараясь обольстить и обмануть противника так, чтобы он растерялся, поддался лести, расположился в пользу и исполнил желание льстивого и угодливого человека. Этих мастеров, в противоположность предыдущим, очень любят другие люди, но опытные от них остерегаются. Уподобляя их лукавым животным кошачьей породы и настоящего хищного рода, говорят пословицей: «Постригся кот, посхимился кот, а все тот же кот», и картинно поясняют подобной же прибауткой:

— Кот Евстафий! Ты постригся? — вопросительно удивляются коту в то самое время, когда он, почистив свою лукавую мордочку, спокойно свернулся клубком на солнышке и замурлыкал свою усыпляющую песенку, которая всегда отзывается полным добродушием.

Недоверчивый вопрос, обращенный к нему, основан на том, что всем известен характер этого до невозможности льстивого, лукавого и вороватого животного. Хотя его осторожные движения и чистоплотность сделали его любимцем податливых на лесть и удобных на обман женщин, тем не менее не забывают, что он близкая родня самым ярым истребителям животного царства. Вкрадчивая хитрость и изворотливость доведены у этой породы,

при редкой остроте чувств, до ужасающих размеров. Они неутомимы в бегу, непобедимы в прыжках, ненасытны в кровожадности. Неслышные ноги, с мягкой поступью, скрывают смертоносные, быстро высовывающиеся когти, разнообразные пестрые цвета шерсти либо в кольцах, либо пятнами напоминают змею. Длинный извивающийся хвост усиливает впечатление дикой красоты, но светящиеся глаза и сторожливые маленькие уши показывают, что эти животные опасны ночью, когда все, усталые и беззащитные, беззаботно спят. В это-то время они замышляют происки и обдумывают нападение на добычу и даже, когда спят, как будто держат на уме одно только зло. Оттого и народная русская прибаутка допрашивает и переспрашивает:

— Когда ты, кот Евстафий, решился постричься, то, может быть, и посхимился?

— И посхимился.

— А пройти мимо тебя можно?

— Можно.

Доверчивая мышка побежала, а лукавый кот ее цап-царап, да и за горлышко.

— Кот Евстафий! Ты оскоромишься!

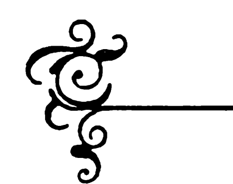
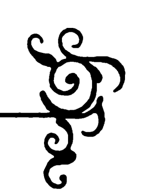
— Кому скоромно, а нам — на здоровье.

ПОПРОСТУ — БЕЗ КОКЛЮШ

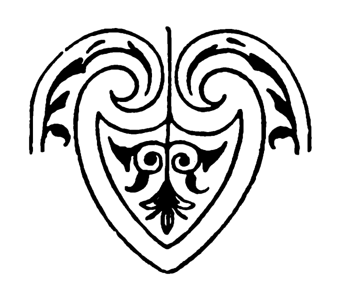
Сидит человек на лавочке, весело ухмыляется, перебирает ногами, болтает всякий вздор, что и понять невозможно, — это он «коклюшки перебирает». Другой подошел, нахмурил брови, придал лицу не только серьезное, но и строгое выражение,

старается говорить низкими нотами; временами урывками подсмеется, не говорит прямо, а как бы прячась и крадучись, говорит одними намеками, что называется обиняками — этот человек «коклюшки плетет». Говорил бы лучше всего прямо и просто — «без коклюш!» А иной придумал хитрость, подставил приятелю ногу, товарища обманул, «коклюшку подпустил». Малое слово, смешное для уха, не всякому понятное, — и в самом деле означает ничтожную маленькую и простую вещицу: точеную палочку, утолщенную на одном конце и с пуговкой на другом; под пуговкой на ней обязательная шейка. Это и есть коклюха или коклюшка, — название, обязанное своим корневым происхождением коке, то есть яйцу. Целыми десятками повисли они на нитках бумажных, шелковых и золотых, ниспускаясь с мягкой подушки, как в старинные времена на лоб и виски русских круглолицых красавиц свисали бисерные и жемчужные начелья. На одной подушке, называемой кутузом, — именем, давшим, между прочим, прозвище родоначальникам героя Отечественной войны, — висит этих коклюшек так много, что неприглядевшемуся глазу невозможно разобраться, — совсем лабиринт. Когда шевелит ими мастерица и издают они тупой деревянный звук, щелкая друг о друга, — в глазах уже положительно рябит. Перебрасывает она теми, которые висят под носом; затем быстро перекидывает руку на другую, на третью сторону кутуза и коклюшки, оттуда подбрасывает к себе и опять кидает их вбок или снова назад. Понять невозможно здесь ни системы, ни плана и даже нельзя поверить наглазно результаты этой

суетни рук и перекидывания коклюшек туда и сюда, вперед и вбок. Там, на кутузе, лежит невидимый сколотый узор, и мастерица следует ему слепо и послушно, а за то и суетня рук, и порча глаз: выходит у ней кружево, годное и на воротник, и на чепчик. Это — очень хитрое и мудреное дело, а в умелых и привычных руках доводимое до изумительной виртуозности, совсем это — не просто и прямо, как ткут, например, полотна, вяжут чулки или как, например, плетут лапти или женскую косу попросту в три пряди, а по ученому и больше. Во всяком случае работы наших кружевниц замечательны отчетливостью, и беззастенчивыми продавцами выдаются (не без основания) за иностранные. Самые лучшие кружева плетутся во Мценске (Орловской губернии) тамошними мещанскими девицами; похуже в слободе Кукарке (Вятской губернии), но более известны и распространены кружева балахнинские (из города Балахны Нижегородской губернии). Так и говорится: «Кутуз да коклюшки — балахнинские игрушки», а также «Балахонские мастерицы плести мастерицы» столько же (по двоякому смыслу присловья) кружева, как и сплетни. К последним особенно располагает совместная работа: чистая, тихая, молчаливая и очень скучная. Она опасна для глаз, плохо вознаграждается. Все мастерицы в руках плутоватых и бойких скупщиц, которые дают достаточно благоприятный повод, чтобы перемыть их косточки и, на их счет, и на очистку своей совести, позлословить. При таких занятиях и самая работа спорится.

ПО-РУССКИ






Объяснить это слово с полнейшею ясностью и обязательною точностью очень трудно и почти невозможно. Разобрать по частям — немудрено и каждой дать толкование дозволительно, но слишком вдаваться и в частные объяснения будет весьма утомительно. Жить и поступать, говорить и думать, одеваться и даже обуваться, причесываться и наряжаться, петь и плясать, браниться и бороться и т. д. обязательно делать русскому человеку по-своему, и совсем не так, как принято другими народами чужих земель. Но и в своей земле не все из упомянутого делается так по Волге, как на Волхове, хотя тоже по-русски, в том и другом, и десятом случае. А по-московски, например, совсем уже не так, как по-петербургскому. На это можно собрать целую кучу доказательств, а чтобы не легла она тяжелым камнем, коснусь здесь слегка и возьму на этот раз лишь подходящее.

Несмотря на строгую заповедь, нелегко человеку познать самого себя, то есть изучить нрав и сердце, а спознавши кое-что из прирожденного и приобретенного, еще труднее сознаться в недостатках. Не только из людей, но из целых народов не видим мы откровенных, знаем больше замкнутых в себе или гордых, или хвастливых собою. Тем не менее народ наш пытался сделать над собою поверку и по привычной откровенности и прямоте характера

покаялся в кое-каких случайных пословицах. Их, конечно, немного, как и быть должно. Сам в своем деле никто не судья: пусть лает собака чужая, а не своя. По такой причине за справками к соседям мы не пойдем (мало ли что люди болтают: всех не переслушаешь), но, ограничившись сделанными попытками домашней оценки, из этого живого источника наудачу возьмем более ходячие выражения.

1. РУССКИЕ СВАИ

Их три, и кто их не знает, и кто ими не тычет, вопреки буквальному евангельскому изречению о бревнах, прямо в глаза, да и так часто, что пора бы и перестать. Ведь в самом деле наше «авось» не с дуба же сорвалось. В стране, где могучие силы природы свыше меры влиятельны и властительны, и в тысячелетней борьбе с ними мы еще далеко не смирили леса, не обсушили почву, не смягчили климат (как удалось это сделать, например, в тацитовской Германии). Поневоле приходится на авось и хлеб сеять. По зависимости от этого, на многие ли другие дела можно ходить спокойно, с верным расчетом на удачный исход и несомненный успех? Где нельзя бить наверняка, а работать все-таки надо, там поневоле приходится поступать, очертя голову, закрывши глаза, стиснув зубы и закусив бороду, как делывали наши кубанские и иные казаки, бросаясь в бой с нестройными отрядами горцев, в виду дикой и беспощадной их силы. Кто горьким опытом жизни беспрестанно убеждался в том, что заказной труд его непременно худо оплатится, а из десяти в девятое

рабочий совсем не получит расчета, тот обязательно исполнит заказ «как-нибудь», как тверские кимряки, которые шьют сапоги, пригодные лишь от субботы до субботы (их еженедельного базарного дня). И в личных интересах он поступит также точно с прямым убеждением, что на его век хватит. Работу, где не вознаграждается труд, а иногда еще требуют сдачи, то есть производят вычеты и штрафы, он сделает небрежно, чтобы поскорее подыскать другую и на ней наверстать испытанные и рассчитанные потери. Если со стороны скупщика и заказчика — стремление донельзя понизить цену, иногда прямые злоупотребления, то со стороны кустаря-мастера — тоже желание сбыть товар похуже. В погоне за каждой копейкой, которых выручается так мало, о тщательной работе немного заботятся. Здесь, при крайней дешевизне изделий, «авосем» служит огромный навык в работе, а «небосем» — экономическая теория разделения труда. С голоду да с холоду приходится и на незнакомый, и на непривычный труд ходить по вере, что смелыми владеет Бог, а смелостью берут города. Одному любителю в Калужской губернии удалось развести канареек, а теперь там целые заводы и при них новое производство — клеточное. Приходится набрасываться на работу с отчаянным криком: «Небось», то есть чего бояться — выступай смелей, не трусь! — Принимайся, благословясь! Что-нибудь да выйдет: будет с них. Да и что бы ни придумать сделать, на всякое изделие найдется охотник.

Не для чего, стало быть, удивляться, если такие обычные выражения обратились в пословицы и поговорки:

— Небось дождь будет?

— А ты небось этому рад.

— А ты небось был там? (Нечто ты признаешься, хотя несомненно и был там, и даже бока тебе намяли).

Может быть, и все эти три сваи, на которых стоит русский человек, оттого глубоко вбиваются в землю, что самая русская почва мягкая, свежая, девственная и, стало быть, податливая.

Так пускай себе авоська вьет веревки, а небоська петлю закидывает. Пускай досужие люди в городах, в теплых и светлых покоях, при обеспеченной жизни умозаключают о том, что эти три сваи суть живые силы, действующие будто бы даже как самостоятельные существа. Пускай охотливые люди, стоя в беззаботной сторонке и с безопасного края, строят на этом явлении свои отчаянные теории, — с них за это податей не берут, а еще самим за такой труд платят деньги. Обвиняемым самим видно яснее других, что эти три родные «набитые» братья всегда вместе, всегда друг другу помогают и живут в вековечных и близких соседях, — никак с ними не развязаться и не разделиться: помогайте, пожалуйста, вы, умные люди! Самим никак не сладить, когда русаку и возрастать приходится на авось, а придя в полный возраст и принявшись за свой ум, ежедневно видеть и убеждаться, что «авосевы города всегда стоят негорожены, авоськины дети бывают не рожены» и «авось да небось к добру не доводят». Идите на подмогу с наукой и искусствами, а не с напрасным обвинением и насмешками. Сам народ давно сказал, что «немудрено жить издеваючись, мудрено

жить измогаючись». Привычно винят больше и чаще всего в наглядном и доказанном несчастье и, пожалуй, пороке русского человека его

2. ЗАДНИЙ УМ

По объяснению довольно известной пословицы — это то, что у немца напереди разум, как высшая познавательная способность, помогающая изобретать и приводить то в исполнение, развитая наукой нравственная сила, довольно очевидная в мастерствах и художествах. Конечно, за немца в народном представлении сходит тут всякий иноземец без разбора: механик англичанин, француз парикмахер, итальянец с шарманкой и обезьяной и настоящие германцы: «штуки — шпеки немецки человеки». Отсюда поголовно исключаются все азиаты, но укрепилось убеждение, что «у немца на все струмент есть и он без штуки и с лавки не свалится», конечно, без рассуждения о том, что иноземный мастер приладился производить одну только известную работу, которую, не скучая и с постоянством, исполняет целую жизнь, оттого в ней силен и отчетлив. Русскому, за скудостью специальных знаний, за неразвитием экономической теории разделения труда, когда одному рабочему всю жизнь приходится вытачивать одни только часовые зубчатые колесики, а другому пружины, — русскому велела судьба поспевать всюду, на всякую работу, о которой до того он и не помышлял. Особенно доставалось круто в походной жизни солдату и офицерскому денщику, которым доводится подвергаться ежедневным эк-

заменам по всем видам немецких ремесленных цехов. При таких условиях нечего удивляться тому, что развивалась низшая познавательная душевная способность: догадливость или находчивость, — то, что привычно называется сметкой. И впрямь выходит так, как образно подсказывает поговорка, основательно убеждающая в том, что до чего доходит немец разумом, до того русский вынужден доходить глазами: первый изобретает, второй перенимает. Зато уже эта переимчивость от долгого и частого употребления в свою очередь доведена до изумительных и поражающих размеров. Она же, в ожидании чужих образцов и готовых примеров, и обленила. Выродился тот задний ум, в котором откровенно сознаются и говорят, что если бы он, как у немца, стал у русака напереди, то с ним бы тогда и не сладить. Без того только одни крупные утраты. Задний ум всегда рассчитывает на память и в ее запасах и приобретениях ищет уроков и руководства. При виде успехов новых изобретений, он труслив и недоверчив, становится в тупик и, придя в себя, начинает разбираться в прошлом и глубоко задумается в то время, когда требуется немедленный ответ. Дело не ждет, а задний ум все медлил, копался, осматривался — и упустил время. Не воспользовавшись благоприятным моментом, он многое потерял. Этот-то роковой случай и засчитывается в упрек, и задний ум подвергся насмешке, когда, по усвоенной привычке, ввиду неудачи и осязательных потерь, остается хозяину его развести руками, преклонить голову, и всю пятерню запустить в волоса и почесать ей затылок. Сюда именно и поместило воображение наблюдателей этот задний ум, и за дурную

привычку, усваиваемую с детства, нарекли ему такое характерное и остроумное имя.

Прожитым опытом, как оставленным богатым наследством, действительно обеспечен русский человек. Хотя он и утешается, и оправдывается тем, что «заднее (то есть прошлое) — божье», но говорят сторонние люди, более наблюдательные и знающие: «Бей русского — часы сделает»: пора отставать от старых замашек замыкаться в правилах изжившей свой век прадедовской науки и браться за ум. «Мужик хоть и сер, да ум его не черт съел». Он только медленно работает, потому что мало упражнялся в отвлечениях, а под лежачий камень вода не течет. На что мы мастера и большие искусники, это — *ругаться и драться*.

3. РУГАТЬСЯ И ДРАТЬСЯ

Не в исключительный упрек нашим газетам и загульным вечеринкам, а в полную откровенность следует признавать эту дурную привычку за наше родовое и племенное свойство. Привычка эта доведена до сквернословия, в искоренении которого бессильны всякие меры включительно до попыток современного благотворительного общества распространения духовно-нравственных книг и брошюр. Сотнями тысяч разносится и раздается даром, расклеивается и десятками тысяч покупается за семитку печатное на листе и за трешник в виде брошюры, не говоренное Златоустом поучение, а русский человек тем не менее, что раз выговорил, на том и уперся. Он говорит: не выругавшись, и

дела не сделаешь; не обругавшись, и замка в клети не отопрешь. В первом случае не жаль бранных слов для других, во втором — нет пощады и самому себе. В обоих же, как и во всех прочих, на брань слово очень легко, но дешево покупается. В виду опасностей, при горячке в спешных работах лучше затыкать уши тем, у кого они нежно устроены, и проваливаться сквозь землю. Иноземный моряк в бедовое время плавания становится смиренным, молчаливым и сумрачным, как те самые темные тучи, которые знаменуют опасность, — в нашем старинном флоте на то же время нарождались такие в ругательствах искусники, что следует зачесть им это мастерство в богатырство.

Везде чуется накипевшее на сердце недовольство, которое обуздано как будто лишь одними случайными обстоятельствами, но выжидает, однако, повода и пользуется им для срывания с сердца. Затем опять терпение в молчании, мотанье на ус, видимое равнодушие и обманчивое безучастие к совершающимся событиям, то меланхолическое «себе на уме», которое также обращают в упрек и осуждение, но которого все-таки побаиваются и испытавшие его на деле, очень серьезно и основательно, и уважают в то же время, зная, что это исторический продукт и законный способ действий. «Себе на уме» учится у решительных и умелых, выслушивает опытных и откровенных, выжидая своего времени, держит ухо востро и, выходя на дело, редко уже ошибается. В значении самозащиты и образа действий в жизни, это — одна из самых характерных черт русского народного характера.

В старину (как свидетельствуют о том народные былины) соберутся, бывало, могучие богатыри к ласковому князю за почетный стол. Рассказывают о своих удалых подвигах, высчитывают, сколько побили злых, поганых татар, сколько душ христианских из полону вывели, испивают чары зелена вина, истово ведут речи по ученому, чинно чествуют гостеприимство, величают хлебосольство, пируют — проклажаются. И сидеть бы так до полуночи и до бела света. Да один через край выхвастался, не по-русски и не богатырским обычаем повыступил, — как стерпеть?

У нас, на Руси, прежде всякого дела не хвастают,
Когда дело сделают, тогда и хвастают.

Хвастуны — не в наших нравах среди смиренного житья и молчаливых подвигов. Таково у нас вековечное правило: собой не хвастай, дай наперед похвалить себя людям. Разрешается хвастать только при сватаньях, а смиренье — всегда душе спасенье, Богу угожденье, уму просвещенье. Этою добродетелью русский человек многое выслужил и еще больше того получил на свой пай, в наследие и про обиход.

Не спускали богатыри вины виноватому, попрекали его насмешками, наказывали ругательствами, не смотрели на то, что княгиня Апраксеевна сама на пиру сидит. При этом не разбирали и старых заслуг и великих богатырских подвигов. На что были славны богатыри Алеша Попович и Чурила Пленкович, а ни тому, ни другому, ни третьему не было ни прощенья, ни снисхожденья.

Говорили Алеше Поповичу:

— Ты хвастунишка, поповский сын!
А живи во Киеве со бабами,
А не езди с нами по чисту полю!

Упрекали Хотену Блудовича:

— Отца-то у тя звали блудищем,
А тебя теперь называем уродищем.

Даже Настасья Романовна не утерпела, при женской скромности и смирении, чтобы не выбранить даже братца родимого, почтенного старца Никиту Романовича:

— Ай же ты, старая собака, седатый пес!

И даже богатырскому коню — безответному существу — нет прощения. Идет Добрыня на подвиги, а конь спотыкается не у места и не вовремя. Добрыня ругается:

— Ах ты, волчья снедь! Ты, медвежья шерсть!

Чужих, пришлых хвастунов, старые богатыри не только обрывали и обругивали, но и жестоко наказывали. Попробовал было татарский богатырь на пиру поневежничать: есть по-звериному, пить по-лошадиному и притом еще похваляться и хвастаться, а у него косая сажень в плечах[1]. На него за то напустили не какого-нибудь храброго богатыря, а

---

[1] Впрочем, эта гипербола слишком сильна, особенно для людских плеч, и в живой речи ей злоупотребляют неосновательно: косую сажень исстари принято считать от большого пальца вытянутой левой ноги по диагонали человеческого тела до конца указательного пальца правой руки (или наоборот): тут около трех аршин. Более близкою к правде отчасти окажется маховая сажень раскинутых крестом рук от среднего пальца правой до такого же левой: тут $2^1/_1$ аршина. Да ведь и притом, каков измеритель ростом.

мужичонку плохонького, ростом маленького, горбатенького, худенького, хромоногонького, в полное посмеяние и надругательство. Однако тот татарина из тела вышиб, по двору нагим пустил. Бились они и боролись всякий своим способом (какая же ругань без драки?) А русская борьба отличается:

На ножку перепадает,
Из-под ручки выглядает.
Бьет правой рукой во белую грудь,
А левой ногой пинает позади.

Русская борьба — на два манера, по условию и по обычаям: в обхват руками крест-накрест, — левой рукой через плечо, правой под мышки или под силки, а затем, как усноровятся. Либо, припадая на колено, мечут через себя, либо подламывают под себя, либо швыряют на сторону и кладут набок и на спину через ногу. По другому приему, с носка, в прихватку, берут друг друга одной рукой за ворот, а другой не хватать. Лежачего не бьют, — лежачий в драку не ходит; мазку (у кого кровь показалась) также не бьют. Рукавички долой с рук. В сцеплянке, то есть в одиночной схватке, бой бывает самый жестокий, потому что ведется врассыпную, а не стена на стену, где не выходили из рядов. В единоборстве иногда просто пытают силу: «тянутся», садясь наземь и, упершись подошвами ног, хватаются руками за поперечную палку и тянут друг друга на себя. Иногда палку сменяют крючком указательного пальца. Татарская и вообще степная борьба ведется также по-своему: татары хватаются за кушаки и левыми плечами упираются друг о друга; перехватывать руками и подставлять носки не разрешается. Дру-

гой способ (у калмыков) совсем дикий: сходятся в одних портах без рубашек, кружатся, словно петухи, друг около друга; затем, как ни попало, вцепляются и ломают один другого, совсем по-звериному, даже как будто бы и по-медвежьи.

Иной и крепок, собака, не ломится,
А и жиловать татарин, — не изорвется.

С дикими ордами старинные русские люди иначе и не начинали, как единоборствами, и не кончали споров без драк врукопашную, стена на стену, когда еще не знали огненного боя, а ведались только лучным боем (стрелами из луков). Также стена на стену, на общую свалку хаживали предки наши, когда не устанавливалось ладов и мира между своими, как бывало у новгородцев с суздальцами, у южной Руси с северною, у черниговцев с суздальцами, у новгородцев с чудью и немцами, как теперь бывает на кулачных боях. И нынешние бои, как наследие старины, представляют расчеты по поводу накопившихся недоразумений и неудовольствий двух противных лагерей. Они и бывают трудноискоренимыми исключительно в старинных городах, где борются два направления: жители, например, одной стороны реки, разделяющей город, мелкие торговцы или пахари, живущие же по другую сторону — фабричные. Или правая вьет канаты, а левая торгует хлебом и фабрикует сукна, холст; в Казани одна стена — суконщики, другая — мыловары, и т. п.

Если не удавалось в старину отсидеться за деревянными стенами в городках и надо было выходить в чистое поле, выбирали для этого реку и становились ратями друг против друга. Суздальцы

против черниговцев стояли, в 1181 году, на реке Влене, таким образом, две недели, смотря друг на друга с противоположного берега, и переругивались. Припоминали старые неправды и притеснения, укоряли взаимно друг друга племенными отличиями, обращая их в насмешку и раззадоривая. Доставалось и самим князьям-предводителям. Южане обругали новгородцев «плотниками» и, похваляясь аристократическим своим промыслом — земледелием, выхвастывались силою, боевым искусством и богатством своим: «заставим-де мы вас себе дома строить», а по пути обозвали и новгородского князя «хромцом». Не оставались в долгу и эти. Собираясь на брань, они послали сказать врагам, также попутно посмеявшись над их князем: «да то-ти прободем трескою (жердью) черево твое толстое» и т. п. Точно также и под Любечем долго стояли новгородцы противу киевлян и не решались переправиться через Днепр, пока первые не выведены были из терпения обидами и грубыми насмешками. Киевский князь Ярослав точно также в ссоре с тмутараканским Игорем счел необходимым бросить в него бранное и оскорбительное слово: «Молчи ты, сверчок!» Начали биться. Битва кончилась победою Игоря, а народ стал с той поры в посрамление бранчивого, подсмеиваться над ним: «Сверчок тму таракан победил».

Так поступил и Мстислав тмутараканский, сын св. Владимира, еще в 1022 году, согласившийся побороться с Редедей, косожским князем, по свидетельству «Слова о полку Игореве». — «Для чего губишь дружину? — говорил Редедя. — Лучше сами сойдемся бороться, будем

биться не оружием, а борьбою». Боролись крепко, боролись долго. Мстислав стал изнемогать: Редедя был велик ростом и силен. Взмолился «храбрый» Мстислав к Пречистой Богородице, обещая построить во имя ее церковь, — собрал все свои силы и ударил врага об землю. Потом вынул свой нож и «зареза Редедю пред полкы косожскими».

С тех давних, первобытных времен перекоры и всякого рода переругивания в дешевой форме вызова и задоров или собственно «брань» стала употребляться, подобно слову «битва», в переносном значении, для замены слов «война» и «сражение». На самом деле существовал издревле особый порядок. За бранью следовала или «свалка» врукопашную, или «сшибка» на кулачки, или даже и прямо потасовка, как схватка за святые волоса, и в этом удобном виде поволочка, лежа на земле или стоя на ногах, из стороны в сторону, с боку на бок, пока кто-либо не ослабнет первым. Брань одна или окончательно решала спор, или разжигала страсти других враждующих до драки, когда они вступали в дело, принимая участие и сражаясь всем множеством. Частные и отдельные схватки переходили во всеобщую свалку, «завязывалось сражение», то есть сильное поражение насмерть ударами или оружием. Таковое несомненно должно, с разгаром страстей и общим одушевлением до самозабвения, перейти в подлинный «бой». Побоище делается повсюдным, раздражающим зверские инстинкты при виде пролитой крови и увечий. В конце концов настоящая «битва» объемлет все поле сражения. Здесь уже принимают участие не только отдель-

ные полки и отряды, но целые армии, по́лчища[1], со всеми современными приемами баталии включительно до батального огня, то есть такого, когда ружейная и пушечная пальба производится без команды, беспрерывно, пока не прогремит барабанный отбой либо не расстреляются из сумок все запасные патроны, а за сим и неизбежные последствия, то есть либо победа Петра Великого на Полтавском поле и побой Карла XII, которые вспоминаются до сих пор церковным празднеством — благодарственным молебном со звоном — 27 июня, в день Самсона странноприимца. Точно также — либо Бородинское побоище, не указавшее с точностью перевеса сил сразившихся, русских с французами, на этом поле в Можайском уезде Московской губернии; либо Мамаево побоище, которое ввергло всю Русь в продолжительное рабство и оскорбительную зависимость от диких орд. Надо было пройти долгому времени, чтобы последнее великое несчастье народа могло благодушно превратиться в насмешливое выражение и шуточный укор. Они обращаются в таком виде к тем людям, которые беспутно ведут в доме хозяйство и, производя ненужные перевороты, достигают страшной неурядицы и даже полного имущественного разгрома со ссорами, драками и следами боевых знаков в виде синяков, желваков, колотых ран с рассечкой и ушибных подкожных и

---

[1] С переносом ударения это слово получает двоякое значение: полчище значит больший полк, имеющий число людей свыше определенного количества и по́лчище — сильная рать, могучая сила — армия.

легких царапин ногтями, и т. п. Где вам с нами «битися-ратитися, мужики вы лапотники, деревенщина-засельщина, воры-собаки, голь кабацкая!» А тем временем по полям ходит ветер, все подметает и разносит: брань на вороту не виснет и в боку не болит, а бранят — не в мешок валят. Пьяный мужик и за рекою бранится, да ради его не утопиться; не кидаться же, в самом деле, в воду от лихого озорничества: вон собака и на свой хвост брехает. Бывало так, что соседи досыта наругаются, отведут душу, да на том и покончат и разойдутся: так нередко случалось у новгородцев с суздальцами. Затевать долгие и большие бои было невыгодно: одни без других жить не могли, потому что жили частыми обменами и вели живую торговлю. У новгородцев водились товары на всякую руку, вывезенные даже из-за моря, у суздальцев на зяблую и мокрую новгородскую страну заготовлялся хлеб-батюшко. Закичатся новгородцы — суздальцы захватят их торговый город и складочное место Торжок, и запросят купцы у пахарей мира по старине, с крестным целованием. Тогда обходилось дело и без драки, без рукапашных схваток, без лучного боя. Заломается суздальская земля — новгородцы наймут рати, накупят оружия, вызовут недругов с очей на очи, поругаются — отведут душу. Да надо же и подраться — «сердце повытрясти». Ругательствами подбодрились, охочих витязей на борьбу выпустили — еще больше разожгли сердца. Когда попятили богатырей на стену, дрогнула вся стена, как один человек, и закричала свой «ясак» — обычное заветное слово (новгородское «за св. Софию», псковское «за Троицу» и

т. п.), и пошла стена на стену. Произошел бой «съемный»: войска сошлись вплоть и сразились врукопашную. Всякий здесь борется не силой, а сноровкой и ловкостью: схватясь с противником, старается свалить его наземь и побоями кулаками, и ударами дубинами или холодным оружием довести его до того, чтобы он уже не вставал на ноги.

И не слышно было в бухтаньи да охканья!
И взял он шалыгой поколачивать,
Зачал татарин поворачиваться,
С боку на бок перевертываться.
Прибил он всю силушку поганую, —
Не оставил силушку неверную на семена.

В Липецкой битве, на берегах ручья Липицы, новгородцы не согласились биться с суздальцами на конях, спешились и разгорячились до того, что сбросили с себя порты (шубы, рубахи) и сапоги; стали сражаться налегке, врассыпную. Суздальцы побежали. Вопль и стоны изломанных, взбитых и раненых слышны были за несколько верст. В другой раз, когда Александр Невский наказывал немцев за дерзкую выходку, тоже за похвальбу «покорить себе славянский народ», новгородцы смяли их с берега на лед, жестоко бились на нем врукопашную, поразили врагов наголову и потом гнали их по льду на расстоянии семи верст. Когда тот же Александр Невский бился со шведами на берегах Невы, витязи его так разгорячились в битве, что совершили богатырские подвиги. Один новгородец, преследуя неприятелей, спасавшихся на корабль, вскочил на доску, был сброшен с нее в воду вместе с конем, но вышел из воды невредим и снова ринулся в битву. Другой пробился к злато-

верхому шатру шведского предводителя и подрубил его столб: шатер рухнул, что обрадовало русских и навело уныние на врагов.

Из этих взаимных бранных перекоров, разжигавших на битву или собственно бой (оттого они часто в старину назывались «бранью»: «броня на брань, ендова на мир»), остались многочисленные следы в так называемых присловьях, где одна местность подсмеивается над недостатками или пороками другой. Иные из этих насмешливых прозвищ до того метки и злы, что немедленно вызывают на ссору и драку современных невинных потомков за грехи или недостатки виновных предков. Обоюдные перекоры эти так в то же время разнообразны, что для изучения и объяснений требуют очень большого самостоятельного труда, который мною и представлен в газете «Новое Время», под заглавием: «Как наш народ себя разумеет».

Впрочем, собственно браниться, то есть в ссоре перекоряться бранными словами, по народным понятиям, не так худо и зазорно, как ругаться, то есть бесчестить на словах, подвергать полному поруганию, смеяться над беззащитным, попирать его ногами. С умным браниться даже хорошо, потому что в перекорах с ним ума набираешься (а с дураком и мириться, так свой растеряешь). Зато, кто ругается, под тем конь спотыкается.

Хотя лучше всякой брани: «Никола с нами!», тем не менее забалованная привычка часто и говорить, и делать в сердцах, и даже, не сердясь, ругаться и без всяких поводов браниться, — привычка, как видим, вековечная, досталась нам от предков и укрепилась так, что теперь с нею никак

уже и не развязаться. Еще в глубокую старину народ убедился в том, что брань на вороту не виснет, и это укрепил в своем убеждении так твердо, что уже и не сбивается. В позднейшие времена он еще больше утвердился на том, когда, по указу государеву (Екатерины II), и заглазная брань отнесена к тому же разряду. Сказано, что она виснет на вороту того человека, который ее произнес. Затем известно, что, не помутясь, море не уставится, без шуму и брага не закисает, стало быть без брани, когда далеко еще не все у нас уряжено, скроено и сшито, и приходится все перекраивать, а сшитое распарывать, без брани — не житье: как ни колотись, сколько ни мучайся. Соблюдай лишь при этом одно святое, незыблемое правило: «Языком и щелкай и шипи, а руку за пазухой держи», хотя, однако, одною бранью и не будешь прав.

4. ГОВОРИТЬ

По-русски говорить — это не одно только умение изъясняться на своем родном языке, что не очень легко, на таком богатом и поэтому очень трудном. Обыкновенно удивляются, откровенно сетуют и наивно высказывают жалобы наши матросы, например, когда во время плаваний при обращениях с туземцами, требований их те не понимают и желаний не исполняют.

— А ведь я ему русским языком говорил!

Несмотря на глубочайший комизм подобных жалоб и, по-видимому, необычайное простодушие темных людей, здесь в сущности заключается не-

что более серьезное, оправдывающее призрачную наивность. Кругосветный матрос, сибирский казак, закавказский солдат глубоко убеждены в том, что, сказавши по-русски, они выразились точно. Это — не по самомнению, что только на русском языке можно выражаться таким образом, а по привычке, сделанной с малых лет — говорить прямо, решительно и коротко. Этот способ непривычным посторонним людям кажется грубоватым и неприятным, именно потому, что простые деревенские люди говорят мало, не привыкли даром пускать слова на ветер. Не прибегают они к иносказаниям и не знают льстивых подходов, обходных приемов и подслащенных слов, предоставляя это городским людям. К словоохотливым из заезжих они прислужливы, но опасаются им вполне доверяться. Болтуны из соседей и своих не пользуются никаким уважением, считаются пустыми и бездельными людьми, зачастую подвергаясь насмешкам и обидному презрению. Во всяком случае, по деревенским понятиям, болтуны с неизбежною примесью хвастливости и рисовки собою, «бахвалы», по коренному народному выражению — люди неумные, дураки: «Язык болтает, а голова не знает». Языком молоть спуста одно и то же, что деньденьской по базарам болтаться без всякого дела и в то же время другим мешать дело делать. Пословичные приметы ведут даже к таким решительным и смелым заключениям: «Коли болтун, так и врун; врун, так и обманщик; обманщик, так и плут; плут, так и мошенник, а мошенник, так и вор». Между тем иначе как просто, ясно и коротко, по народному убеждению, и говорить по-русски нельзя. Об-

разный язык роскошно снабжен для того всеми данными: старайся лишь ими пользоваться. В противном случае, в глазах русского человека и, по выражению тех же матросов и солдат, будет уже «на манер французский и, может быть, даже немножко и по-гишпанистей».

Впрочем, не одни деревенские люди о родном языке такого строгого понятия.

— Кажется, по-русски я тебе сказал; кажется, русским языком я тебе говорю! — с сердцем и сильным упреком сплошь и рядом и ежедневно обращаются образованные люди к бестолковому или лентяю, не пожелавшему или позабывшему исполнить поручение или приказание. Чего уж хуже: стоит ли после того с таким человеком язык понапрасну трепать? — Очевидно, что с ним нельзя вести никакого дела.

Отсюда же и «отрезать по-русски» — значит сказать решительное и окончательное, прямое и бесповоротное слово, напрямки, начистоту, по всей голой правде. По правде русак хочет жить, но мало ее видит, про нее только слышит, и целый свой век тужит об ней. Один из самых честных и умных князей сказал своему народу, что «не в силе Бог, а в правде». Ему охотно поверили. Потом, немного осмотревшись, узнали правду сидорову да шемякин суд, затем познакомились с той, которую в Москве у Петра и Павла выбивали длинными прутьями из пяток, когда человек был подвешен за руки на дыбу. Мимоходом в то же время русские люди узнали правду «цыганскую», которая оказалась хуже всякой православной кривды, да «греческую» — еще страшнее («коли грек на правду

пошел, держи ухо остро!»). А с тех пор как стали заводиться новые порядки, русак решил, что теперь вся правда — в вине, и по-прежнему слезно горюет: «и твоя правда, и моя правда, и везде правда, а нигде ее нет». Он охотно ее ищет, и стал, однако, очень недавно находить — в суде. Последнее приобретение русское пришлось теперь кстати и, что называется, ко двору, тем более что давно уже откровенно выговорилось: «За правду не судись: скинь шапку, да поклонись». Недаром же и первый свод законных постановлений носит название «Русской Правды» еще с 1016 года.

5. ПРИНЯТЬ И УГОСТИТЬ

Вот здесь наша слава, честь и хвала безраздельные и беспримерные. Если обойти весь свет и потолкаться у всех народов, даже между азиатскими, которые в особенности отличаются гостеприимством и у которых оно не только народный обычай, но и религиозный закон, — подобной русской готовности и умения обласкать заезжего и захожего гостя положительно нигде найти нельзя. Широко раскрыты наши ворота для званных и незванных, как бы подчас ни были неудобны последствия, и как бы ни разнообразились причины, породившие подобное явление. Русское радушие оттого велико и сильно, что, народившись среди бесприветной природы и в бесприютной стране, выучилось ценить чужую нужду в посторонней помощи и понимать опасности тех, кто стучит в окно и просит приюта. Начало этому доброму и высокому чувству лежит во мраке тех

далеких времен, когда заселялась русская земля, и передние переселенцы, испытавшие суровую школу передвижения по дремучим, необитаемым лесам, выучились помнить о задних. Десятки похвальных обычаев, обращенных на пользу бесприютных и заблудившихся, сохранились во всей целости до наших дней, несмотря на то, что круто изменяется образ нашей великой земли. Житейские невзгоды в первобытной суровой стране, смирившие человека и научившие его одновременно общинному быту, артельному труду и круговой поруке, положили в основание характера беспредельное добродушие. С последним же, как известно, непосредственно соединяется великая христианская заповедь любви, проявляющаяся участием, состраданием и готовностью помощи не только тем, которые открыто просят, но и тем, которые неслышно страдают и гордо молчат. Так называемая тайная милостыня темною ночью неслышной походкой, осторожно спрятанной рукой так же деятельна и распространена, как и подача на выходах из церквей, на базарных и ярмарочных площадках, и ранним утром, из домашнего окна при дневном свете, громко вымаливающим и выстукивающим просьбу в подоконья. Из-под них, как известно, ни один и ни разу не отходил еще без святой Христовой милостыньки. Если мы, между прочим, обратим внимание на то разнообразие приветов, ласковых встречных слов, из которых, говоря по-книжному, составляется целый словарь, — мы наглазно убедимся, сколь богато русское сердце и как роскошно разлито в нем во всем своем разнообразии благородное сочувствие и участие приветливым словом и делом, ввиду бессилия и страданий

соседа. Не одному тяжелому, но и всякому малому труду посылаются встречным и мимоходным свидетелем добрые пожелания успехов и Бога на помочь. Опасные моменты в жизни и все преткновения предусмотрены и взыскиваются словом живительным и подкрепляющим упавшую энергию. Вовремя сказанное слово умеет и плечам придать новую силу, и уменьшить боль в ноющей ране. Заявление теплого сострадания совершает великие чудеса там, где были потеряны всякие надежды и наступало время рокового отчаяния.

Складные и необычайно разнообразные приветствия становятся бесконечными в те времена, когда русский человек, вообще «гулливый» (по тому же пословичному признанию), распахнет душу и выставит праздничные хлеб-соль. Собственно праздничных пиров у русака меньше трех дней не бывает, словно и впрямь в честь святой Троицы. «Добро жаловать» и «милости просим» получают такое разнообразие и оказываются в таком широком применении, что нет возможности уследить до конца. Русский человек вообще терпелив до зачина и всегда ждет задора, но лишь дождался помощи в товарищах — «ни с мечом, ни с калачом не шутит». Каков он в бою, таков и на пиру, где, по пословице: «Пьют по-русски, но врут по-немецки». В таком случае выражение «принять по-русски» распадается на двоякий смысл: в бою и в недоброе время — это значит принять, и прямо и грубо расправиться, пробрать, угостить так, что покажется солоно. В мирное время и на счастливой час — это значит принять с душой нараспашку и с сердцем за поясом, и угостить до положения риз

(по семинарскому выражению), и по крестьянскому: «Что было, все спустил; что будет — и на то угостил!»

6. БОЖИТЬСЯ

Призыванием имени Божьего во свидетельство сказанной правды и самою клятвою как поличным доказательством у нас на Руси зачастую злоупотребляют так, что божба потеряла подобающую ей силу. Тем не менее на нее предъявляют требования изверившиеся люди и в ней ищут успокоения совести и подкрепления своего убеждения, когда другие пред ними ро́тятся и клянутся. Делается так или по дурной привычке, или из личных корыстных видов, но во всех случаях вопреки евангельской заповеди, повелевающей говорить только да или нет, и в полном согласии с древними, далеко не покинутыми приемами и обычаями языческих времен. Проповедники слова Божия запрещали употреблять в клятве имя Бога, а у нас «ей-Богу!» стало равносильно евангельскому «ей-ей!», простому «да», и идет оно мимо ушей, и не вменяется уже ни во что. Не больше верят и таким тяжким заклинаньям, как «лопни мои глаза, развались утроба на десять частей», как «с места не встать — света белого (креста на себе) не видать», как ссылка на телесную сухотку: «отсохни руки и ноги; всему высохнуть; иссуши меня, Господи, до макова зернушка»; как базарное перед большими праздниками: «праздника честного не дождаться, разговеться бы Бог не привел и куском бы мне подавиться». Не больше веры и тому,

кто скажет: «вот Бог видит» и при этом наклонится и сделает такое движение правой рукой, как будто берет горсть земли и затем подносит руку ко рту, как будто бы ест эту мать-сырую землю (а иные даже и на самом деле едят ее). Бывают, однако, и такие клятвы, которые не признаются «малыми», но настоящими «тяжкими», судя по условным понятиям и местным вкусам. Иному верят, если он просто удостоверяет, что у него сегодня ни пито, ни едено, что у него крохи во рту не бывало, что у него только вода на лице была и т. п. Клятва своими детьми почитается везде одною из самых убедительных и строгих. Ее не вменяют в правду только в устах цыган, над которыми за то и подсмеиваются зло, говоря: «цыган божится, на своих детей слыгается» или «шлется цыган на своих детей».

Усердно божится и клянется купец за добротность товара, в котором он знает толк, перед тем бестолковым и слепым покупателем, которому понравился товар по внешности, но неизвестен по внутренним качествам. Тем охотнее божится продавец, чем больше покупатель обнаруживает готовности купить, не умея разобраться в добротности неотложно необходимой вещи. В торговле столько обманов в подделке, столько казовых концов, а стало быть, обширное поле для ошибок и промахов, что недоверие невольно ищет себе поддержки и оправданий в божбе и тяжких клятвах. Некоторые продажные вещи до того обманчивы и так подделаны, что на них может «обмишулиться» самый опытный глаз и привычная ощупь. Затем, чем темнее продаваемая вещь, тем больше недоверия покупателей и больше клятв от продавцов, которые «поневоле кля-

нутся, коли врут». Так, например, нет ничего труднее купить хорошую лошадь (у цыган даже совсем не советуют их покупать). Не покупают коня деньгами, покупают всего чаще удачей. Кто бывал на конных торжках и ярмарках, тот легко вспомнит и вполне согласится с тем, что нет больше шуму, отчаянной божбы и бессовестных клятв, как именно на этих местах, где действуют наглые и дерзкие на словах барышники. Они и язык особенный выдумали для своих плутней, и по конюшням держат целые аптеки и химические лаборатории. Вот почему сталось так, как подсказывает верно сложенная поговорка: если барышник «не божится, то и сам себе не верит, а если божится, то люди ему не верят». В старину будто бы купцы имели обыкновение божиться вслух, а про себя отрекаться от выговоренной клятвы. Теперь замечают, что совсем вывелась из употребления эта старинная «отводная» клятва, задняя мысль, с отводом от себя по такому способу: «лопни глаза» (например, бараньи), «дня не пережить» (собаке), «отсохни (вместо руки) рукав» и т. п. Теперь говорят: «Люди праведно живут: с нищего дерут, да на церковь кладут». Теперь стоит лишь пройти мимо мест продажи и купли, чтобы услыхать самую разнообразную и беззастенчивую божбу на всякие лады, перемешанную с грубыми перекорами и сильною руганью.

Ввиду такой несостоятельности божбы и клятвы при неверном расчете на то, когда правда себя очистит, придуманы разные способы острастки, чтобы добиться уверенности в зачуровываемой голой истине. Самоед никогда не согласится соврать, стоя на шкуре белого медведя и держа его голову

в руках: он убежден еще, что за показную ложь съест его этот зверь при первой же встрече на Новой Земле. Старинные казаки боялись целовать дуло заряженного ружья, и теперь присяга на ружнице у донских казаков употребительна во многих станицах. Она считается вполне убедительною и страшною, если у ружья со взведенным курком поставлена будет святая икона. То же снимание со стены иконы и целование ее при свидетелях почитается еще клятвенным доказательством там, где ружье не играет такой большой роли, как у казаков, и где думают, что снимать для клятвы икону значит «потянуть руки на Бога». Икона на голове, а кое-где вместо нее кусок свежего дерна, также иногда служит бесспорным доказательством настоящей правды, как самая тяжкая божба (о чем я уже имел случай говорить в другом месте). У белорусов до сих пор живо выражение «землю есць», то есть клясться землей — и не исчез обычай в доказательство истины класть в рот щепотку земли и жевать ее. Тверда и неизменна только та клятва, которую несут миром, когда идут круговой порукой, то есть стоят все за одно и каждый за всех.

7. ОДЕВАТЬСЯ

В наглядное доказательство того, насколько изменяется даже на нашей памяти не только внутренний смысл народной жизни, но и внешние отличительные этнографические признаки русского человека, достаточно остановиться на одежде, и здесь, не уходя в дальнейшие скучные подроб-

ности, ограничиться, например, лишь одним головным убором. Не говоря об исчезнувших уже женских киках, кокошниках, повойниках и сороках[1], — более устойчивые мужские шляпы становятся теперь также большою редкостью.

До освобождения крестьян на глазах у всех было больше десятка сортов этой головной покрышки, носивших отличительный покрой и соответственные названия. По ним опытный, приглядевшийся глаз мог уверенно различать принадлежность владельцев их известной местности: шляпы, как наречие и говор, служили верными этнографическими признаками и точными показателями. Весьма многие, несомненно, помнят классические «грешневики» на головах московских извозчиков из подмосковных деревень, разъезжавших в зимних санках и на отчаянных клячах. Помнят и базарную общеизвестную «ровную» шляпу, где тулья была одинаково равна около дна или верха и около полей нанизу. Солидные старички и до сих пор ее не покидают, дорожа ее удобствами именно потому, что «дело в шляпе» — в буквальном смысле поговорки: хранится синий ситцевый платок с завернутыми в нем деньгами, личным паспортом, нужными бумажонками, со счетами и расписками, с письмом от баламута-сына из Питера и прочее. Молодежь требовала на эту ровную шляпу цветную ленточку с оловянной раскрашенной пряжкой. Из нее же выродилась «чере-

---

[1] Последний женский убор сорока — некрасивый — был особенно распространен. В. И. Далю еще удалось видеть сороку.

повка» для всей новгородчины — не слишком высокая, а середка на половинку: стопочкой и коробочком. Некоторые местности у семеновских и макарьевских мастеров-кустарей требовали ломать эти ровные шляпы по самой середине, другие делать перехваты ближе ко дну для украшения их в этих местах лентами и пряжками. В первом случае выходили шляпы «с переломом», во втором «с перехватом», где ленточка, пришитая ближе кверху, спускалась к полю накось, как у рязанцев. Для Поволжья валяли из овечьей же шерсти, заваривали в кипятке и сушили на солнце, вместе с теплыми валяными сапогами, шляпы «верховки» и шляпы «срезок» (пониже и пошире). Сваляют покрепче, чтобы войлок стоял лубом, наведут поля пошире (у верховки узенькие), подошьют лакированную кожу и, вместо ленты, кожаный ремешок, наведут пушок или ворсу — выходит шляпа «прямая» или «кучерская», на потребу этим важным и гордым городским людям. Изготовлялся в семеновских валяльных избах и ублюдок среди шляп, называвшийся полуименем «шляпок», и настоящие уроды по форме и покрою: «ровный шпилек» (ибо был еще «шпилек московский»), «кашник и буфетка». Ровный шпилек похож был на опрокинутый кувшин, в каких до сих пор продают в Москве молоко, а кашник имел поразительное сходство с опрокинутым горшком, в каких обычно варят щи и кашу. Для поволжских инородцев изготовляются особые шляпы: «чувашки», всегда черного цвета, и «татарки», всегда белые и некрасивые: либо грибом, либо первозданным колпаком, наподобие скифских (или тоже белорусских) магерок. Как под шляпами го-

родского фабричного дела, с широчайшими полями или крыльями, всегда легко и просто можно было видеть священников, так из-под «бриля» глядит серьезное, усатое и мужественное лицо малоросса. Одним словом — во всех этих и других неупомянутых случаях воочию подтвердилась истина изречении «по Сеньке и шапка» или «по Ереме колпак, по Малашке шлык». В настоящее время за этими и иными разновидностями народного наряда нашим ученым обществам для пополнения музеев приходится гоняться с трудом. Многое уже, как выражается сам народ, и прозевали, а что еще остается на виду, на все то надо, что называется, смотреть в оба. Всякие преобразования и улучшения последних десятилетий в самом деле всколебали коренную народную жизнь до самого дна, доведя ее даже до таких видимых мелочей. На смену старинных заветных шляп вышел даже в глухие деревни городской щеголь-картуз с лакированным светлым ремешком и шелковой ленточкой. Вместе с ним появилась, вместо балалайки, гармоника в руках франта при жилетке, дождевом зонтике, серебряной цепочке красносельского изделия и в смазных скрипучих сапогах. Вспомнилась мужичья шляпа как раз в то самое время, когда «Спирьки» и «Стрелочки» выступили на смену смолкающей не вóвремя, но, по-видимому, в очередь — бесподобной народной песне.

К изумлению, уберегается еще в обычаях прародительская стрижка волос «в скобку» наподобие буквы П, когда ножницы обрубают волосы в середине лба, а затем опять прямо по затылку кругом всей головы, обойдя уши для того чтобы они были

закрыты волосами. Надо ушам быть прикрытыми, чтобы не зябли, если больше полугода стоит холодное время, точно так же как по той же причине выгоднее на рубахах и полушубках запахивать грудь косым воротом, чем распашным прямым (усвоенным малороссами и белорусами). Впрочем, коренные русские люди, более дорожащие старинными обычаями и обрядами и придерживающиеся старой веры, стригутся все еще «под дубинку», в отличие от господской стрижки по-польски или по-немецки, то есть с косым пробором и висками, и от солдатской «под гребенку» (гладко, насколько захватят казенные ножницы). Староверский способ требует обруба волос ровного, кругом всей головы. При этом простригают макушку, то есть «гуменце», что делалось встарь на «постригах», когда отрокам княжеским наступал возраст возмужалости, и что производится до сих пор при посвящении священно- и церковнослужителей. Староверы упорно веруют, что такой прием облегчает достижение благодати свыше при молитвенных возношениях и земных поклонах, через открытое темя прямо в голову.

8. ПРИВЕЧАТЬ

Насколько придается народом цены и важности обычаю приветов и в какой мере они обязательны и требовательны во всем множестве подходящих неожиданных и обязательных случаев — может служить резким доказательством обращение среди грамотных в народе особых записей в виде образцов и руководств. Их можно встречать

отдельными статьями в различных письмовниках, издаваемых московскими книгопродавцами и обучающих вежливости и хорошему тону. Некоторые записи представляют собою любопытные кодексы старинных нравов, и в этом смысле они имеют большую этнографическую и историческую ценность. Жители городов, конечно, в особенности понуждались в этих указаниях для изъявления доброжелательства и ласковых слов, столь драгоценных для доброго соседства и дружелюбных отношений. На это досужая городская жизнь дает множество поводов и открывает широкий простор в различных бытовых случаях. Один из таких сборников, как памятка про себя и заметки про свой домашний и общежительный обиход, написан был жителем ярославского города Мышкина еще в 1779 году, и случайно отыскан Павлом Николаевичем Тихоновым. Он напечатал этот сборник в Ярославских Губернских Ведомостях 1888 году, и в нем четыре страницы принадлежат именно этому отделу «приветствий». Пользуясь отдельно изданной брошюрой, подаренной мне издателем, представляю несколько более характерных выписок с сохранением целости записей и их порядка.

«Женщина родит: «Слава Богу! Бог душу простил, а другую на свет пустил».

«Младенец некрещеный чихнет: крестись!»

«Младенец чихнет (значит уже окрещенный) — здравствуй: велик расти да будь счастлив».

«Младенец упадет с высокого: «Не плачь — Бог подушечку подложит».

«Ежели говорят нечто соблазняющее, а при том есть ребенок, то ему говорят: не слушай, где

куры поют, а слушай, где Богу молятся!» — Он или она итить должен вон».

«Учащийся грамоте входит к своему учителю и, стоя у дверей, говорит: «Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас!» Учитель говорит: «Аминь!» В старину ученик, войдя, кланялся: «Спасибо на аминь, на Иисусовой молитве».

Именинника Мышкинский сборник советует приветствовать: «Здравствуй в новой год». Священника привечать: «Батюшка, священствуй»; а этому отвечать: «Сын духовный, здравствуй!» — Когда у церкви благовест, надо вымолвить: «Глас Царя Небесного!» Кто вышел из церкви после исповеди, того обязательно приветствовать: «Поздравляю, избавясь от греховного бремени», — а ему ответно благодарить: «Грешник я, опять принимаюсь грешить. О невоздержность!»

Русский человек сказался в собирателе советов для тех, кто принимается есть новую новинку («первый поспевший плод»): «...должен перекреститься: Господи благослови; новая новинка, — старая брюшинка. Потом есть». Церемонный и почтительный или городской житель выразился, между прочим, и в таком наставлении:

«С получением чина. Поздравляю вас с таким-то чином, получа высокомонаршую милость, и желаю степень до степени выше дойти, и даруй Бог достойному достойное получить! — Благодарствую и желаю вам всякого благополучия. За Богом молитва, а за Государем служба не пропадает».

Записаны, между прочим, такие практические наставления-приветы: «У рыбаков не спрашивай:

нет ли рыбы? Хотя и множество рыбы, а откажут: нет. А всегда спрашивай: есть ли рыба? — Есть. Или: продай рыбы! — Купи».

Живущим на Волге гражданином предусмотрены и такие случаи, которые нам кажутся уже странными, но в то время имели всю силу исторического и бытового значения. Он записал себе на память и, видимо, другим в предостережение и живое поучение:

«Плывущее судно по реке, плывущему с судна люди говорят громко: «Мир. Бог на помочь вам». — «Бог на помочь», — отвечают. — А если разбойники, то отвечают: «Нам Бог на помочь!» (или молчат, не отвечают[1]. Разбойники, по овладении судном или вступя только на судно: «Сарынь на кичку!» По оному слову, всего судна бурлаки ложатся ниц на судне или, не слушая,

---

[1] В Мышкинском сборнике указаны и такие приветы, которые не требуют ответа, таков тем, кто ест новую новинку (зеленую кашу или новый хлеб): «Илье-пророку злат венец, а хозяину здравствовать!» — ответ не требуется («промолчит»). При этом следует заметить, что молитвенные возгласы, призывание имени Божия нигде не применяется столь часто, как ввиду вероятных опасностей при плаваниях по водам. Доказательство тому во многочисленном разнообразии, соответственно каждой местности. Не всегда одно и то же. Например, при подъеме якоря для плавания судна по Белому морю в Соловецкий монастырь кормщик говорит: «Благословите путь». Ему отвечают одни: «Святые отцы благословляют» и другие: «Праведные Бога молят». На Мсте, в начале опасных и грозных Боровицких порогов, лоцман, сняв шапку и перекрестясь, кричит: «Бог на помочь!» — Ему вторят: «Никола в путь». Когда барка остановится у Потерпелиц, в конце порогов, говорят: «Бог на помочь!» — откликаются: «Никола на стану» и т. д.

сражаются с разбойниками. Разбойничье ретирадное (когда разбегаются) слово: «Вода, вода».

Записал автор и такую заметку, кстати: «Приезжая к запорожцам, не входя в дом: «Пугу!» — Пугу услыша, ответствующее: «Поди смело в дом», а без того не ходи».

Иностранцам бросался в глаза этот обычай взаимных приветов и добрых пожеланий при встречах. Так, например, уже при Петре I живописец Бруэн, посетивший Москву, свидетельствует: «Русский, входя в дом другого, не переступит порога, не перекрестившись раз пять перед иконою и не прошептав: «Господи, помилуй меня» или иногда: «Даруй, Господи, мир и здравие живущим в сем доме». После сего обряда начинаются обоюдные поклоны, а наконец и разговор». И далее: «Когда они потчуют своих друзей, то таковое начинается обыкновенно с десяти часов утра и продолжается до часу пополудни, когда все расходятся для отдыха по домам» и т. д.

Этот же иноземец своеобразно засвидетельствовал и о русском гостеприимстве и хлебосольстве, которое равно было свято и в убогих хижинах, как и в царских палатах. «Чистосердечно думаю, — пишет этот Бруэн, — что в целой вселенной нет двора, особенно столь пышного, как российский, где бы частный человек мог найти такой хороший прием, о коем воспоминание глубоко врезалось в моем сердце». Петр поручил Меншикову этого редкого художника представить вдовствующей царице Прасковье и трем своим племянницам, дочерям царя Ивана, с которых просил написать портреты. Вот каков был прием: «Когда я подошел к царице,

то она меня спросила, знаю ли я по-русски? — На что князь Александр ответил отрицательно. Потом государыня велела наполнить маленькую чарочку водкою и предложила оную собственноручно сему вельможе, который, опорожнив, отдал в руки прислужнице, а сия, наполнив еще водкою, подала царице, которая предложила ее мне. Она также поднесла нам по рюмке виноградного вина, то повторено было и тремя малолетними княжнами. После сего большой бокал был наполнен пивом, который царица сама подала князю Александру, а сей последний, отведав несколько, отдал его прислужнице. Та же самая церемония была и со мною, и я также, поднесши сосуд к губам, отдал его назад: ибо при сем дворе, как я узнал после, нашли бы весьма неучтивым, если бы кто осмелился опорожнить последний стакан пива, предлагаемый хозяином или хозяйкою». Впоследствии, когда художник начал работу, ему пришлось убедиться в полном радушии: «...каждое утро с усиленными просьбами мне предлагали различные напитки и закуски, а нередко оставляли обедать, угощая даже мясом, хотя это было во время поста. В продолжение дня несколько раз потчевали меня вином и пивом» и т. д.

Я принялся было в одно время собирать эти приветствия как настоящие мимолетные крылатые слова, и всматриваться во все их разнообразие, но в том и другом случае и счет потерял, утомившись в поисках и погоне. Впрочем, большую часть этого сборника я успел разъяснить и напечатать в десяти номерах детского журнала «Задушевное Слово».

Вот, например, какие возможны сцены, когда употчеванные гости прощаются с хлебосольными хозяевами:

— На хлебе — на соли, да на добром здоровье! — заводит один.

Ему отвечают хозяева:

— Дай Бог с нами пожить да хлеб-соль поводить.

Бойкий гость подхватывает:

— Что в Москве в торгу, то бы вам в дому.

Находчивый хозяин спешит отблагодарить:

— В долгий век и добрый час! (то есть и вам-де тоже).

— Дай тебе Господи, с нашей руки да куль муки!

— Ваши бы речи да Богу в уши!

— Прощения просим!

— На свидание прощаемся. Живите Божьими милостями, а мы вашими.

— Путь вам чистый!

— Счастливо оставаться!

Затем хлопнула дверь и хозяева остались одни в доме, а гости разъехались.

В самом деле, подобное явление в народном обиходе и в живой речи чрезвычайно знаменательно как неизменный вековой обычай, не имеющий подобия ни у одного из других народов белого света. Начинаясь в глубокой древности, добрые приветы встречают простого русского человека со дня его рождения. Забывались старые, перерабатывались на новые и придумывались свежие, сообразно новейшим обычаям, но не покидались вовсе, не ослабевали. К былинному

привету, обросшему, так сказать, мохом: «Бог тебе помочь, оратаюшко, с края в край бороздки пометывати, пе́нье-коренье вывертывати, пахать, да орать, да крестьянствовати!» — присоседилось: «Чай да сахар милости вашей!» Сказавши себе, что «ласковое слово лучше мягкого пирога», наш народ сумел разнообразить и подсменять самое любимое и наиболее прочих распространенное, известное на всем лице православной земли русской приветствие «Бог на́ помочь».

Еще в самом раннем возрасте грудному младенцу сказываются эти ласковые приветы и добрые пожелания. Когда ребенок, освободившись от пеленок, потягивается и улыбается, — ему спешат пожелать и сказать:

— На шута потягуши, на тебя поростуши.

Когда моют ребенка в бане, обязательно приговаривают:

— Вода б книзу, а сам бы ты кверху.

Надевая рубашку, пришептывают:

— Сорочке бы тонеть, а тебе бы добреть.

И заговаривают заученным зароком, полученным от ворожей, когда спрыскивают водой от лихого взгляда, от сглаза:

— С гуся вода, с лебедя вода, а с тебя, мое дитятко, вся худоба на пустой лес, на большую воду.

На ком видят обнову, тому говорят:

— Платьице б тонело — хозяюшка б добрела (или «дай Бог износить, да лучше нажить!»)

Исходя из того простого практического убеждения, что добрый привет покоряет сердца, наш народ нашелся в ласкательных пожеланиях на

всякий случай, где только видит труд и, точно предчувствуя его неудачу, поощряет работающего намеком на то, откуда следует ожидать удачу. На починный добрый привет возвращается такой же благодарственный ответ. На то и другое требуется сметка, подготовка обучением не всегда по книжкам или писаным тетрадкам, а по общепринятому навыку, со слов и мимолетных образчиков. Про деревенский обиход из числа пожилых женщин и особенно из бойких вдов вырабатываются истинные профессора по находчивости в привете, — кажется даже до настоящих импровизаций. Обрядовая нужда (крестильная, сватебная, похоронная и т. д. в бесконечность) предъявляет сильное и неизбежное требование на мастериц этого рода, которые и являются в форме свах для веселых и бойких приговоров, и в форме повитух для руководства сложными приемами, обязательными для ребенка и роженицы, и в виде плачей или плакальщиц для горьких причитаний и воплей, по найму, на могилках по погостам.

Иная из таких опытная, находчивая и, что называется, присяжная, выйдет на деревенскую или сельскую улицу и начнет ласкаться, показывать свое досужество и доказывать мягкое, доброжелательное сердце даже до излишеств болтливого языка. Встретилась с соседкой: «Легки ли, девушка, твои встречи?» — и ответа не ждет, не нуждается (бывают и такие приветы и не для одних ненаходчивых и неприготовленных). Идет дальше. Тешет домохозяин сосновое бревно, ухнет, ударит топором и отрубит щепу: «Сила тебе в плечи!» — ответа также не требуется или довольно и «спаси-

ба» (спаси Бог и тебя, а слава Богу лучше всего). Иному: «Бог на́ помочь!» Другому: «Весело работать!» Навстречу гонят корову с поля: «Сто тебе быков, пятьдесят меринов: на речку бы шли да помыкивали, а с речки шли — побрыкивали». На реке бьет вальком прополосканное белье младшая невестка из соседней избы: «Беленько!» — услышит и она короткое приветствие. Детки ее тут же подле ловят рыбу на удочку: «Клев на уду!» и в ответ от них: «Увар на ушицу». Набежала досужая мастерица на легкое слово и на такую, которая шла белье полоскать. «Свеженько тебе!» — Забежала в ближайшую избу присесть на лавочке и на ходу покалякать, рассказать про то, что сейчас видела и слышала: старшая невестка сидит за ткацким станом и щелкает бердами и челноком: «Спех за стан» (или «шелк да бумага»). — Ответ: «Что застала на уто́к, то тебе на платок!» В другой избе хозяйка печет овсяные или яшные блины и стряпает яичницу-глазунью (она же исправница и верещага), — и эту заласкивают пожеланием: «Скачки на сковороду!» Иная наелась блинов до икоты, — ей: «Добром — так вспомни, а злом, так полно!» Хозяин вернулся из бани, помылся-попарился: «С легким паром!» — и ответ от находчивого: «Здоровье в голову!» Стали собираться и остальные домашние туда же: «Смыть с себя художества, намыть хорошества!» — и на это благодарный отзыв: «Пар в баню — чад за баню!» За нее благодарят: «На мыльце — белильце, на шелковом веничке, малиновом паре». Один наливает воду в чан: «Наливанье тебе!» — Ответ: «Гулянье тебе! Сиденье к нам!»

Деревенский откормленный торговец стоит у створов своей лавки с дегтем, солью, веревками и солеными судаками (твердыми, как березовые поленья), — человек нужный (верит в долг), — как его не оприветить: «Бог за товаром!» или: «С прибылью торговать!» В ответ на первый случай: «В святой час да в архангельской!» На второй: «Дай Бог в честь да в радость!» Особенно много сказывается ласковых слов у хлеба-соли, при полевых работах и бесконечно неуловимы они при сватебных торжествах, где бывают и ласкательные, и бранные, и шутливые.

Шутливые приветы бывают такие, как, например, отдыхающему после работы: «Вашему сиденью наше почтенье!» Чихнувшему говорят: «Сто рублей на мелкие расходы!» или: «Спица в нос — невелика, с перст». На чох, впрочем, чаще всего говорят: «Будь здоров!» На чох здравствуют и лошадей, но, по суеверной примете, стараются при этом ее обругать, например, так: «Будь здорова, волк тебя ешь».

Бывают и шутливые ответы: «Хлеб да соль!» Ответ: «Ешь да свой!» Привет охотнику: «Талан на майдан!» — Ответ: «Шайтан на гайтан!» (черт на подпояску). — «Каково Бог вас перевертывает?» Ответ: «Да перекладываемся из кулька в рогожку». Шутят и такими приветствиями: «Поздравляю с плешью». И зазывают шутливо: «Милости прошу к нашему грошу со своим пятаком!» Везде, по пословице: «Привет за привет и любовь за любовь, а завистливому хрену да перцу, — и то не с нашего стола».

Умелый замечать свои слабости и шутливо над ними острить и подсмеиваться, русский человек и в данном случае не воздержался от этой привычки. Он сложил целую песенку про «Дурня-Вальня», которого учила мать поклонам и ласковым словам на дорожные встречи. Он все говорил невпопад, а за то «его били, били-колотили». Сказочка эта в стихах известна всем воспитавшимся в деревне с детства и, судя по множеству разноречий, весьма распространена и многим известна.

Ходит по свету и такая пословица: «На всякой чих не наздравствуешься», а потому, не гоняясь за прочими народными приветами, на этот раз кончим на тех, которые живут со строгим или шутливым ответом.

Так как на всякие случаи жизни сложились у народа свои особые приветы, и кто хорошо знает их, тот зачастую может по словам приветов узнать, из какой губернии прохожий доброжелатель и даже из какой более или менее обширной местности. Иначе приветствует встречного русский человек из северных губерний, иначе — из южных, но везде и у всех одно сходство: поминать Бога и желать добра. «Не помолившись Богу — не ездить в дорогу», а святым именем Его желать добра всякому трудящемуся — встречному и поперечному. Так, например, и у белорусов: «Богдай!» «Бодай!» (чтобы) «тобе Бог отдав!» «Поздоров, Боже!» «Добрáночь!» «Добры́вечер!» «Добрыдзень!» «Добрывечер вам, ци рады вы нам?» — шутливо привечают пословицей. Угощая, просят кушать еще больше на здоровье:

«Силяйся!», то есть подкрепляйся. «Силися, кумок, на дорогу!» Или: «Вы тут силкуйцеся (посилкуйцеся), покуль я зворочуся!» «Ци мацуишься?» (здоров ли) — приветствуют друг друга при встречах. «Дай Боже з дробными дзетками на жицце, на богацце, на довгий век и добрый совет!» и т. п.

Той, которая доит корову, в Холмогорах говорят: «Море под буренушку!» (доильщица благодарно отвечает: «Река молока!») Таковым по Волге желают короче: «Ведром тебе!», а под Москвой нежнее и лучше: «Маслом цедить, сметаной доить!» Входя в лавку, привечают купца: «Бог за товаром!» — на севере; «С прибылью торговать!» — по всем другим местам подмосковным, и «Сто рублей в мошну!» — в Поволжье. «Клёв на уду!» — архангельскому рыбаку; «Увар на ушицу!» — поволжскому и т. д. По всей России отъезжающему: «Счастливый путь!», а на севере: «Никола в путь, Христос подорожник!» по тому исконному верованию, что Никола помогает и спасает не только в море и на реках, но и на сухом пути. В Сибири кое-что по-своему, а многое и по старой русской привычке.

В одно из путешествий моих по Тобольской губернии я попал с дороги в жарко натопленную избу, когда в ней собрались так называемые посиделки. Хозяйка избы, по сибирскому обычаю, созвала своих родственниц, старух и молодых, из своей деревни и из соседних, погостить к себе, посидеть и побеседовать. Ходила сама, просила:

— Всем двором, опричь хором! Хлеба-соли покушать, лебедя порушать, пирогов отведать.

Пришла каждая с прялкой (гребней в Сибири нет) и со своим рукоделием. Работают здесь на себя — по сибирскому обычаю, а не на хозяйку — по великорусскому. Когда все собрались, у хозяйки уже истопилась печь. Когда гости немного поработали, — накрыли стол и поставили кушанье все разом, что было в печи. Отошла хозяйка от печи, отвесила длинный поклон в пояс, во всю спину, да и спела речисто и звонко с переливами в голосе:

— Гостьюшки-голубушки! Покидайте-ко прялочки, умывайте-ко рученьки! Не всякого по имени, а всякому челом. Бью хлебом да солью, да третьей любовью.

Кушаний подали вдоволь. Тут были неизменные сибирские пельмени, которыми там заговляются и разговляются. Были пшеничные блины и оладьи, одни на яичных желтках, другие — на яичных белках, блины гороховые, оладьи вареные, лапша с бараниной, пирог с осердием (или легким), пирог репной, пирог морковный, российская драчона, которая в Сибири называется каржовником, молоко горячее, каша яшная и просяная (гречневой в Сибири нет), репные паренки, грибы с квасом.

Угостивши «на доброе здоровье», меня проводили обычным всей св. Руси и вековечным напутствием:

— Счастливого пути!

— Добрых встреч! — подговорил кто-то сбоку.

Неровен час — на грунтовых дорогах всякая беда может случиться: настукает бедра и спину на глубоких ухабах, которые в Сибири называ-

ются нырками; в ином месте выбросит из саней; в лесу нахлещет лицо сосновыми ветками. Летом колесо сломается, а починить негде; лошади пристанут середи дороги, а сменить их нечем; мост провалится: они все такие непрочные и т. п. Я сел в кошеву́. Ямщик оглянулся: все ли-де готово, ладно ли уселся, не забыл ли чего?

— С Богом! — отвечаю я ему.

— С Богом — со Христом! — проговорил он и ударил по лошадям.

— Скатертью дорога! — подговорил кто-то со стороны.

— Буераком путь! — подшутила разбитная девушка из гостивших и угощавшихся прях.

9. РУССКИЙ ДУХ

Нянина сказка «О Царь-Девице» восстает теперь в памяти, как вчера сказанная, а из похождений «Ивана-царевича» припоминаются такие картины:

выехал он из дремучих лесов на зеленые луга и увидел избушку и в ней старуху. Сидит она на лавке: шелко́в кудель точит, через грядку просни мечет; в поле глазами гусей пасет, а носом в печи поварует.

Говорит она Ивану-царевичу:

— Доселе русского духу слыхом не слыхано, видом не видано, а ныне русский дух в-о́чью является, сам на́ дом ладом.

Вторая старуха на другом конце в новой избушке говорит по-новому:

— Фу, фу, фу! Доселъ черный ворон кости расейской не занашивал, а ноне кость в глаза копает (в очи вержет)!

Отвечает добрый молодец не очень вежливо, но зато прямо по-русски:

— Дам тебе поу́шину, будет в спине отдушина; дам в висок — посыплется песок! Ты бы, старушка, не училась много богатыря спрашивать — училась бы кормить да поить, на постелю спать уложить.

Если мы этого доброго мо́лодца сказки приравняем к Илье Муромцу былинам, станет ясен нам образ русского колонизатора, ведущего дело с недобрыми лесными силами. Вот смело пришел он и открыто заявил старинным языком о заветном обычае, — все то, что, между прочим, составляет народный характер и «дух» в переносном значении этого последнего слова. Не погрешим нисколько, если примем слово это и в том значении, которое придает ему одна поговорка. Она тоже в свою очередь выражает иносказание, говоря, что «от мужика всегда пахнет ветром, а от бабы дымом». Не только внешняя обстановка, но и потребляемая известным народом пища имеет влияние на его животный специфический запах. Поражают обоняние свежего человека все азиатские народы, пристрастные к употреблению чеснока и черемши, но между ними резко выделяются евреи от цыган и всякий носит свой особый запах: китайцы и персияне, киргизы и самоеды, — в особенности те, которые усвоили ношение шерстяного и мехового платья. В равной степени влияют и ароматические приправы к блю-

дам, и пахучесть господствующих растений страны, и т. п.

Со своей верой и при своем языке, мы храним еще в себе тот дух и в том широком и отвлеченном смысле, разумение которого дается туго и, в исключение, только счастливым и лишь по частям и в частностях. Самые частности настолько сложны, что сами по себе составляют целую науку, в которой приходится разбираться с усиленным вниманием, и все-таки не видеть изучению конца и пределов. Познание живого сокровенного духа народа во всей его цельности все еще не поддается, и мы продолжаем бродить вокруг и около. В быстромелькающих тенях силимся уяснить живые образы, и за таковые принимаем зачастую туманные, обманчивые призраки, и, вместо ликов, пишем силуэты. Счастливы мы лишь энергией в усилиях и неустанным исканием той правды, которая, однако, составляет лучшее украшение художественных созданий текущего гоголевского периода литературы.

Если мы пойдем дальше в объяснении того, что значит «по-русски», то лишь с великим трудом можем свести концы: до того своеобразна и самобытна наша родина! И одеваемся мы не так, как другие, и едим не то, что прочие, и даже носим прическу, кланяемся встречному по-своему, а русская печь, в прямом и переносном смысле, печет совсем уже не так, как до сих пор говорят и пишут. Не забудем при этом, что переживаем трудное время именно теперь, когда освежается и изменяется весь налаженный строй нашей жиз-

ни. Изменяется не один внутренний быт, но и внешний облик. Та самая прирожденная и коренная старина, которая совсем недавно, едва не вчера, была у нас перед глазами, стала бесповоротно уходить в предание. Даже самое консервативное явление, как народный костюм, сделался игрушкою прихотливой моды. Мы стоим теперь как раз на том круговороте и пучине, где встретились два противоположных течения, и очутились мы на том рубеже, где старая, изъезженная дорога начала уже затягиваться мхом и зарастать травой, а взрытая новая еще не укатана. Такие места, обещая обилие материала для наблюдений, интересны, но самое время переломов и переворотов, увлекающее новизной явлений, нельзя считать особенно удобным. Еще не видать ничего определившегося и законченного. Лишь кое-где по стрежу реки рябят сильные струи, текущие в упор и навстречу, а на полотне дороги засветлели местами уже накатанные, но свежие колеи.

НЕТОЛЧЕНАЯ ТРУБА

Вместе с трубами, из которых выходит дым столбом и коромыслом, припоминается еще какая-то необычная «труба нетолченая», когда в самом деле бывают только: деревянные дощатые, битые глиняные да кладеные кирпичные трубы. Между тем упомянутое выражение довольно употребительно. Где много народу, — говорят: «Народу — нетолченая труба!», и хотя говорят так все, но тем не менее неправильно, скрадывая одну

гласную букву и обезличивая ходячее выражение в повальную бессмыслицу. Впрочем, в живом разговоре такой прием — дело нередкое и бывалое. Говорят же, вместо «без вымени», — без имени овца баран; не до «обедни, коли много бредни» (вместо «обредни» — от обряжаться, наряжаться: и к шапочному разбору не попадешь, если начнешь притираться да румяниться, переодеваться да охорашиваться и прочее). Говорят: «Вот тебе, Боже, что нам негоже», перетолковывая по-своему коренную малороссийскую поговорку: «От тоби, небоже! (убогий, нищий), що нам негоже» и т. п. Таких примеров злоупотребления извращенным словом можно насчитать десятки.

Если мы в указанном слове восстановим скраденный скороговоркой гласный звук, поставив его на подобающее место между двумя согласными, то выйдет труба «нетолоченая». С этим словом уже можно примириться и его объяснить.

В народном языке «толочить» значит то же, что «торить» путь и дорогу, проход и проезд одинаково в людской тесноте и в сугробном или непроездном месте. Если, по обычаю и закону старины, узка в коренных русских городах улица, то с подручного и наглазного образца почему таковая не труба? Если кровь бежит ручьем, а привычно говорят, что она бьет из жилы трубой, то почему же, когда на улице праздник, народу, запрудившему ее так, что и конца края не видно, не валить навстречу той же трубой, шумной толпой? Сквозь нее не только не протискаться, да и не пробить ее, что называется, пушкой. Надо много труда и ловкости, чтобы проторить или

протолочить себе сквозь народную стену путь. А затем уже, конечно, — «где торно, там и просторно».

СВИНЬЯ В АПЕЛЬСИНАХ

Я взял эту поговорку интеллигентного общества, среди которого она обращается в укор людям, не имеющим ни малейшего толка или вкуса в чем-либо изящном и неизящном, — собственно, взял ее в доказательство неудачного вымысла и не совсем счастливого сопоставления видимых резких крайностей. Когда покойный Иннокентий (Вениаминов), бывший московский митрополит, еще в сане камчатского иерея, однако довольно искусившегося в миссионерских подвигах, ехал из Сибири в Петербург кругом света, то, по обычаю, вел дневник и записывал, а равно замечал все интересовавшее его практический и наблюдательный ум. Плыл он на корабле «Николай», принадлежавшем североамериканской компании. Судно зашло на прелестные, как библейский рай, острова Таити, про которые сказал Дарвин, что он лучше их не видал ничего во всех своих путешествиях. Иннокентий (тогда еще Иван), после вечно туманных островов Охотского и Камчатского морей, — на этих южных от восторга не чувствовал земли под собой. Однако практичный сибиряк заметил и запомнил и после рассказывал в своих записках: «Сколько мне пришлось наблюдать за свиньями острова Таити — так как их там довольно, — то они, при множестве там

фруктов, всегда отдавали преимущество апельсинам».

Эта поговорка, с весьма многими другими, могла бы пойти в доказательство того, насколько несостоятельны в вымыслах и применениях пословичных выражений интеллигентные люди и городские жители, привыкшие брать их из иностранных книжек и из новейших европейских языков. Попадая в обиходный русский язык, в виде переводных, эти пословицы — без оборота на себя стоящей в заголовке (мало того, что ясно и сразу обнаруживают свою иноземную подкладку) — в большинстве неудачны и нейдут ни в какое сравнение с тонкой гранью и красивой насечкой домашних пословиц. О чужих крылатых словах расскажу отдельно, в своем месте.

МИР — ДУРАК

Из шести значений этого слова «мир» в русском языке, указанное ругательное относится не к крестьянскому обществу, не к сельской общине, а прямо к деревенским сходам и притом исключительно к тем из них, которые ведутся неправильно, где допускаются злоупотребления и нарушение прав личных и общественных. На таких-то мирских сходках и народился этот бранный придаток как решительное и резкое обвинение. Говорится обычно так: «Мужик умен, да мир дурак».

Так, например, при выборе должностных лиц и в особенности старшин, всякий особняком и

каждый про себя решил тем, что такой-то совсем достойный и подходящий человек, — и не ошибались:

— Ума не занимать ему в людях. Пожил и поколотился по белу свету; везде побывал и многое спознал в полную меру. На добрые советы нескуп.

— Живет в достатках (своим разумом нажил), — не потеснит свою волю, если захочет мир, чтобы послужил на него разумом и досужеством.

— Семью во сколько сыновей и во столько снох так урядил, что ни споров, ни ссор не слыхали и драк не видывали. Хоть под окнами у него подслушивай: мир там в избе и тишина небесная.

— И начальство его уважает: к нему прямо на постой заезжает, руку берет, картуз снимает;: самый настоящий и подходящий человек для нашего мира.

С такими мнениями и на сельский сход пошли, и на волостный собирались степенно, со смирением. Кое-кто принарядился. Богу помолились, чтобы дал Господь крепкого совета и просветления разума. Все шло по-хорошему, как по маслу ползло. Кому довелось пешком идти, тот шел ходко, веселыми шагами поторапливался. У ездовых и лошади бежали бойко.

Вот уже видно, как и сход собрался и стоит тихо и смирно. Он совсем примолк, когда начали обсказывать, для чего собирали и какого решения желают. Опытные люди, бывалые не один десяток лет на мирских сборищах, готовы такому на-

чалу радоваться, признавая в мирской тишине добрую примету.

Вдруг заговорили все разом. Поднялся страшный шум, в котором ничего нельзя разобрать, словно вода прорвала мельничную плотину и пошла журчать и рвать. Все, старые и молодые, забыли про то, что каждому следует говорить в очередь. Опытным и бывалым людям не приходилось уже догадываться, что этот шум, поднятый, что называется, прямо с места, не обещает уже ничего хорошего и за добрую примету признать его никак нельзя. Взыграла на миру чья-то проклятая смута: редкий старик такие дела умеет остановить на пути и наладить на прямую дорогу.

Стали было унимать старики: их не только не слушают по-старому, с почтением, а еще и поругивают. Посмотрели старики, послушали да и отошли в сторонку. Их переднее на сходе место заняла та молодежь, что не привыкла других слушать, а любит мешать чужим речам. В самом переду орут и руками машут те из молодых, у кого горло, что ткацкое бердо. А по пословице: «Коли мир орет, так Бог молчит». Вышло на то, что сельский сход стал хуже волостного (на том по крайней мере народу собирается не в пример больше, а горланов там, пожалуй, и не сосчитать). Иная такая крикливая сходка кончается тем, что у стариков разбаливаются головы, а сами ораторы совсем теряют голос и надолго остаются потом осиплыми. Противники их из молодежи уходят с помятыми боками, из стариков — оскорбленными и обруганными.

Отовсюду теперь слышатся бесконечные жалобы и на внешнее безобразие сходок и на неправильность решений, и на полное отсутствие правды в виду тех причин, что объявились в народных обычаях новые порядки и пущены в ход до сих пор незнакомые приемы, взятые напрокат в самом Питере и немного переиначенные. Таково, например, изгнание со схода нелюбых: позволили им говорить, и стали было кое-как слушать, да узнали, что обсказывают не то, чтобы хотелось им, — может быть, и правду (там еще разбирай ее). К тому же слышат, что говорит супротивник складно, того и гляди повернет в другую сторону, а когда доскажет до конца — с ним все согласятся. Нет! — так не рука, эдак допустить неможно. Такому крикнет один: «Долой со схода!» и ударит этим словом, как обухом стукнет по лбу, на речах, как на ногах, пошатнет: остановил дерзкий и грубый человек и дело, и слово. Надо собираться с новым духом; а там смотришь, стоило хоть одному из толпы повторить такое же требование, и ближний сосед тотчас схватит оратора за руку и насильно потащит вон из круга. Тогда не речь следует оканчивать, а доводится сердиться, предъявлять свои права и насколько хватит сил отругиваться и отмахиваться.

Сход теперь решит все дело неправильно, совсем криво; скажет об нем «гнилое слово». Крестьянский мир сегодня одурачен и останется в дураках по простому поводу: пущена в него дерзко и ходит нахально волчком злая сила, невидимая, но понятная. Это — сила подкупа ми-

роедами всяких мастей и званий. Являются они сюда в разных видах, всем достаточно приглядевшихся и коротко известных: либо с лосня щимся от жиру лицом кабатчика, либо с чужеядным отвислым из под кушака пузом богатея, желающих воспользоваться незаконными правами сверх прошлогодней меры, чтобы поплотнее насесть на весь «мир — народ» и сосать его кровь и соки. Горланов мироеды уже давно заласкивали, приглашали в гости, потчевали; самых бойких и надежных из них подкупали деньгами. Нанимали и рассылали подручных по разным местам; расставляли их у дверей кабаков. Всякого мимо идущего они зазывали. С поклонами в пояс приглашали выпить за здоровье такого-то. Угощения не жалели: всякий мог требовать, что хочет. Кабаки стонут от пения и плясок. Имеющие право голоса на сходах совершенно согласны теперь идти на помощь тароватого просителя.

Тем временем другой такой же завидует, просит и ему пособить. И он находит помощников, бывалых и умелых, которые просят самых сущих пустяков — денег вперед на расходы. Идут молодцы по кабакам, подговаривают слабеньких и отсталых из согласных; потчуют их, и собирают, таким образом, новую воинственную и враждебную стенку. Была бы дана на первый раз хотя бы только красненькая, да придана записочка к целовальнику: неровно подойдет случай, — отпустил бы еще лишних ведерка два. Да не мешало бы написать и трактирщику: иной, может, закуски за-

просит, заломается чертова голова. По новой пословице теперь «ведро вина перед миром правит».

Настоящий правдивый крестьянский мир совсем не таков, как поставленный в заголовке этого объяснения. Несудимый русский мир не просит и не принимает подаяний в доказательство очень давней пословицы и, несмотря на то, что и прежде покушались ее перевернуть на обратную сторону, сказано и запечатано: «Миру в окно не подашь». Прежде и начальство дорожило крестьянским миром и уважало его решение, а потому и говорилось в народе откровенно и с полною верой, что «на мир никого не сменяют». Он умел стоять за себя: его не переспоривали и не перетягивали ни с простоты, ни со злого умысла, ни хитростью: «он столбом стоял», и не было на нем виноватого; с ним и «беда была не в убыток». Бывало, мир заревет, так леса клонятся и стонут, по пословице: «Мир зинет — камень треснет», потому, что «Где у него была рука, там у каждого (входившего в состав члена) была голова». По старому опыту прежние люди твердо веровали, видя перед глазами многочисленные примеры, подведенные под краткий пословичный вывод (сильный внутренним смыслом и подкрепленный бесчисленными внешними доказательствами), что никем не судимый, только одним Богом судимый мир, когда, бывало, «вздохнет, — и временщик издохнет».

СЛОВО И ДЕЛО

Моя настоящая речь не о делах и поступках коварных и лживых или ленивых и рассеянных людей, у которых слово расходится с делом и выходит из того или злонамеренный обман, или досадная неудача. Вспомнилось это «крылатое слово», некогда грозное в слитной грамматической форме, страшное своими последствиями, а теперь превратившееся в легкую и невинную шутку. В смысле юридического термина оно упразднено почерком августейшего пера. Ненавистное слово перестали говорить, хотя «дело» еще долгое время оставалось в полной силе. Оно из рук страшного, жестокого и могущественного «князя-кесаря Ромодановского» (при Петре I) тайком передано было в надежные руки «ничтожного, низменного человека» — мстительного и злого Шешковского. Лишь в самом конце прошлого столетия начали забывать это крылатое слово, и самые документы о нем заброшены на полки и валяются в углах государственного архива. Крылья подрезаны, хвост выщипан, острый и наносивший смертельные удары клюв сгнил и отвалился, но тем не менее оно господствовало в православной Руси около ста лет. Стало быть, об нем можно теперь к слову вспомнить и кое-что попутно рассказать.

Вылетало грозное крылатое слово, как бы и в самом деле мелкая птичка воробей — там, где ему доводилось свободнее или казалось привольнее, но обычно предпочитало оно городские площадки, бойкие торговые места, людные улицы —

вообще всякие места народных сходбищ. Это во всяком случае выходило по той причине, что слову необходимо было на полете оглядываться и зорко высматривать: имеются ли налицо неглухие люди, лишние свидетели и притом в «достодолжном количестве».

Упадало «крылатое слово» на чью-нибудь бедную головушку, вцеплялось крепкими когтями, долбило стальным клювом, распускало из-под крыльев мелких пташек-милых детушек опереннными и навостренными. Знали они, куда сесть и кого клевать не с такой силой, однако так, что и эти жертвы валились на землю истерзанными трупами, изуродованными до неузнаваемости в человеческом теле образа и подобия Божьего. Валялись трупы подолгу неприбранными: им самим предоставлялось гнить и заражать воздух невыносимым смрадом.

В самом деле это немудреное с виду «крылатое слово», как какая-нибудь сказочная чудовищная хищная птица, разносило повсюду страдание, муки и смерть. Хотя оно и казалось в свое время убитым, но на самом деле было лишь подстрелено и в предсмертных судорогах успевало еще находить новые жертвы, первые попавшиеся на глаза, и зачастую совершенно невинные.

До того это слово прижилось на Руси и приладилось к нравам, что смолкнувшее здесь, по сю сторону Уральского хребта, оно продолжало орать во все широкое горло по площадям и бойким местам в Сибири. Тут и там оно выговаривалось озлобленными или непутевыми людьми, такими, кому нечем было поступаться и нечего

жалеть, — прямо сдуру и спьяна, нередко от праздности и скуки, зачастую под влиянием личных неудовольствий, в виде мщений или вследствие безвыходно тяжелого житья, для развлечения и новых впечатлений.

«Слово и дело» до Петра проявлялось весьма редко и всегда по убеждению, из любви к царю, государству и вере. Когда укреплялись разные нововведения и порождали собою недовольных — сказывались страшные слова на сочинителей и распространителей в народе подметных тетрадок, сочиняемых монахами и староверами, вроде посланий и толкований протопопа Аввакума с товарищами. Петровские преобразования увеличили число недовольных и усилили количество виновных, особенно к концу царствования Петра, когда возрастала и самая правительственная подозрительность, свидетельствуя о великих опасностях, мнимых и действительных. В народе воспиталась и окрепла страсть к доносам до такой степени, что указ 1714 года принужден был ограничить значение «слова и дела», определяя их делами, касающимися государева здоровья и высокомонаршей чести, бунта и измены. Сказавшие или написавшие роковое выражение, обрекавшиеся до того на смертную казнь, застращивались великим наказанием, разорением имущественным и ссылкою в Сибирь, на каторгу. В следующем году указ облегчал доносчикам подходы: они могли идти прямо к двору государеву, объявлять караульному сержанту, а этот обязан был представлять челобитную самому царю. Однако доносчики продолжали во множестве докучать

царю, «не давая покою везде, во всех местах», несмотря на страх жестоких наказаний. В 1722 году обязали священников объявлять об открытых им на исповедях преднамеренных злодействах, а челобитчиков с «государственными великими делами» дозволено принимать и во время божественного пения и чтения. С годами значение нашего «крылатого слова» возросло до тех крайних пределов, какие видим при Анне Ивановне, руководимой Бироном. В Сибири для ссыльных и каторжных оно явилось соблазном: выпустивших его с уст на вольной ветер освобождали на время от тяжелых каторжных работ.

Объявившего за собою «государево слово» немедленно отдавали сержанту и вели пешком за 400 — 600 верст в Иркутск; держали крепко и только в случае изнеможения сажали на подводу. Многие болтали из желания получить награду; иные рассчитывали во время пути на утечку в лес и неизвестность, иные прямо спекулировали с тех самых пор, как завелись первые и настоящие тюрьмы. Один солдат выкричал такое: «В бытность мою за окианом-морем нашел я место рождения крупного жемчуга и три места тумпазные». Монах говорит за собою такое великих государей и святительское дело: «Поставлена церковь без святительского благословения и в ней убился человек; промышленный человек привез с моря руду серебряную, и тое руду плавил и из той руды родилось серебро». На суде оказалось, что руда не серебряная, а старца побили шелепами, чтобы «впредь неповадно было иным такие затейные слова говорить и никаких великих государей дел не заводить». Один каторжный

сказывал товарищам: «Неприятель идет на Россию: у китайцев войска собираются, мунгалы ружья приготовляют» (а монголы облаву делали на лосей). Другой каторжный болтает в кухне: «Поднимается на нашего государя иноземец; у того иноземца силы до 600 тысяч, а у нашего до 250 тысяч». Глупые речи праздных болтунов у каторжной печи приняты за «государево слово» и потребовали «дела»: допросов, пытки, суда и осуждения.

Наступил новый век и повелись иные порядки. В 1817 году крестьянин Ермолаев за непристойные речи приговорен был к наказанию плетьми. Решено было вырвать ему ноздри, поставить повеленные знаки и сослать на каторгу. Император Александр вырыванье ноздрей отменил для всех, а приговоренного простил, объявя ему приговор. Ссыльный на работе при казенном зимовье, придя в избу, бросил топор, рукавицы и шапку, и изругался. Будучи спрошен: кого ругает? — отвечал: «Тех, кто безвинных ссылает». Государь решил оставить этого ссыльного «в нынешнем положении, но без наказания». Третий ссыльный забыл в руднике лопату, товарищ стал помогать разыскивать ее, приставник заметил: «Ты исправь прежде государеву работу, а потом ищи мужичью лопату». У оговоренного сорвалась с языка брань, за которую его посадили под строгий караул в оковах и стали ждать приговора из Сената. Государь Александр I повелеть соизволил: «Освободить от законного наказания, подтвердя ему, чтобы впредь постарался исправиться» и т. д.

Не того было смысла и не такими последствиями сопровождалось старинное «крылатое сло-

во» — самое строгое, важное и главное изо всех наших русских крылатых слов, сколько бы их ни привелось нам насчитывать и объяснять.

На кого было сказано «слово и дело», то есть сделан гласный донос, тому приходилось «быть в слове», то есть подпадал он вине и оказывался под ответом: его немедленно искали и сажали под караул. Равным образом тотчас же запирали в тюрьму и выговорившего страшное слово. Оба сидели затем в ожидании допроса и, как выражено в одной из старинных тюремных песен, каждый:

Перекреп ли — перезяб добрый молодец,
Глядючи на город на Катаевской
(*Китай-город* — С.М.).
У города ворота крепко заперты,
Они крепко заперты ворота, запечатаны.

И в другой песне:

У ворот стоят грозны сторожи,
Грозны сторожи — бравые солдатушки.
Никуда нам, добрым молодцам, ни входу,
ни выпуску, —
Ни входу нам, ни выпуску из крепкой тюрьмы.

Вспоминается и «темная темница, где ни дверей нет, ни окошек, нет и красного крылечка: есть одна только труба дымовая, да печка муровая».

И в третьей песне:

По двору-то все, двору тюремному
Ходит злодей-староста:
Он в руках-то ли несет,
Несет он больши ключи.
Отпирает он, злодей-староста,
Он двери тюремные, —
И выводит нас, добрых молодцев,
Он нас к наказаньицу.

Выводили сначала на «правеж» (на допрос) с истязанием, как говорит поговорка: «В семеры гости зовут, а все на правеж», который обрисован в такой же старой и полузабытой песне:

Середи торгу-базару, середь площади;
У того было колодечка глубокова,
У того было ключа-та подземельнова,
У того было крылечка у перильчата:
Уж как бьют-то добра молодца на правеже,
Что нагова бьют, босова и без пояса.

Иная песня продолжает изображать и самый процесс допроса добра молодца на правеже:

«Ты скажи — скажи, детина, правду-истину:
Еще с кем ты воровал, с кем разбой держал?
Если правду скажешь — я пожалую,
Если ложно скажешь — я скоро сказню.
Я пожалую тя, молодец, в чистом поле
Что двумя тебя столбами да дубовыми,
Уж как третьей перекладиной кленовою.
А четвертой тебя петелкой шелковою».

Рассказывая про бывалое и виденное, песня, конечно, под ворами разумела не тех преступников, каких знаем мы и для которых в старину имелось особое название «татей». За воров шли всякие недобрые люди: были ли то государевы изменники, литовские люди, пустошившие землю русскую в смутное время государственной «порухи», или все замешанные и прикосновенные к ответу по выговоренному слову и делу. Ворами слыли все обманщики и так называемые нагольные плуты и сыщики, изменники отечеству и нарушители служебных обязанностей, взяточники. На этом последнем основании попали сюда, покрытые одной шапкой: Гришка Отрепьев, Ванька Каин, Мазепа, сибирский губернатор князь Гагарин, казненный Пет-

ром, расстриги из раскольников и оскорбители царского величества, как архиереи: Арсений Мацеевич, Феодосий Яновский и т. д.

Всех, обреченных на допрос по доносам, немедленно спешили заковывать в ручные и ножные кандалы и вели в съезжую избу. Во всякой из них имелся «застенок» — особенно отгороженный покой, объясняемый самым названием. В нем находились наготове все орудия, какими добивались сознания, свежие голики, из которых связывались розги. В особенном шкафе, в ящике, хранился ременный сыромятный кнут желобом на коротком кнутовище, чтобы удар руки был сильнее, и простые нагайки, какими погоняют лошадей, и кистень на звеньях с увесистым набалдашником или рогулькой на ремне, просто насажанный или прикованный иногда на коротком кистенище. Валялись в углу застенка и простые гибкие палки хворостин. Все эти три последние орудия носили общее имя «шелепов». Для них в особой караулке, за висячим замком и под крепким надзором, жил тот мастер, который, остроумия ради, назывался в официальных бумагах «заплечным», а в народе в старину слыл под именем «ката», а теперь — «палача». Жил он отщепенцем, презренным человеком, которого люди боялись, задабривали во время прохода его по базару, где награждал каждый своим товаром или копейками («Давали кату плату»), но в то же время глубоко презирали как поганого («Водиться с палачами, — не торговать калачами»). Одним прикосновением руки он делал всякую вещь негодною к употреблению. Поки-

нувший позорное ремесло и вышедший в ссылку, нигде и никогда не находил себе невесты и т. д. «Не дай Бог никому в палачах быть, — толковал народ, добавляя роковое утешение, а без него нельзя».

ПЕСНИ ИГРАТЬ

Не везде песни поют, то есть не везде говорят так, как привыкли выражаться горожане и как пишут все грамотные люди, не подозревая в том некоторого плеоназма. Конечно, не из боязни ненужного «повторения» лишнего слова, в интересах эстетики и в смысле эпитета, в громадном большинстве русских местностей стараются избегать такого выражения. Происходит это от простого и дешевого соображения: что же в деревнях и петь можно и что иное запоешь, как не песни во всех видах и под разными наименованиями? Ведь в деревенских избах твердо знают о том, что масло всегда бывает масляное.

Ходил я за этими песнями по Малоархангельскому уезду Орловской губернии и попал в Тульскую (Новосильского уезда), в деревню Скородное, которая так называется исстари, когда это дикое лесное место очищено было от пней и кореньев и «проскорожено», то есть пройдено бороной и приготовлено под пашню и для жительства. Жителей этой очень большой деревни зовут «казаками», хотя они и переродились в настоящих орловских степных пахарей, неловких, неповоротливых и небойких на словах и на рабо-

те. Должно быть, в те времена, когда искусственно заселялась эта новосильская и ливенская пограничная черта, здесь в самом деле поселенцы были казаки. Казацкого в них ничего не осталось. Попал я к этим казакам, потому что указали на знатока песен и мастера петь — крестьянина Семена. Ожидания на этот раз не оправдались: он был лишь охотник петь на трезвое, а под хмельком оказался даже совсем не состоятельным. В этом он и сам сознался:

— А у нас есть и такие, что хорошо песни «кажут».

Сам он все пробовал, срывался, забывал слова, хлопал по бедрам и нетерпеливо крутил головой, причмокивая и приговаривая:

— Забыл я песню-то: вот мимо роту мычется, а никак ее не вспомню.

Снова расставлял он ноги, избоченивался, прихватывал правое ухо рукой, затягивал резким и крикливым фальцетом. Семен все-таки ни до чего не достигал, кроме невыносимо фальшивых тонов и путанных стихов. Я пробовал записывать, — и у меня выходила галиматья.

— Песня-то отличная! — оправдывался Семен. — Только я ее на голос-то никак не подниму. А есть у нас такие, — повторял он, — что важно песни «кажут».

Когда в другой раз бродил я во Владимирской губернии в Вязниковском уезде, по офенским деревням, для изучения быта и для составления искусственного словаря этих бродячих торгашей, пришлось мне недели две прожить в селе Хóлуе, где пишут иконы яичными краска-

ми. Меня начала там одолевать скука. Я повадился ходить на мельницу на реке Тезе, где молодой парень мельник, проторговавшийся на мелком товаре, охотливо за штоф пива сказывал офенские слова новые и исправлял прежде пойманные и записанные. Раз он пожалел меня:

— Ты что в кабак не зайдешь? Скучно тебе! А там чудесно песни «играют». Теперь офени, перед Нижегородской ярмаркой, домой поплелись: каких только песен они из разных-то мест не натаскают! Друг дружку перебивают, друг перед дружкой хвастаются. Расчет получили — им весело. Сходи в кабак!

На этот раз, помнится, впервые остановилось мое внимание на странном выражении «играть песни», когда они в самом деле поются. Слышалось это выражение и прежде, но, по обычаю, бессознательно пропускалось мимо ушей, хотя в этой упорно-неизменной форме оно настойчиво повторялось всюду в иных местах. Песня поется всего чаще на голос. Подыгрывает балалайка, гармоника, скрипка и т. п. не всегда. Зачем же «играют песни»?

Хороводы и сватебные обряды разрешают недоумение и проясняют смысл выражения. Сватьбы также играют, но это уже полное сценическое представление с начала до конца, со сговора до венца. Здесь одними песнями и объясняется символическое значение многочисленных обрядов, как бы в оперном представлении.

Чтобы петь известную всему русскому миру и даже излюбленную петербургским людом, подгулявшим дома и катающимся по Неве, волжскую

разбойничью песню «Вниз по матушке по Волге» надо всему хору сесть на пол в два ряда, друг против друга. Надо, покачиваясь сбоку набок, прихлопывать в такт в ладоши. Это значит бить по воде веслами и плыть. Между рядами, со сложенными на груди руками по-наполеоновски, ходит, нахмурив брови, как возможно страшнее, сам разбойник-атаман. Временами песня прерывается, и он начинает разговор со своим есаулом. Последний, по приказанию атамана, повертывается во все стороны и, приставив кулак к глазу, высматривает косную купеческую лодку. Поговорят, и опять поплывут, то есть продолжают песню и хлопанье в ладоши с покачиванием из стороны в сторону. В таком виде песня, в форме театрального представления, играется на святках ряжеными в красные рубахи и плисовые шаровары, и за это «действо», в вознаграждение за сценическое удовольствие, полагается угощение. В хороводном «Воробушке» один в кругу показывает, как девицы ходят: «они эдак и вот так, они так и вот этак»... Показывает, кстати, воробушек и горбатых, и хромых, и бояр, и купцов, и т. д. В старинных хороводах (отчасти теперь полузабытых и даже изуродованных) можно было видеть представление полной деревенской сватьбы, с выбором невесты и отдельно жениха, с последующими семейными раздорами и расчетами. В святочных песнях изображалась в келье молодая черничка и строгий игумен. Сеять просо — тоже играть песню, то есть разыгрывать заключительную сцену похищения невесты — драматический бытовой эпизод. На перечислении большинства таких хороводных песен можно самому устать и

утомить читателя. Безуспешно истомились на том же деле и благочестивые ревнители веры, искоренители языческих обрядов — проповедники живого слова и составители Кормчей книги, воспрещая дьявольские песни с бесовскими игрищами.

Таково положение песенного дела в Великороссии. В Белоруссии то же самое: есть «женитьба Терешки», и старец с молодой женой, и выдача девицы за немилого, и мак на горе — и опять много таких песен, которые требуют сценического представления, того, что в той стране называется «тано́к» (пляска, танец). Когда зажинают и когда отжинают, совершаются полные священнодействия, сопровождаемые целым циклом песен, которые и приурочиваются к обычному времени и играются только тогда, и ни за что ни в какое другое время года. Даже записи их со слов знающих затруднены именно тем, что как же можно сказывать и записывать на слова сухую и непонятную песню, когда ее нельзя изобразить или сыграть, то есть объяснить известного рода представлением при участии более или менее значительной труппы действующих лиц. Когда пир, тогда и песни — самое легкое и к тому же веселое и приятное занятие: давно изведано и поведано, что «песни играть — не поле орать».

С ХОЗЯИНА НАЧИНАТЬ

Таков обычай при угощениях водкой и всякими крепкими напитками на всем бесконечном протяжении Православной Руси, — похвальный

обычай, требуемый вежливостью и приличием. Русская подлинность его и вообще древность происхождения сомнительны, как и обычай чокаться, заимствованный у европейцев. В старину на Руси пили круговую: из одной чаши мед, из одной чарки зелено вино, причем как будто даже вежливо было доказывать небрезгливость и побратимство, подобное «из одной печи хлеб есть, из одной чашки щи хлебать» и т. п. Чокались, то есть постукивали, тихо поколачивая хрупкими вещами, чокались кружками с давней старины, а со введения христианства чокались пасхальными красными яичками. Начали постукивать рюмками, стаканами и бокалами, когда принимались пить за здоровье друг друга, за присутствующих и отсутствующих, за умерших и имеющих родиться, за всех и за вся православные христиане. При этом чокнутся и поцелуются, а стало быть, и побратаются, то есть подружатся братски на век. По этим поводам и та большая стопа, и та ендова, из которых поочередно пили, называлась «братиной» и «побратиной».

Побратимство в старину и в нашем народе делалось, не шутя, и обставлялось важными обрядами: обыкновенно молились в избе — перед иконой, в чистом поле (как сказывают былины про богатырей) — на восход солнца либо на тельник (шейный крест). Затем обнимались и давали друг другу зарок на вечную дружбу и клятву на взаимную помощь во всех подходящих случаях жизни. Затем менялись крестами и делались «крестовыми», как бы родными братьями. Обычай этот твердо держался не так давно и

был свят и нерушим, как мы уже имели случай доказать и рассказать.

Обычай чокаться, между прочим, объясняют тем желанием, чтобы все пять чувств принимали участие при дружеской выпивке и пожелании здоровья и всяких успехов. Четыре чувства обязательно участвуют, как зрение, обоняние, вкус и осязание. Недостает места для участия с товарищами пятому живому чувству — слуху. Чок в бочок его выручает, примиряет с прочими и оправдывает перед ними.

Удобно чокаться и побратимить в тех случаях, когда каждый свою чарку держит, из своей чашки пьет (как староверы-федосеевцы). Как же поступать, когда на всех одна чарка, и наливает ее сам хозяин, и подносит первому гостю? Всегда этот упирается, зная обряд и порядок и охотно чванится, и притворно ломается, отстраняя наружной стороной кулака правой руки налитый сосуд, кланяясь и прося «начинать с хозяина». Только старинные остряки улавливали тот момент, когда уламывался спесивый и протягивал уже руку: неожиданно и быстро опрокидывали они на лоб себе «стыдливую рюмку», рассчитывая на скрытное, но несомненное легкое неудовольствие от шутливого обмана. Конечно, при этом всякий счел бы себе в обиду и в лучшем случае нашел бы неприличным, если хозяин наливал и потчевал его «через руку», то есть, оборотя кулак пальцами кверху.

Хотя «чокаться» и коренное русское (по звукоподобию) слово, но есть основание предполагать, что обычай «начинать с хозяина» — не

старинный русский, а произошел в более поздние времена, — по крайней мере в народе подслушана нижеследующая историческая легенда.

Петр Великий сидел раз в одной незнакомой компании и спросил соседа справа:

— Ты кто такой?

— Я — дворянин такой.

— А ты? — спросил он соседа слева.

Тот оказался таким же дворянином. А как спросил он третьего, то и получил в ответ, что тот не только не дворянин, а даже вор. Царь Петр отозвал того вора и сказал ему:

— Будь ты моим братом и пойдем вместе.

— Куда же нам ехать?

— Поедем в государев дом: тут казны неведомо что. На возах ее не увезешь.

Вор рассердился и сказал:

— Как же ты, брат, Бога не боишься? — Кто нас поит и кормит и за кем мы слывем, и хочешь ты на него посягнуть. Я знаю, куда лучше ехать, — поедем к большому боярину. Лучше взять у него, а не у государя.

Пришли они к «большому» боярину, богатому и спесивому.

— Постой, — говорит вор, — я пойду во двор и послушаю, что там говорят.

Вернулся он, и сказывает:

— Нет, брат, дурно говорят: хотят звать завтра царя кушать, и хотят водку дурную и злую подносить. Не хочу никуда ехать, домой пойдем.

Царь и спрашивает:

— Где же, братец, нам с тобой видеться?

— Увидимся завтра в соборе.

Как они пришли в собор, так и увидал вор, что царя просят кушать, и услыхал, что он велел просить и того человека — побратима своего. Его стали просить, и неспесивый поехал со всеми вместе.

Говорит вор царю:

— Первую чарку станут подносить — ты ее без меня не пей.

Когда стали подносить, то царь и сказал:

— Поднеси брату: я прежде брата пить не стану.

Когда стали подносить брату, он отвечал:

— Я прежде хозяина умирать не хочу: пущай прежде хозяин сам попробует — выпьет.

Как только хозяин выпил, то его и разорвало.

«Знать, с этова-то первые-ты чарки прежде хозяина и не пьют».

Таким образом попробовал заключить свой рассказ воронежского гарнизона Елецкого полка бывший сержант Михайло Первов, в 1744 году, на тему: «Первой чарки прежде хозяина никогда не пьют: какову чашу нальешь и выпьешь, такову и гости». Слыхал он от старых людей то (что мы сейчас также услыхали), а самого Первова за такие продерзостные слова били кнутом и, с вырезанием ноздрей, послали в Сибирь на житье вечное. Не слушай народных легенд, а тем паче не пересказывай их. Сказалось крылатое горячее «слово», и совершилось мучительное кровавое «дело».

Когда оба слова неосторожные люди произносили вслух, оба вместе и оба рядом, тогда всем свидетелям становилось тяжко и страшно. Слова эти

или, как в свое время их книжно называли, «изражения», вели за собою жестокие последствия.

Екатерина II сказала запретительное слово, и одним этим подвигом могла бы заслужить историческую память и уважение потомства. 19 октября 1762 года объявлен всенародно всемилостивый указ, в котором, между прочим, было сказано: «Ненавистное изражение, а именно «слово и дело», не долженствует значить отныне ничего, и мы запрещаем не употреблять оного никому. А если кто употребит отныне в пьянстве или в драке, или избегая побоев и наказания, таковых наказывать тотчас так, как от полиции наказываются озорники и бесчинники».

ПОДАВАТЬСЯ ПО РУКАМ

Брат брату головой в уплату.
Пословица

— Подавайся по рукам! — скажет один в смысле доброго совета и утешения человеку, потерпевшему какую-либо неудачу, впавшему в беду или, в особенности, испытавшему горе. — Что же делать — надо было сообразоваться со своими силами, предвидеть печальный исход и быть осмотрительным и т. п. — подавайся по рукам (чужим).

— Легче будет волосам (твоим)! — доскажет другой: либо сам советник, либо за него (невольно и непременно) свидетель высказываемой жалобы и сетований.

Цельная пословица в указанной форме известна всем, прошедшим суровый искус прежнего воспитания со школьной скамьи, как руководящее наставление на те случаи, когда озлобленный учитель или строгий инспектор хватал за чуб и начинал таскать из стороны в сторону за волосы. Облегченному способу «подаваться по рукам, чтоб легче было волосам», научил, конечно, школьный опыт, а пословица все-таки дошла из глубокой отечественной старины, откуда и взята напрокат. Между прочим, в семинариях, ремесленных мастерских и других заведениях, включительно до трактиров, где вообще производится выучка деревенских мальчиков, эта наука так и называлась «натаскиваньем».

Во времена младенчества народа, при разбирательстве споров и тяжеб, для выяснения темного смысла исков, прибегали к первобытному способу по закону: «кто сильнее, тот и правее». Противники хватали друг друга за волосы и кто первым перетягивал, тот и признавался правым (отсюда и поговорка: «В поле две воли: кому Бог поможет»). В Москве сохранилось предание и указывается место на берегу речки Неглинной (скрытой теперь в трубе), где соперники, при свидетелях (послухах) из добрых или лучших людей и под наблюдением судных мужей (вроде присяжных заседателей), решали спор проявлением физической силы в потасовке. Один становился на правом берегу узенькой речки, второй на левом. Наклонив головы, они хватались за волосы. При этом, по преданию, побежденный обязан был взять соперника на спину, и на закорках

перенести его через речку: этим и кончались всякие претензии и прямые взыскания. Место это и до сих пор указывают близ церкви Троицы. Она отличается от прочих пяднадцати Троицких московских церквей особым прозвищем: «на Полях», и в самом деле доказано актами, что здесь была именно полянка, огороженная забором. Здесь происходили судебные поединки, или «поле», древнейшая русская форма судебных состязаний — как особый вид «Божьего Суда», среди других его видов, каковы: испытания водою, огнем, железом, ротою, или присягою, и т. д. Противники должны были выходить биться рано утром, натощак, как бы на присягу, надев на себя доспехи, то есть железные латы и шишаки. Они обязаны были сражаться одинаковым оружием: большею частью ослопами или дубинами. Людям слабым или неумелым в боях дозволялось приглашать наймитов или наемных бойцов, не разбирая того, что боярину доводилось биться с каким-либо холопом или купцу с черносошным мужиком или скоморохом. Так и говорят пословицы: «В поле съезжаются, так родом не считаются» (а дерутся), и «Коли у поля стал, так бей наповал», а судебный устав указывал: «...а досудятся до поля (если нечем решить тяжбу, как Божьим Судом, то пусть и дерутся), да не став у поля помирятся» (то есть допускается и мировая). Так выражается и поговорка: «До поля воля, а в поле по неволе» (то есть если вышел на место поединка, то уже и дерись, хотя бы только даже и за святые волоса). Если кто был убит на поединке, то его противник получал лишь одни

доспехи убитого и лишался всякого другого удовлетворения. Стало быть, в исках было прямое побуждение щадить жизнь своего противника, что доказывается и указанным выше старанием уравновесить силы соперников. Для соблюдения законных условий при поединках всегда обязаны были (по Судебнику Грозного) присутствовать: окольничий, дьяк и подьячий. В пользу их, как и в пользу казны, взималась пошлина.

Еще Псковская Судная грамота доказывает стремление законодательства по возможности ограничить и смягчить судебные поединки. Потому более легкая форма, кажущаяся нам теперь забавною и едва вероятною и выразившаяся потасовками, имела основание удержаться в обычаях народа. Она сумела просуществовать даже до того времени, когда отменены были (в 1556 году) поединки, а дела велено решать по обыскам. На месте «поля» построена была боярином Салтыковым каменная церковь Троицы, в 1657 году, существующая до сих пор в так называемом Китае-городе, на Никольской улице, и именуемая в церковных актах «Троицею в Старых Полях». Предполагая, что если были старые поля, то должны быть и новые, то есть другие места, отведенные для поединков, стараются искать их в названиях других церквей, забывая, что через сто лет по уничтожении поединков место их уже имели полное право называть «старым полем». При этом, конечно, впадают в ошибки, увлекаясь и смешивая места судебных полей с действительными полями, то есть пашнями, засеянными хлебом или безлесными незастроенными равнинами, ле-

жащими за городом. Те и другие присущи были обширной Москве, сложившейся из множества слобод и деревень. Такова церковь Георгия, названная «на Всполье» за то, что очутилась как раз на окраине, на выгоне, где начинались околица и поля и кончалась группа жилищ за Москвой-рекой, на Ордынке. Такова же и по той же причине и там же улица Полянка. Другой Георгий на Всполье, за Никитскими воротами, где теперешний Арбат, еще во времена царя Алексея скудно населенный и отделявшийся от города огромным пустырем, носил прямое название «Поля». Третья церковь Екатерины на Всполье, близ Серпуховских ворот, тоже была на выгоне. Затем ни о каком храме в новых полях ни в актах не упоминается, ни в народных прозваниях не указывается. Некоторые исследователи подозревают еще место поединков в Белом-городе, у церкви Пятницы Параскевы, что в Охотном ряду. Может быть, это и так (хотя и не имеется на то прямых доказательств). Да и нуждалась ли правительственная Москва в двух местах, отведенных и огороженных для судебного поля? Не довольно ли было и одного? Для кулачных боев как особого вида забав, восходящих до глубокой древности, в Москве отведено было также отдельное место на Старом Ваганькове, но бились на кулачки: один на один, стена на стену и сцеплянкой (свалкой) в Китае, в Белом каменном городе и в Земляном городе (в последнем даже на нашей памяти у Яузского моста). Царь Михаил Федорович прогнал отсюда бойцов и указом запретил народу ходить на Старое Ваганьково смот-

реть, как бьются знаменитые бойцы казанские, тульские и калужские, из среды которых выделились и прославились: Алеша Родимый, Тереша Кункин, Никита Долговязый, братья Подходкины и Зубовы. Замечательно, что и самое название местности, в противоречие нынешнему ее назначению как кладбища, происходит от слова ваганиться (сохранившегося на севере), что значит: играть, шутить, шалить и прочее.

ПРОЮРДОНИТЬ

Точно также затребованное для объяснения слово *проюрдонить* в смысле (согласном и с толкованием Даля) проиграть (либо в карты, либо в кости) и вообще беспутно промотать — не является выражением без смысла, корня и почвы. Всего же менее следует искать то и другое, и третье у чужих людей и в других языках (как подозревает вопрошающий): оно коренное русское, несмотря на то, что и сам В. И. Даль не решился смело зачислить его в число таковых, сказавши «вероятно». Он находит в словах юрить, юра и юр сродство с юлить, юла и заподозрил участие в слове чудского корня юр (башка). Дело объясняется очень просто. Говорят в одинаковом смысле и безразлично проюрдонить и проюлить, что указано и Далем со ссылкою на костромской говор, хотя то и другое хорошо известно даже в Сибири за Байкалом, в тамошних каторжных тюрьмах. Здесь, на досуге, за глазами сторожевого бдительного надзора, людьми сильных страстей ведется бесконечная и

азартная игра самодельными картами и костями. В играх второго сорта играет главную роль юла, вертушка, с гранями по ребру и цифрами, заместо костей, которую вертят пальцами, играя на деньги (по объяснению самого же Владимира Ивановича Даля). Не так давно, на нашей памяти, эти юлки вертелись, юлили гранями одна за другой, пущенные сильной и опытной рукой на столиках в восемь клеток майданщиками или мошенниками на всероссийских ярмарках. Теперь, расчистив на тюремных нарах место от казенных полушубков и собственной рвани, бросают эти юлы тюремные люди, загадывая просто на чет и нечет по самому простому способу: надо торопиться и оглядываться. С картами больше возни и опасностей, и притом, когда их отберут, делать новые и долго, и трудно. Юлу не так жалко и отдать надзирателю и легче ее спрятать; к тому же, и сделать новую не велика хитрость. Попадется в праздничном приварке для арестантского стола говяжья кость либо принесет ее со стороны сердобольный человек — ее распиливают крученой суровой ниткой, постоянно смачивая ее в растворе золы и березового угля. Один пилит, другой подливает щелок, чтобы нитка не загорелась и не разорвалась. Садясь с готовой юлой за игру, ведут ее, как и все гуляющие на свободе азартные игроки, особенным счетом, с условными выражениями, как и у клубных игроков в лото и бостон: у юлки 9 очков — это лебедь, 11 — лебедь с пудом, 5 — петушки, 4 — чеква и т. д. Там же, в этих же каторжных тюрьмах на Карийских золотых промыслах за Байкалом, мне рассказывали следующее (что я и записал в свое время, в

1860 году, и напечатал в своей книге «Сибирь и каторга»): «Здесь деньги на вино и вещи сбываются тем бывалым тюремщикам, которые вышли из тюрьмы на так называемое пропитание и на краю заводского селения, в особой слободке, обзавелись домком-лачужкой, а в ней и *юрдовкой*, то есть заведением, удовлетворяющим всем арестантским нуждам и аппетиту на вино, харчи и игру. Вещи, сбываемые сюда всегда в наличности, уходили, хотя и на наличные деньги или на обмен ухо на ухо (товар за товар), уходили, разумеется, далеко ниже своей стоимости, например, шинель, ценимая в казне в 2 рубля 17 копеек, отдавалась в юрдовках за 75 копеек и самое большее — за полтора рубля». Вообще следует сказать, что где только ни производились работы каторжными, везде имелись обязательно, на выгоне, где-нибудь в овраге, эти слободки. Им, по установившемуся повсеместно обычаю, непременно присваивалось название «юрдовок», по тем же законам, по каким придается имя всяким городским улицам, переулкам, площадям и т. д. Некоторым юрдовкам удалось превратиться в целые селения с сохранением этого названия, к сожалению, неизвестного В. И. Далю и вследствие этого не занесенного им в его изумительно полный и точный словарь.

ДЕНЬГИ В СТЕНУ

В архангельских краях, именно около Холмогор, известно выражение «давать в стену деньги», везде во всех прочих местах давно исчезнувшее, да

и здесь более памятное лишь в начале текущего столетия. Оно упоминается в грамоте, писаной полууставом на пергаменте и хранящейся в Соловецкой монастырской ризнице. Этот акт выдан был около 1470-х годов третьему преемнику преподобного Зосимы, игумену Ионе (Ивону) от господина государя Нов-города, от всех пяти концов на вече, на Ярославовом дворе, за восемью вислыми свинцовыми печатями: владыки, посадника, бояр, степенных тысяцких и прочее. Этим документом предоставлялось обители преподобных Зосимы и Савватия право на вечное владение всеми Соловецкими островами, в предупреждение обид от новгородских боярских людей и «корельских детей» (то есть жителей). В грамоте, между прочим, сказано: «А кто имеет наступитися на те островы чрез сию жалованную Великого Нова-города грамоту, и той даст Великому Нова-городу сто рублев *в стену*». По объяснению автора «Описания Соловецкого монастыря», изданного архимандритом Досифеем в 1836 году, «древнее присловье давать в стену деньги или собирать деньги в стену не вышло еще из памяти холмогорских поселян-старожилов околопосадных волостей. Сими словами означается у них оклад денежный или тягло, относимое на счет государственной казны, что надлежит взыскать без упущения и заплатить непременно». Полное доверие к этому объяснению несколько поколеблено в прошлом году сообщением нашего известного ученого деятеля и неутомимого исследователя Севера, основательно изучившего быт лопарей, нашего консула в норвежском Финмаркене Д. Н. Островского, в одном

из заседаний Этнографического отдела Географического общества. У лопарей, издавна считающихся христианами, в их погостах, в стенах церквей и часовен наш любознательный консул находил вбитыми в бревна серебряные монеты — по большой части рубли и полтинники, сохранявшиеся нетронутыми, по-видимому, с очень давних времен. На одном строении он насчитал приблизительно до четырехсот рублей. Обветшалость целого часовенного строения и прогнившие стенные бревна в труху и пыль указывали время, когда следовало свободно и без труда вынимать вбитые деньги и на них сооружать новые дома молитвы. Такое буквальное и наглядное осуществление древнего выражения прямее всего указывает на специальное назначение известной подати в пользу исключительно одних церковных зданий, — и это в целой тысяче верст от города Холмогор.

Совершенно противоположное значение указанному очень старинному выражению имеет то, которое недавно придумано и как новое крылатое слово вылетело оперенным лишь в последнее время, почти вчера. Оправдывает себя полтиной за рубль и меньшею единицею плут-купец, припрятавший капитал и мошенническим ловким способом желающий расплатиться со своими обманутыми кредиторами. Этот прием в настоящие дни настолько общеизвестен, что не обязывает ни на какие дальнейшие толкования, которые в достаточном избытке дают разбирательства дел гражданских и уголовных в наших окружных судах и палатах. О нашем старорусском способе взыска долгов посредством «правежа» упомянуто в другой статье.

В СОСЕДЯХ

Пословичное правило советует жить миром с теми людьми, которые поселились домами рядом, бок о бок, двор о двор, стена об стену или межа с межой, и зовутся в более частых случаях соседями (или, вернее, суседями, соседящими вместе) или шабрами (по испорченному старинному летописному от сябер, сябр)[1]. Применение похвального правила обеспечивается давними законами, нигде не записанными, но всеми обязательно соблюдаемыми. Чтобы быть и слыть добрым соседом, конечно, не следует нарушать границ чужой собственности: не захватывать своими строениями или огородными грядами соседской земли. Это прежде и главнее всего. Затевая на своем участке новые постройки, всякий обязан помнить святое правило — не стеснять соседа ничем. Для этого каждый огораживается забором или плетнем; устанавливает грани и кладет на них клейма, которые служат и знаками

---

[1] Довольно известно всем то исключительное свойство нашего языка, что предлог *со*, с во множестве сложных слов превращается в су, как в сумерках, в супрядках, сукровице, супротив. В особенности здесь замечательна точная последовательность в названии животных, приготовившихся произвести на свет продолжателей своей породы. Так, кошка в это время бывает сукотная, куница, соболь и др. мелкие животные — сукочия, лошадь — сужеребая, свинья — супоросная, овца — суягная, потому что и корова стельная, а собака потому только не сщенная, что народное ухо не допускает такого обильного сочетания свистящих и шипящих звуков. Только одни собаки бывают просто щенны, потому что «у суки щеня, а кошки котя — и то дитя» — по пословице.

собственности, и знаками происхождения. Не только нельзя зарыть вырытую им для просушки земли канаву, но и свою надо направить так, чтобы она не подмыла амбара, не затопляла соседского огорода. Опытный и совестливый человек не решится прорубить дверь не только из своей избы, но и из сарая во двор к шабру и не дерзает не только прогонять здесь свой скот на пастьбу или водопой, но и сам осмеливается проходить по чужим владениям, ради сокращения пути и иных уважительных причин, не иначе как с его разрешения. Он вправе требовать места для прохода только в таком случае, когда другого пути нет. Когда надобятся для общего пользования дороги, улицы и переулки, всякий обязан от своего участка отрезать требуемое количество земли, и при том соблюдать, чтобы проездное или прогонное место не было тесно. Можно закрыть этот путь, если он никому не нужен, и если нашелся другой, который может удачно его заменить. Хозяйкам из давних времен указано не бросать сору на чужой участок и не позволяется даже ссыпать золу под соседским забором. Кто проведет к себе воду из общественного источника и этим его изубожит, тому, по мирскому приговору, достанется плохо: велят все переделать из нового по-старому и заплатить денежный штраф. Что каждый выбрал себе и огородил это излюбленное место, тем и владей, как знаешь, но без сторонних ущербов, помня одно, что если сосед дрова рубит, то нас не разбудит. Святое правило, изжитое веками и добытое долговременным опытом, прямо говорит: «Не купи двора, купи соседа». Он не запретит брать из своего колодца во-

ду для питья даром и разве на случай порчи сруба или журавля попросит пособить починкой, из совести. Он вообще явится первым на помощь с топором или могучим плечом во всех тех случаях, где одному невозможно справиться и т. п. Конечно, эти коренные и другие подобные им и многочисленные правила установились не сразу, а после множества ссор и пререканий, следы которых в обилии встречаются в старинных актах юридического характера, открывая обширное и любопытное поле для ученых исследователей. Жалобами и спорами установлялось то могучее начало общинного права, которым сильна и крепка наша Русь. Каждый при своем являлся вместе со всеми, на общем деле, неодолимою силою.

Входя в область так называемого обычного права, соседские права занимают в нем одно из обширных мест и по разнообразию своему представляют благодарный материал для обширных ученых изысканий и бытовых народных картин. Понадобятся объяснения межевых законов обычного права и земельных порядков; скажется разница между забором, изгородью и пряслом, обнаружится удивительное искусство крестьян невооруженным глазом, при помощи одного топора, проводить, например, через леса межевые линии, чуть ли не верстовые и притом с поразительною точностью и т. д. Соседят русские люди не только с деревенскими свояками и сватами, а «суть князи мурымьскыи и рязанскии (татары) в сусудех», говоря летописным выражением. Покупая же соседа, то есть приселяясь к инородцам, наши переселенцы действуют в этом случае с осмотрительностью и

осторожностью: так, например, при заселении богатых оренбургских степей в конце прошлого века, наши, привычные и повадливые без разбора ко всякому соседству, неохотно соседились с башкирами, у которых господствует племенная страсть к конокрадству. С другими, как с лопарями и вотяками, охотно братались наши люди, меняясь тельными крестами и называясь крестовыми братьями, сестрами, с зароком вечной дружбы и взаимной помощи при нужде и т. п.

Если углубиться больше в этот живой вопрос, выяснится крупная разница в крестьянских хозяйствах — великорусских общинных и белорусских подворных. В последних запахивание чужих полос продолжается годами и представляется явлением заурядным, вызывающим множество тяжб. Каждый домохозяин из племени кривичей, дреговичей и древлян заботится всецело о своем лишь благосостоянии. Желание одних привести в известность межи, разрушается всегдашним несогласием других. Вопреки всероссийскому общинному строю деревенской жизни, здесь не только в обществе, но и в семьях все стремится к отдельному, независимому друг от друга самостоятельному быту. Община давно здесь исчезла и слабые следы ее лишь тускло выражаются в единственном остатке славянской старины — в толоках, или помочах — обычае, применяемом в тех же случаях, как и в Великороссии. Ни о круговой поруке, ни о каких земельных переделах и о прочем здесь не имеют ни малейшего понятия, после продолжительных стремлений к обезземелению крестьян местными панами.

ДАВАТЬ СЛАЗУ

Во всех тех частых случаях, когда на малое много охотников, желающих приобрести предлагаемое или продажное, и потому представляются затруднения разойтись по миру-по согласию, издавна установился своеобразный обычай. Зародился он на деревенских базарах и вообще на местах торговых сходок и сделок, где зачастую, говоря книжным термином, спрос превышает предложение. На привозный товар, особенно на самый ходовой и верный, как, например, хлебное зерно, набирается целая толпа покупателей. Большей частью это продувные и опытные и ловкие барышники, за многочисленностью и разнообразием, получившие множество прозваний. Они устанавливают цену, усердно торгуясь и безжалостно притесняя продавца. Наиболее ловкие до такой степени сбивают цену, что всякому чрезвычайно выгодно дать ее и нажить барыши. Как извернуться, чтобы не обидеть соседей и товарищей по промыслу? С ними, по пословице, доведется детей крестить. Придумали так, чтобы решение вопроса, без раздражения до брани и драки и без неизбежных последующих упреков, предоставить судьбе или жребию. Последний и является в форме ломаного гроша или другой медной монеты, с натиснутой зубом щербинкой и т. п. Жребий каждого бросается в шапку, в ней встряхивается и вынимается. Чей первым попался под руки, тот и указал на счастливого владельца: за ним или товар при купле, или тот подряд на какую-нибудь наемную работу,

которая соблазнила сотни людей, но понуждалась лишь в десятках. Удачник обязан откупиться от товарищей, которым не посчастливило, чтобы не было им напрасного и обидного разочарования: он должен от себя внести условленную сумму. Последняя определяется еще раньше, где-нибудь в кабаке, и даже выдается на руки тому, кто окажется опасным либо по задорному нраву, либо по толстому карману, либо по упрямству и стойкости в своих намерениях. Его необходимо отвлечь от торгов, чтобы отстал, не набивал цены или в крайнем случае готов был охотно передать, по жеребьевому обычаю, взятую им работу.

Эта мошенническая сделка, зародившаяся на грязных сельских площадках, перенесена была даже в высокие и светлые залы здания Правительствующего Сената и не так давно практиковалась там, когда сдавались с торгов питейные откупа, быстро обогащавшие многих и ловко спаивавшие народ. В этих случаях отсталое достигало до десятков тысяч рублей, особенно, когда охотились на дело люди с огромными связями, титулованными именами и сильными денежными залогами. Этот способ устранения опасного и лишнего соперника от соблазнительного подряда или даже и просто от такого дела, которое дает голодному хотя малые средства к пропитанию, называется различно — именно потому, что он многообразно и повсюдно применяется. Говорят: «дал отсталого», «взял отступное», получил «слам», дал «слаз». Последнее слово (то есть слаз) наиболее употребительно, хотя, по-видимому, и наименее понят-

ным образом объясняет внутренний смысл свой. Но это только по-видимому. В сущности это слово действительно родилось на постоялых дворах, в ямщичьих кругах, но на сенатских торгах оно предпочиталось всем другим, однородным и более вразумительным. Оно же понравилось и современным подрядчикам на всевозможные казенные и общественные работы, когда являются на торги зачастую люди без гроша в кармане, особенно евреи, составившие из этого дела особый мошеннический промысел. Теперь без них уже ни одни торги не обходятся, и иные юркие люди этими плутовскими приемами не только кормятся, но и наживают изрядные деньги.

Густой толпой накидывались извозчики-троешники на пришедшего седока, желающего ехать в длинную путину от места до места так, чтобы больше уже нигде не торговаться и не искать новых желающих везти, не подвергаться неожиданным, безвыходным и обидным притеснениям. Один из толпы выделяется — это рядчик: он и торгуется, запросивши вперед невероятную цену. Сбавляя с нее с упорством по четвертаку и по полтине, он истощал терпение нанимателя и достигал того, что последний платил двойную сумму, против попутчика, сидевшего с ним рядом в том же тарантасе. Сам рядчик не ездил, — он только устанавливал цену по общему закону во всех сделках подобного рода «торговаться одному, а конаться (метать жребий) всем». Поедет с седоками тот, кто ухватился последним за самый конец палки или веревки, а всем остальным привелось «слазить» с козел, уступать свое место, и

за то получать отступное, «слаз», всегда деньгами и никогда выпивкой. Эта последняя сделка на вино не будет уже отступным, а зовется «срывом», взяткой, именем литок (литка) старинного могорца (могорец), переименованного теперь в магарыч (чаще употребительный при продаже лошадей). Магарычи обычно пропиваются, и если они выпиты, то и дело покончено; если же кого после них взяло раздумье, то тот уже опоздал. Говорится также: «Кто о барышах, а кто о магарычах» и «Барыш барышом, а магарычи даром», потому что и здесь, как и при других крупных сделках, иные наметавшиеся в ярмарочных и базарных торгах «с магарычей так же расторговываются», а иные только лишний раз напиваются. Этот же самый слаз брал ямщик и в тех случаях, когда являлся единственным соперником, но имел перед собою товарища, которому везти сподручнее, так как он обратный, а потому сговорчивый. Выгоднее для этого охотника «дать слазу», оставить себе хоть что-нибудь, — все равно надо ему возвращаться порожняком, и притом совершенно даром: и маленькая рыбка на этот раз — по пословице — лучше большого таракана.

ЧТО НИ ПОП, ТО И БАТЬКА

Если суеверный народный обычай при встрече со священниками, почитаемой дурным знаком, указывающий на некоторые предосторожности, вроде бросания щепок на след и другие приемы,

народился во времена глубокой древности, то доказанное и выписанное выражение несомненно позднейшего происхождения, хотя также старинного[1]. Толковники объясняли нам, что во времена язычества на Руси, священник как представитель новой веры, проповедник христианства и креститель мог быть грозным для тех, которые еще коснели в идолопоклонстве. Когда встречный снимал перед ним шапку, складывал руки так, что правая рука приходилась на ладонь левой, и подходил под благословение, значит, прав человек: получи благословение и ступай своей дорогой. В противном случае скажи, кто ты и во что веруешь, и умеешь ли крест класть на лоб — если же ничему таковому не навык и не научился, — ступай ко властям гражданским. Эта власть «отдаст за приставы» и пособит духовному клиру приобщить к стаду верных новую овцу более надежными и внушительными средствами, чем устная убеждающая проповедь. Наше крылатое слово относится уже к тому времени, когда священство сделалось в народном быту настолько обыкновенным и обязательным явлением в значении отдельного сословия, что народ почувствовал некоторые неудобства и тяготы, стал поговаривать: «От вора отобьюсь, от приказного откуплюсь, от попа не отмолюсь». Тогда уже спознали, что у последнего «не карманы, а мешки», привыкли к поповским обычаям, которых

---

[1] Дурным предзнаменованием служат также встречи с девкой, со вдовой, с монахом, вдовцом, холостяком, с пустыми ведрами и т. д.

оказалось очень много. «Родись, крестись, женись, умирай — за все попу деньги отдавай» — говорилось в сердцах и запечаталось в пословичном выражении. Вовремя узнались поповские глаза завидущие, руки загребущие и поповы детки непутные, редко удачливые, и поповские замашки и норов, который на кривой не объедешь. Дошли и до таких тонких наблюдений, что выучились узнавать попа и в рогоже; стали отличать не только поповых дочек, но и поповых собак и куриц. Познакомились и со вдовой-попадьей, которая всему миру надокучивает, и с замужней, которая обычно на всех деревенских пирах требует себе почетного места, тискается вперед, толкает под бока локтями и, не глядя, наступает на ноги.

С самых древних времен крепостничества и до последних дней его издыхания выработались такие взаимные отношения рабов к властям и начальствам всякого вида: общая покорность в помещичьих вотчинах земским властям, беспрекословное и быстрое повиновение приказам земской полиции, робкое и льстивое обращение с начальниками разных статей, как, например, с лесничими, с так называемыми «водяными» инженерами и прочими чиновниками по многочисленным специальностям. Чиновник видоизменился в имени — стал зваться всем крестьянством без различия «барином». Не только помещичьи, но удельные и государственные крестьяне начали отличаться, например, в лесной России именно тою мягкостью и податливостью в обращениях со всеми властя-

ми, которая породила характерную народную черту лукавства, выраженную столь определенным и коротким сказом: «Что ни поп, то и батька». Тогда народ вполне был убежден в том, что он «есть барский», и свободно позволял «вить из себя веревки». Выходило во всяком случае так, что при множестве властей, не обузданных в определенных границах в своем значении и влиянии, всякий оказывался барином: кто раньше встал, палку взял, тот и капрал, или, что ни поп, то и батька. В новейшие времена для кого безразлично служить в том или другом месте, работать, угождать и льстить все равно кому бы то ни было, для такого человека, конечно, то же самое, что ни поп, то и батька, и т. д.

НАЧАЙ

Я просил наборщика набрать, а корректора не исправлять этого слова, стоящего в заголовке, на том основании, что чувствуется в нем такое плотное слияние начального предлога с управляемым существительным, каковое слияние замечается и в самом обычае с народною жизнью. Из двух частей речи народилась одна. Это нарицательное имя, означающее всем известную и для каждого обязательную установленную подать, родственно, по внешней форме и внутреннему смыслу, например, со словами настол (русский колым или плата, полагаемая на стол за невесту), наславленье — сбор в руках духовенства, веще-

ственный знак благодарности за духовное славленье при посещении домов со крестом и святой водою, нахрап и нахрапы — взятые насильем взятки и жадно награбленные состояния вымогателей, на́рост — деньги, даренные крестным отцом, или то же, что общеупотребительный назубо́к и прочее. Все эти старинные слова, подобно приданому, подушному и т. п., издавна склоняются по всем падежам обоих чисел. Говорят, например, смело и не оглядываясь на свидетелей, таким образом: не жалел кум на́ростов крестникам — ударение на первом слоге, чтобы не смешивать с болезненным возвышением на живых телах, — не жалел этих подарков: без нароста никогда не подходил к купели, рассчитывая наростом привлечь любовь крестного сына и на щедром наросте достигал того же и у кумовьев. На том же основании и наше составное слово, удалившееся смыслом на неизмеримое расстояние от своего корня (чай — растение, а начай — мелкая взятка, плата сверх условия или за небольшой труд), начинает в живой речи подчиняться всем грамматическим правилам. Кое-где уже дерзают говорить во множественном числе, примерно так: пошли поборы да взятки, да разные нача́и; всем праздникам бывает конец, а нача́ям конца нет, и в год приходится раздать нача́я столько, что карман трещит. Хотя от начаев богат не будешь, однако иные семьи давно уже помаленьку живут этими самыми нача́ями. Стало быть, и нам не только обязательно выдать начай, но можно остаться при этом без карманных денег от выданного сегодня нача́я и быть по праву всег-

да недовольным частым начаем[1]. Если в самом деле кажется странным склонение этого слова в единственном числе, то, минуя то бытовое явле-

---

[1] В купеческих счетах на Волге давно уже значатся «начайные» деньги, стоящие рядом с наводочными и нахлебными. В указанном же примере следую тому же образцу, который указан давно установившимся обычаем, приложенным к слову «завтра» (заутро, завтрие) как существительному среднего рода. Родительный падеж будет, по желанию, или завтрея, или завтраго, или завтрева (не далее до завтрева). А затем дательный день к вечеру, а работа к завтрему, — к тому же времени можно теперь из Петербурга и в Москву попасть, — к завтрею, завтру, заутру. Когда завтра будет? (винительный) — ответ: никогда. Сегодня не сработаешь, завтреем не возьмешь (творительный). В творительном говорится и так: завтрим, заутром; в предложном, стало быть, о завтрее, о завтрем, о заутре. Вообще у завтра нет конца, как, между прочим, нет конца и предела той свободе обращения с родным языком простого народа, нестесненного грамматическими правилами, навязанными в школах. Своеволие (если только имеем право так выразиться) доходит до изумительных дерзостей. Укажу на один курьезный пример. Знакомое вам со школьной скамьи из уст учителя русского языка личное местоимение в родительном падеже множественного числа во многих местах, среди мещанского купеческого и крестьянского люда, принято за существительное имя и дерзостно склоняется на разные лады, конечно, в значении «не моего, чужого», принадлежащего другим. Говорят: иха, ихо, а потому, ихова, ихово, ихому, иху, ихи, ихим, ихих, ихими. Затем, конечно, по последовательности усвоенного привычкою правила: ихнии, ихна, ихно, ихнова, ихному, ихну, ихни, ихних, ихним, ихными и т. д. Это, впрочем, то же самое, что «ейный» петербургских кухарок, у которых замечается особенная наклонность уродовать родной язык — говорить: «был уседчи», вместо ушел, то есть в замену прошедшего времени всех залогов глагола говорить причастиями и деепричастиями прошедшего времени.

ние, что эти поборы часты, многочисленны и мелки, мы все-таки не должны забывать, что это слово новое, создавшееся почти на нашей памяти. Оно еще не обдержалось так, чтобы могло гнуться и склоняться по грамматическим правилам. Свободные в обращении с родным языком, как ветер в поле, русские люди с природным, старинным словом давно уже не церемонятся. Например, млеко в нынешней форме своей проводится на севере России по всем падежам множественного числа, вопреки запрета всех наших грамматик, прославившихся противоречиями, недописанными законами и недоделанными правилами. Там твердо уверены, что молоки бывают разные, друг на друга мало или совсем не похожие: пресное и квашеное или кислое, топленое и парное, простокваша и варенец, творог, сметана и сыры, — вообще все молочные продукты, имеющие одно общее название «скопов». Вот почему и едет смело и решительно на архангельский базар подгородная баба и дерзко и бессовестно кричит на всю площадь, предлагая свой товар в разнородных сортах и во множественном числе любому учителю и ученику гимназии.

Слово «начай» действительно новое, лишь в середине нынешнего столетия дерзнувшее счастливо посоперничать и с притворною ласковостью, и с обманом подсменять заветную и старинную «наводку, наводочку, навино́». Год, когда началось повальное московское чаепитие, с точностью определить трудно: говорят, что вскоре «после француза» получила свое начало трактирная жизнь, и дикие, домоседливые купцы начали по-

сещать театры, отдавшись обоим развлечениям с неудержимым увлечением и охотою. Изменились люди до того, что давно уже в Великороссии сложилась поговорка, что «ныне и пьяница наводку не просит, а все начай». Исключение представляют два родственные народа: белорусы и малорусы, за которыми, в числе многих древних привычек, осталась и эта просьба, высказываемая откровенно и напрямик «на горилку». На больших дорогах, вблизи племенных границ эта просьба ямщика, обращаемая к проезжему, смело засчитывается в число этнографических признаков таковых границ. Так, например, по Псковской губернии все просят «начаек». В Витебской и Смоленской тот же почтовый ямщик, почесывая спину и в затылке, выпрашивает на прощание «на вино». Почтовая «наводка» сделалась даже обязательною, законом установленною прибавкою (от 5 до 10 копеек) для едущих даже по казенной надобности, освобожденных от платы шоссейной и за экипаж (по 12 копеек). Право это до того всосалось в плоть и в кровь ямщиков на всем пространстве русской земли, что отказ считается невероятным и вызовет неприятные сцены. Обещанная прибавка к наводке, наверное, обещала ускоренную езду, а приведенная в исполнение по пути натурой — тешила и веселой песней и острыми прибаутками и приговорами. Никто не освобожден был на почтовых трактах от этой сверхсметной платы, и она не вписывалась даже в те реестры, которыми снабжали проезжих в частных тарантасах дворники постоялых дворов. Один раз едущие до Нижнего в частном таран-

тасе в количестве пятнадцати человек выбрали меня старостой, то есть вручили собранные со всех деньги и обязали расплачиваться на каждой станции по переданному мне реестру. На первой же станции мне пришлось прибавить своих денег на две наводки: ямщику и нарядчику и потом не без труда, ссор и споров согласить соседей на добавочную складчину. На станцию Петушки приехали мы ночью. Подошедший к тарантасу мужик вызывал старосту и, объявившись мне очередным ямщиком, спрашивал разрешения запрягать. Надобности в нарядчике не оказалось: можно этому же ямщику и отдать накладную прибавку. Я вылез зашел в избу и при свете нагоревшей сальной свечи увидел неподвижно лежавшее тело, вытянутое во всю длину лавки. Оно храпело. Когда полчаса спустя, пришел очередной ямщик объявить, что готовы лошади, спавший поднялся во весь свой рост и, почесываясь и потягиваясь, выговорил: «Нарядчику с твоей милости наводочку следует». На вопрос: «За что?» — он промолчал. На замечание, что я сам нарядил ямщика и что мне с него еще бы за эти хлопоты следует и я его очень прошу о том, нарядчик простодушно и стыдливо улыбнулся, но на требовании больше не настаивал. Таким способом один раз проспал он, живучи на веселом постоялом дворе, сверхсметные наградные деньги, один раз во все время дальних поездок моих я не дал кому-то и за что-то наводку. И да простит меня читатель, что я рассказал о таком, по-видимому, ничтожном случае, имевшем, однако, всероссийское значение и доставлявшем немалые испытания в постоянной

заботе о мелких деньгах. Заплатишь, бывало, прогоны вперед за три станции одного и того же содержателя и счастлив надеждою выспаться: будить не станут. Не тут-то было: в самом сладком, здоровом и молодом сне со второй станции на третью безжалостно настойчиво и требовательно наводка трясет за руку, хватает за плечо, гладит по спине, трогает за ногу, — и будит. По пословице: «Не жаль тебя, да жаль вина». Аппетит велик, а заработок скуден; при ограниченных требованиях в жизни, в деревне или селе гривенник — тот же рубль для иного. Да и вообще насколько скудна деревня и велика деревенская нужда, можно видеть из того разнообразия указаний, которым наскоро и счет подвести нельзя. Со всех ног мчатся босоногие ребятишки отворять проезжим ворота, выходящие на деревенские поля, а если ворота из деревни на выгоны остаются незапертыми и даже сняты с петель и нет даже такой работы, те же ребята гурьбой стоят у дверей и ждут подачки, что сбросят: пряники, баранки, медные копеечки, орехи. Не догадался запастись всем этим проезжий, — смелые бранятся, малые во всю глотку ревут и все-таки бегут следом вподпрыжку, так что пятки сверкают.

В одних местах, как в той же Новгородчине, прямо, без всяких обиняков просят на хлебушко — подавайте этим, ради Христа самого подавайте; своего хлеба не хватило им далеко до Николы зимнего, а привозный и продажный купить совсем не на что. В местах посытнее просят на калачики — на сладкий кус, на пшеничные баранки; на Кавказе и за Кавказом — на киш-

миш. Красным девицам дают на орешки, горничным — на помаду, барышням — либо на булавки, либо на перчатки, солдатам — на табачок и т. д. Складывают правую руку в горсточку и вытягивают ее во всю длину навстречу прохожему малые дети, прося на орешки, где их нет, и на пряники, где их пекут да не дают даром. Суют руку и взрослые, говоря еще проще: «Прибавь на бедность». Часто услышишь: «Подайте на погорелое», хотя последнее бывает двух сортов: правдивое и лживое. А иной «Абросим совсем не просит, а дадут — не бросит»: ему, пожалуй, уж и не такая великая нужда в милостыни, да от дарового не велят отказываться, если уже расходилась милостивая и не оскудевающая рука дающего.

Степенный старик с окладистой бородой, с подвешенным на груди планом храма и со внушительным видом выпевает: «Будьте вкладчики в церкву Божию, на каменно строенье» (на кабацкое разоренье — подсмеиваются остряки). Молодой парень с длинной палкой от собак и с блюдечком, накрытым шелковой тряпицей, для доброхотных даяний просит «на благовестное колоколо». Подачки или подарков просят даже на сватьбах: «на шильце, на мыльце, на кривое веретено». Выражение «шильцем и мыльцем» вошло даже в поговорку о тех людях, которые, по бедности, пробиваются кое-как, но не выпускают из рук ничего подходящего и ничем не пренебрегают. Малые нищие молят «на хлебец копеечку», большие «для праздника Господня: телу во здравие, душе во спасенье от своих трудов пра-

ведных». Это очень длинно и нараспев, и в таких местах, где надо надокучать, чтобы разжалобить, надо долго петь, чтобы обратить внимание. В архангельской тайболе, в самых глухих и совершенно безлюдных местах ветхие старики-кушники, неспособные за увечьем или старостью к работе и от долгого житья в пустынном одиночестве даже разучившиеся говорить, мозолистую правую руку, сложенную корытцем, протягивали мне со словами: «Не сойдется ли что с твоей милости?» Тут уже нет определенного вида нужды, ибо все нужно, ничего нет, кроме общественной курной избы. Этому что ни дашь — все ладно: яичко ли, недоеденный пирог. Здесь, пожалуй, за деньгами не очень гоняются, ничему они не послужат, потому что и купить негде и нечего в этой мертвой лесной пустыне. Остался один, не помнящий добра желудок, который и просит хлебушка, а в прочих желаньях не на чем остановиться, все неизвестно, а былое забыто и замерло. Тут все ясно, а потому и коротко. В населенных местах нужда болтлива: она просит, распевая и длинными стихами и коротенькою складною речью, всегда уныло и протяжно. Придуманы праздники и с ними установлено, когда и о чем просить: яичка и сыров на Пасху, ветчинки и колбаски на Рождество, блинов на могилах, и к этим временам прилажены длинные стихи, распеваемые в Белоруссии особыми артелями так называемых волочебников, в Великороссии мальчиками, разными нищими и т. п. Во всяком случае здесь нужда мудрена: пошла на все выдумки, хотя на самом деле истинная нужда скромна и молчалива.

В приемах выпрашиванья «нача́ев» замечается, между прочим, некоторое движение и колебания и видимы перемены. Одни исчезают, другие нарождаются с несомненным перевесом последних над первыми. Говорят, московские банщики не ходят уже с «масленицей» на большом подносе, на котором сооружено было нечто аляповатое из цветной и золотистой бумаги и картона, окладенное иссохшими в пыль конфектами в пестрых бумажках, по подобию тех, которыми чествуют гостей на купеческих сватьбах (банный обычай существовал еще в 50-х годах). Половые в московских трактирах не подают уже посетителям на рождественских праздниках стихов, напечатанных на разноцветных бумажках — творений знаменитого Федота Кузмичева, швейцара дворянского собрания, который на вопрос В. Г. Белинского в рецензии «Отечественных Записок» о том, откуда он набирает для своих стихотворений такую несуразную галиматью, отвечал печатно: «Из-под черепа, милостивый государь, из-под черепа». Обычай этот пробовал было применять в Петербурге известный швейцар клуба художников Ефим Дроздов, но неудачно, то есть с денежным успехом, но без подражателей. В Петербурге «начаек» делается невыносимым испытанием, беспокойною мукою, вроде каторжных работ, отравляющих доброе или веселое праздничное настроение на оба праздника: Новый год и Пасху. Особенно это безвыходно тяжело для людей, живущих ограниченными средствами, но обязанных вести знакомства и заручившихся связями, когда, можно сказать, с ног сбивают эти

просители наводок и начаев, в виде швейцаров, дворников трех сортов: старшого, всех вместе и того, который состоит при квартире, водопроводчиков, полотеров, трубочистов. Кто читает и переписывается, того посещают почтальоны, телеграфисты, разносчики газет, посыльные, курьеры того или другого ведомства, сторожа гимназии и прочее сонмище, ему же несть числа и меры, и им же имя легион. Весь этот сонм просителей собирает ту сверхсметную, но обязательную подать, которая, кроме великого множества прочих окладных сборов, полагается за незавидное право житья в дорогом и нездоровом городе.

ИЗ КУЛЬКА В РОГОЖКУ

Мужик надрал лык с липовых деревьев в мае, когда поднимается древесный сок, а кора сидит слабо, и сделал надрез сверху вниз. Соком отдирается кора от ствола и в июле сама отпадает. Собранное лыко до октября кладут в речки или ямы, где оно очищается от верхней коры и клейкого вещества. Связал мужик надранное лыко вязками, сложил на воз и свез на базар. Нашлись у него покупатели. Здесь, по давнему обычаю, ждут этого доброго и трудолюбивого человека лиходеи затем, чтобы запутать простоту и сбить на его товар цену. Сами ткачи не торгуются, а подсылают бойких молодцов. Когда эти установят бессовестную цену, покупщики, стоявшие в кучке и в стороне с тем видом, что как будто вся эта плутня не их де-

ло, — начинают бросать жеребий. Кому вынется, тот и принимает покупку; остальным выдает он отступного, каждому по 5, 10, 15 копеек. На эти деньги покупается водка, которая и выпивается, как накладная цена, понижая на ту же сумму цену товаропроизводителей. Иные только за этим магарычем и ездят на базары без копейки в кармане и без стыда в глазах. Промышленный человек роздал это лыко подручным рабочим из вольных охотников, а то и сам принялся за выделку, если есть у него своя зимница — большая холодная изба с небольшими окнами, заложенными соломой. В ней стоит пыль столбом, жар, духота и смрад, каких поискать в иных мастерских. Тут едят и спят, и время проводят так, что, выспавшись немного в сумерки, в 10 часов вечера встают на работу до рассвета, когда завтракают, потом с час отдыхают и снова работают. Труда много, но изделия идут на базарах за бесценок. Наживаются, как всегда и везде, кулаки как скупкою и перепродажей рогож, так и торговлей мочалом. Из коры стволов приготовляется луб, из коры ветвей выделывается мочало, для чего оно раздирается на мелкие ленты. Из них на станах, стоящих посреди зимниц, ткут рогожи разных сортов и наименований тем же способом, как и шелковые материи (с основой и утоком): через большое бердо снуются мочалочные ленты, концы которых связываются в один узел и натягиваются на деревянную раму. Уток продевается иглой в 3/4 аршина длины, которая имеет на обоих концах дыры для вдевания лент. Из двух рогож большой иглой, согнутой в дугу, шьется куль: лучший сорт — верхи — идет в нем

на покрышку, испод составляет внутреннюю сторону куля. Это кулье с хлебом в бунтах покрывается таевкой, вытканной гораздо длиннее и несколько шире. Если из прорванного крюком или из худо сотканного и потому всегда легкого на вес куля высыпался хлеб на покрышки, то не все ли равно, — на ту же рогожу, но лишь с худшим исходом и лишним трудом для рабочих. Лежал хлеб в зашитом куле: хорошо ему было. Высыпался он, и испортил все дело. От непогоды, под дождем спрятался по случаю один находчивый возчик в распоротый куль — ему стало немножко ловчее, да подняли на смех товарищи. Насмешки обидели, он прикрылся таевкой, но выиграл немного: рогожа стоит коробом, защищает спину, но не прикрывает головы, вода течет за ворот, да притом надо постоянно запахиваться, потому что тяжелая рогожа лезет себе с одного плеча на другое. Сделалось не только не лучше, но даже несравненно хуже, хотя и приличнее, по крайней мере теперь некому насмехаться, потому что все товарищи облачились таким же образом. Ошибся в чем-либо иной человек (не рогоженный возчик, а, например, городской щепетильный житель), рассчитывал поправиться, изловчиться, придумал новый способ и снова неудачно: «Поправился из кулька в рогожку». Это еще хорошо или так себе, все около того же, ни хуже, ни лучше, одинаково. Но бывает невыносима неудача в тех случаях, когда приходится сказать и самому себе (и посторонние люди с этим вполне согласны): «Попал как кур во щи» или «От дождя да в воду», или «Попал из огня да в полымя» и т. д.

ловкий и бессовестный плут доверчивого человека, как обдирают деревенские мужики молодые липовые деревья на лапти. Вышло так, что была липка, а стала лутошка, то есть древесина, лишившись защиты, засохла и вся почернела. Оттого и неудачливый, и бедный человек бывает гол, как лутошка, и бос, как гусь. По преданиям и сказаниям чешский Премысл и польский Пяст, почитаемые родоначальниками народов и основателями государств, носили липовые лапти. Померанские славяне в 1129 году, когда были крещены, посадили у того крещатика — источника — четыре липы и берегли их, как заповедные, многие годы (одна из них перестояла прочих до памятных людям дней). Недаром липа должна почитаться народным славянским деревом, подобно пальме у арабов, оливковому масличному дереву у греков, немецкому дубу и прочее. В самом деле, липа сильно распространена от Балкан до Ладожского озера и отсюда до рек Алдана и Маи на крайнем северо-востоке Сибири, хотя уже и не сплошными насаждениями. Тем не менее в Уфимской губернии сохраняются еще, как общеевропейская диковинка, липовые леса. Неудивительно, если это дерево, которое издревле столь долгое время и надежно обувало всю Русь, — по всему славянскому миру дало свое почтенное имя великому множеству поселений, городов, гор и других живых урочищ и от липы же произошло название славянского месяца (июля).

ОТВОДИТЬ ГЛАЗА

В том значении, в каком понимается это выражение в городском быту и осуществляется на практике более видимым образом в чиновничьем, младшими над начальством, есть уже переносное. Корень его скрывается в народном суеверии. Прямой смысл — морочить, зачаровать: леший, например, отводит так, что обойдет кругом, заведет в трущобу и заставит безвыходно плутать в лесу. Колдуны и даже знахари (колдун-чародей и волшебник знается с нечистой силой, знахарь-ворожей или самоучка лекарь может прибегать к помощи креста и молитвы) — оба эти молодца умеют напускать наваждение, или мару, на глаза. Никто не видит того, что стоит перед глазами, а все видят то, чего нет вовсе. Довольно известен такой забавный пример.

Неведомые мужики едут на базар и видят толпу, глазеющую на какое-то диво. Остановились они и присмотрелись; не уразумели сами — стали других расспрашивать. Отвечают им:

— Вишь ты, цыган сквозь бревно пролезает, во всю длину. Бревно трещит, а он лезет.

Проезжие стали смеяться:

— Черти-дьяволы! Да он вас морочит: цыган подле бревна лезет и кору дерет. Так и ломит ее, — вон глядите сами.

Услыхал эти слова цыган, повернулся боком к проезжим да и говорит:

— А вы чего тут не видали? Глядите-ко на свои возы: ведь горят. Сено на них горит.

Оглянулись проезжие и в самом деле видят, что горит на возах сено. Бросились они к своему

добру: перерубили топором гужи, отхватили лошадей из оглобель, и слышат, как позади их вся толпа, что стояла около цыгана, грохочет раскатистым хохотом. Повернулись проезжие опять к своим возам, — как ни в чем не бывало: стоят возы, как стояли, и ничего на них не горит.

ЧУЖОЙ КАРАВАЙ

Старинная пословица говорит: «На чужой каравай рта не разевай», иногда с прибавкой, кажется, позднейшего вымысла: «а пораньше вставай, да свой припасай». Смысл руководящего правила первой половины внушителен и без объяснительного совета второй. Является здесь отчасти странною ссылка на непочатой печеный хлеб, а не на иную снедь более вкусную, заманчивую и соблазнительную для всякого любящего поесть на чужой счет и незаслуженно. Не из одного же поползновения к созвучию и складной речи выдумалась эта общеизвестная поговорка. Каравай в бытовом смысле имеет особенно важное значение, несомненно восходящее к древнейшим славянским временам и сохранившееся в сватебных обрядах малороссов и белорусов (в Великороссии только кое-где в южных губерниях, например, в Воронежской, Тамбовской, Курской, на Дону).

Выпила девица вина из бутылки, принесенной женихом, сняла с себя пояс, обмотала им ту бутылку и в таком виде возвратила сосуд принесшему, — значит, согласна на брак, сделалась невестой, подписала контракт и, за безграмотст-

вом, узелком пояса указала место печати (в Великороссии этот обычай заменен посылкою жениху белого полотенца невестина рукоделия). Теперь она ни в каком случае не имеет права отказать жениху, который начинает производить затраты, готовясь к сватебному пиршеству. Белорусские волостные суды, в случае отказа невесты, приговаривают ее родителей к денежному вознаграждению жениха, в размере произведенных им трат: на пропой (угощение) родственников; «посажную (сватебную) свинью жених заколол, обручальные кольца купил» (не принимают лишь подлежащими возврату те деньги, которые употреблены были на подарки самой невесте). Со дня заручин начинается стряпня «каравая» в обеих семьях: невестиной и жениховой. Здесь-то сосредоточивается главнейшим образом вся мистическая часть обряда, до сих пор отстаивающая себя от всех прочих церковных обрядов. Эти — сами по себе, но языческие символы прежде всего и впереди прочих. «Расчиненье» каравая (растворение теста) имеет вид особого священнодействия, где жреческие обязанности возлагаются на какую-нибудь непременно замужнюю женщину; причем все мужчины удаляются вон из хаты. Мальчик бегает по соседям и собирает гостей[1]. Сажает каравай в печь, не иначе как с общего благословения, мужчина, голова ко-

---

[1] На Дону, когда сажают каравай в печь, то все собрание держится за лопату, свахи освещают печь, и эти свечи, обвитые лентами, на другой день вручают жениху и невесте пред алтарем. Теперь все это стало там забываться и не везде исполняется.

торого повязана бабьим платком. При этом поют соседки-«каравайницы» особые «каравайные» песни, между прочим, о том, как бояре печь затопили железными дровами, как шелковые дымы вышли, и выпекся каравай, как колесо. А затем все это для того, что «у нашего господаря кудрявая голова, ён кудрами потрясе, нам горелки унесе». Так как это бывает в субботу, всегда накануне венчания, то на следующий день каравай становится главным символом и выступает на первое место. В обоих случаях (и у жениха, и у невесты) каравай выносится из чулана или с гумна на веке (крышка на квашне), несется двумя девочками, ставится на стол перед сговоренными. Каждый из них должен приложить к караваю лицо свое и поплакать. Только после того начинается благословение родителями. Перед отъездом под венец жениха и невесту три раза обводят кругом стола и они целуют свои караваи, берут их в руки и с ними выходят из хаты. Священные хлебы эти увозятся в церковь, кладутся на аналое, а по возвращении домой обрядовая возня с ними все еще не прекращается. Молодых встречает мать невесты, обязательно в надетом навыворот кожухе (шерстью вверх) и в мужицкой шапке — для богатой жизни. Начинают расплетать косу, надевают наметку, убор замужней женщины, и делят каравай так, что первые два куска даются новобрачным, а остальные непременно каждому из свидетелей и участников брачного пиршества. Режет каравай ребенок, а куски раздает гостям сват.

Для последней цели этот пшеничный пирог печется большим: на верхней корке делается

крест и украшения в виде птичек, свернутых из теста. Украшают также маленькими венчиками, золочеными бумажками; на веточки вешают ягоды калины и прочее. Калине приписывается также мистическое значение и она воспевается в песнях в применении к невесте: «пришел час, пора и годиночка, — зацвела калиночка». Сгибают каравай (как поется в песне) «с цветками, с перепелками, с дорогими маковками». В прежнее время с этим караваем, завернутым в холст, ходили к пану, к священнику и к иным почетным лицам на поклон.

Не без намерения привелось остановиться на подробностях обычая именно в силу его символического значения и притом замечательного своею обязательностью во всех местностях Белоруссии, где мне ни доводилось расспрашивать и прислушиваться к описанию свадебных обрядов. Везде они поразительно одинаковы, везде каравай, подобно именинным пирогам, масленичным и погребальным блинам, родильной каше, святочным колбасам и пасхальным яйцам, играет роль священного хлеба. Обязательно его расчинение с таинственными обрядами и песнопениями и дележ также со священнодействиями, подобными переходу от венца в хату через огонь, подобными поджиганью невестиной косы двумя свечами, сложенными накрест, и сидению на деже, приему молодых в вывороченной шубе, выходу новобрачных после отдыха с полотенцем, которое держат они за оба конца и т. п. В таком смысле и религиозном значении каравай мог быть принят, в исключение перед прочими

яствами, в пословицу, упрекающую тех, кто любит и привык поживляться чужим добром, не запасшись собственным трудовым. Белорусский каравай (по песне): «Сам Бог месит, Пречистая святит, Ангелы воду носят, Христос приступает, хустою (платком) накрывает». Во всяком же случае обряд «каравая», перешедший в обычаи христианские, с ними смешавшийся и ими освященный, не утрачивает значения древнейшего языческого обряда доисторических времен. Он исчез в Великороссии под известным влиянием наиболее энергического и усердного давления проповедников христианства и насадителей православных обрядов, но сохранился вместе со множеством других старинных в Белой и Малой Руси под шумок долговременной борьбы двух исповеданий, выразившейся унией[1]. Народ предпочел вековечную старину и дорожит ею до сих пор как наследием предков тех «дзядов» (дедов), которых признает олицетворенными, живыми духами, и в честь их повсеместно установил особые праздники, обставленные многоразличными мистическими обрядами.

По-белорусски выходит, таким образом, что после символического закрепления договора поясом жених и невеста получают право жить до

---

[1] В. И. Даль в своем Толковом словаре привел приговор на сватебном пиру, когда вынимают каравай: «Мой каравай в печь перепелкой (небольшой птичкой), из печи коростелкой» (то есть с припеком, значительно покрупнее). Указав также старинный сватебный чин каравайника, обязанного, во время сватебного домашнего священнослужения, носить каравай.

венчания между собою брачно и они уже называются теперь молодыми, то есть новобрачными. В Малороссии требуется еще отбывание «весилля» — угощения, которое также не совпадает с церковным венчанием, так как обычай не считает необходимою одновременность двух актов, принятую великорусским крестьянством. В этом обстоятельстве для Малороссии заключен тот важный смысл, что брак признается целым обществом и это признание важнее церковного. Малороссийскому караваю в данном случае придается более глубокое значение, чем первоначальному договору при сговоре — значение к тому же и окончательно решающего права на законное сожительство. В Малороссии так и толкуют: «Хоть по чарци выпить, да караваю зъисты, а усетаки треба».

ПРИХОДИ ВЧЕРА

В указанном смысле насмешки выпрашивающему заветную или себе нужную вещь действительно слышится чаще. В виде же ответа должника заимодавцу — редко (разве в форме сарказма при жалобе последнего на первого, которого он и не видал, и не застал дома, и ответа такого слышать не мог). Так как завтра все равно, что вчера, то заимодавцев обыкновенно потчуют должники «завтраками». У такого завтра обыкновенно нет конца, и от таких угощений еще никто, как белый свет стоит, не бывал сыт. Соб-

ственно же совет приходить вчера имеет более глубокое и знаменательное значение, если углубиться в беспредельное море народных суеверий и примет и припомнить изумительную доверчивость и пристрастие народа ко всему необычайному и чудесному.

Здесь все дело в том заключается, что проклятый царь Ирод имел «двадесять поганых дщерей во едино время. Шествие творяще святии отцы по горе Синайской и сретошася им двенадцать жен простоволосых и вопросиша святии отцы проклятых: «Что вы есте за жены, и куда грядете? Отвечали проклятии: мы есмы дщери Иродовы, идем род человеческий мучити и кости ломати и зубы скрежетати. — Что имена ваши? Они проклятии отвечали (это — по Нижней Волге): имена наши: царапея, цепонея, скучая, дулея, ищея, шатушка, колея, камнея, чихнея, тандея, знобея и тряска[1]». Надо отбиваться от нападений, — а чем? — умываться на заре нашептанной водой, отписывать на пряниках и есть ведомые знахарями слова (отнюдь нельзя их развертывать — хуже будет), можно и на крест на бумажке привязывать. Змеиной выползок целый месяц носить — помогает, за-

---

[1] Или еще лучше (это в северной и подмосковной Руси): лихорадка, лихоманка, трясуха, гнетуха, кумаха, китюха (она же и тетка), желтуха, бледнуха, ломовая, маяльница, знобуха, трепуха. На юге только две: веснянка и подосеница, да зато у этих сорок сестер: одна под тыном прикидывается — подтынница, другая на дворе пристигает (навозная), третья сорвалась с веретена и заскочила в пряху (веретенница) и т. д.

сохшая лягушка способит, кусок свиного сала на том же кресте целит: она, проклятая дщерь Иродова, свиньи боится. Прибегают и к сильным решительным средствам: уносят больного в лес, завязывают над головой два сучка березы (боятся Иродовы дщери и этого дерева) и велят больному кричать: «Дома нет, — приходи вчера!»[1]. Сам знахарь приговаривает: «Покинешь — отпущу, не покинешь — сама сгинешь».

— Стало ли больному лучше, помогло ли?

Планетчик сказал:

— Находка неспроста. Вишь эта болезнь не ему сделана; да он случайно набрел на нее: с болотной кочки она знать в него и заскочила. Видно уж, сердешный, с тем в землю пойдет.

Видя, что ничто не помогает, стали больного «жалеть», оказывать любовь свою: кто принес соленых огурцов, кто кислой капусты столько, что здоровому молодцу в три дня не съесть. Начали угождать больному: в сенцы на холодок вынесут — горит он, так прохолодится; помогут ему составить ноги на пол и дверь настежь отворят — очень уж пот-то его одолел: пущай обсохнет!

— В последние ведь! Одна нога у него уж, видимое дело, в гробу. Лекарь-то Бог, что ли? Вложит он душу-то, когда она вылетать собралась?

Бывает и так, что проказник домовой, который любит щипаться, толкать под бок и будить

[1] Такой же заговор применяется и к чуме, во время падежа скота, и во всех болезненных случаях, где предполагается действие живой злоехидной силы.

ночью, гладить рукой и прочее, но неохотлив говорить, — вдруг что-нибудь скажет, обычно позовет по имени. Кому это почудится, тот обязан сказать ему (мысленно, чтобы не рассердить этого вообще доброжелательного старика), любимое его слово, владеющее для всех нечистых великою силою:

— Приходи вчера!

ПУСТОБАЙКА

Выражение «приходи вчера», взятое в прямом его смысле, без применения в качестве зарока и заклинания, — не что иное, как бессмыслица, без толку и значения. Ею пользуются, между прочим, балаганные шуты, рассчитывая на то, что в числе прочих шуток-прибауток она сойдет за острое словцо, вызовет к себе внимание толпы и возбудит в ней смех, а, может, на счастье, и хохот. В сущности «приходи вчера» относится к разряду «пустобаек», составляющих, вместе с пословицами, поговорками, присловьями и загадками, особый отдел народных изречений, довольно богатый материалом, но скудный смыслом, и потому стоя́щий ниже всех и сто́ящий дешевле всех соседей. В отдел пустобаек следует отнести и все те изречения, на которые потребовались от меня объяснения. Их дать нельзя либо потому, что за поисками красного слова или яду на острие насмешки, они оказались бессмыслицами (как заданный «сивый мерин», который «врет»), либо выхваченные из иностранных языков они там и

корни оставили, и жало завязили. Такова заданная мне «свинью подложить» как недавно заимствованная для обогащения языка и, крадучись, пробирающаяся в народ наравне с родственными ей дворянскими, господскими и взамену устарелых или набивших оскомину и сильно надоевших от частого оборота на житейском базаре. Таковы: подсыпать кому перцу, запустить шпильку, поставить горчишник, задать закуску, подвести под сюркуп и прочее. В деревнях взамен этого слова давно уже пользуются не менее бессмысленными. Есть и гораздо лучшие хотя бы потому, что домашние, а не бременская фальшь, не гамбургская гаванская сигара, не прусское настоящее шампанское из Берлина (например, «влить кому щей на ложку» или однородное с заимствованным «всучить щетинку»). На своей родине эти «крылатые слова» несомненно имеют источник и указывают то место, где они народились и откуда, как вольные птицы, вылетели в мир Божий, стали порхать и перелетывать по белому свету. Такова, между прочим, первая, пришедшая на память, «навязать медведя», несомненно заимствованная с немецкого и употребляемая в смысле «одурачить». Один путешественник уверял немцев, что он видел в Польше, как два медведя съели друг друга дочиста. А в Польше знаменитый враль, пане Коханку (Радзивилл), рассказывал о том, как сам он изобрел для ловли тех же медведей повозку с острым железным дышлом, которое намазывалось медом. Охотливый до этой сласти зверь приходил и лизал все дальше и дальше, налягая на дышло до тех пор, пока конец последнего не

проходил целиком сквозь медвежью тушу и не показывался наружу. Тогда гайдуки, спрятанные в повозке, выходили, навинчивали на острие гайку, чтобы зверь не соскочил, запрягали лошадей и отвозили добычу в Сморгоны. Здесь, как известно, в самом деле существовала академия, основанная польским князем для выучки медведей пляске и умению показывать разные штуки.

В число домашних, коренных русских пустобаек (или, что тоже, «пустоговорок» и «приговорок») относятся, между прочим, те прибаутки и присказки, которые ищут только склада или замерли в своей первоначальной форме, давно утратившей смысл. На такие прибаутки охочи были наши недавние удалые ямщики, помахивавшие кнутом с веселым покриком на лихую тройку, вроде: «По всем — по трем! коренной не тронь, а кроме коренной и нет ни одной». Мотай-де себе на ус и смекай про себя, сколь мой обиняк остроумен и замысловат, сколь в нем много скрытого под иносказанием глубокого смысла и сколь я сам удал и весел, чтобы воспользоваться перед другими правом получить прибавку в казенной наводке, — не на косушку, а на весь полуштоф. Мастера были на такие «художества», досужества сбитеньщики, которых в наше время заставили примолкнуть и не орать по городским улицам и площадям с припевом и вприпляску: «Ульяна — Ульяна, садись-ко ты в сани, поедем-ко с нами, во нашу деревню, — у нас во деревне много див увидишь: курочку в сапожках, петушка в сережках, утку в юбке, козу в сарафане, корову в рогоже» и т. п. Горласты и самодовольны были

господа-пирожники, тоже известные остряки, любимцы толпы, находчивые на встречные вопросы поперечными ответами, вроде: «Ты зачем это продаешь пироги с тряпками: вот она у меня на зубах». — «А тебе за три-то копейки надо с бархатом, что ли?» И эти молодцы «с лавочкой на животе» также смолкли и шатаются с легким приговором козлиным голоском: «Пироги горячи!» (холодные-то!), или «С пылу, с жару!» (в обеденную пору после ранней утренней заготовки). Остряки-балаганные старики осматриваются, раешники приговаривают сонными голосами и не действуют так, как бывало в недавнюю старину. Благопристойность сохранена и городское благочиние соблюдено, но язык потерпел большой ущерб, потерявши источник обогащения. Всем известно, что из подобной болтовни многое поступило в обиход в значении пословиц и поговорок, и также стало нравственной притчей, руководящим житейским правилом и поучением в подлинной форме народного закона. Конечно, «иная пословица не для Ивана Петровича», потому что, по опыту, «не всякая пословица при всяком молвится».

Существуют в соседстве и недальнем родстве и такие прибаутки (пустобайки), которые уцелели как дорогое достояние веков и с той самой поры свободны и правы перед самой строгой цензурой. Они когда-то, в незапамятные времена, выдуманы, затвержены и обязательны до сего дня. Таковы сказочные прикрасы: «в некотором царстве, не в нашем государстве», «я там был — мед-пиво пил, по усам текло, в рот не попало». Конечно,

и эти — «присказка, когда сказка будет впереди» получают пословичное значение, когда умело приспособляются к тому или другому бытовому случаю и житейскому событию. Все равно: исходят ли они из местных обычаев или зависят от личных привычек людей, — их принимают в живую речь как приятных гостей. Народный вкус умеет гостеприимно обмыть их, очистить, наскоро принарядить и посадить рядом с испытанными друзьями и давно ведомыми знакомыми. В кучах складных слов, как в мусоре, умеют отобрать то, что годится и про домашний, и про общественный обиход. Перед сердитым начальником иной (по сказочному) «тише воды, ниже травы», если этот пустой человек, но грозный начальник (опять-таки по сказочному, застывшему навеки выражению) наскочит «выше лесу стоячего, ниже облака ходячего» (придерживаюсь в данном случае толкования, предложенного известным знатоком народной речи, до сих пор не имеющим себе преемника и продолжателя, В. И. Далем). Наконец, иные пустобайки прямо входят в тот разряд и вид крылатых слов и мимолетных изречений, на которые так способны и счастливы французы, и которые, под названием каламбура, имеют большой успех в обществе. Это — игра слов с двояким смыслом, является, например, в такой народной прибаске: «Я в лес (влез) и он в лес, я за вяз (завяз) и он за вяз (за то же самое дерево)».

Именно в этом отделе «пустословий» следует искать место того множества выражений, которые при всех стараниях в поисках, при всем напря-

жении в догадках совершенно не могут быть объяснены, потому что говорятся спуста, прямо с ветру и вздорно.

СКАНДАЧОК

Иногда вместо того чтобы сказать про человека, поступившего опрометчиво, сделавшего что-либо на авось, как ни попало или, проще, намах, говорят, что он отпустил скандачка, — и попался в беду. В редких случаях пользуются этим словом в ближайшем к настоящему значению смысле про таких людей, которые придумают ловкий оборот в разговорной речи или остроумный прием на выход из запутанных обстоятельств в общественном быту. Тогда говорят: он «поступил с кондачка», и при этом пишут слово в том виде, как оно теперь у нас напечатано. Здесь ошибка явная, по силе тех же укоренившихся обычаев — давать превратные толкования окончательно определившимся в языке словам и выражениям. Особенно страдает слово «нарочито», которым сплошь и рядом заменяют слово «нарочно», где прямо подсказывается и прилаживается оно в смысле умышленно, с намерением, тогда как нарочитый всегда сохраняет свое древнее значение (вышедшее из обычая) чего-либо отличного, значительного и даже именитого. Также точно ошибочно при описаниях в газетах каких-либо народных гуляний, благотворительных торжеств, детских елок и т. п. употребляют вместо «сласти» (как лакомства и сладкие закуски, покупные вещи фабрич-

ного изделия) — «сладости». Забывают, что последнее слово обозначает исключительно лишь качество всего сладкого на вкус и то ощущение его с последствиями услады и наслаждения, то есть всего приятного не только одним чувствам, но и душе. В слове, вызвавшем эту мимоходную заметку, некоторые усмотрели происхождение слова от названия духовной песни «кондака», всегда сопровождающей как продолжение и разъяснение другой церковной песни в честь Спасителя, Богоматери и святых праведников — тропаря. Ничего общего здесь нет, и ни в каком случае даже самого отдаленного смысла заподозрить невозможно. Тропарь есть такая церковная песнь, в которой или излагается образ жизни какого-либо святого, или указывается в общих чертах на образ совершения какого-нибудь церковного праздника. В соответствие тропарю, в кондаке воспевается в кратких выражениях христианское значение подвигов святых, славословится Спаситель или Богородица.

Значение нашего слова не потребует никаких натяжек и чрезвычайных поисков, если обратимся к картинам народного быта, и на этот раз прямо-таки к русской пляске, во всем разнообразии приемов. Можно плясать чинную великорусскую и разудалого казачка, ходить голубца и делать малороссийскую метелицу, то есть, становясь попарно в круг, каждой паре плясать на три лада бурно. Можно, с присвистом и вскриками, пуститься вприсядку, то есть, опускаясь внезапно на корточки, также быстро вскакивать навытяжку во весь рост. По пословице «и всяк

пляшет, да не как скоморох», потому что бывают изумительные мастера выбивать ногами штуки и откалывать разные колена. Вот такие-то добрые молодцы и делают «скандачок», то есть ловко и сильно ударяя пяткой в землю, немедленно затем вскидывают носок вверх. По этому начальному вступительному приему уже сразу видать сокола по полету, который несомненно и расшевелит стариковские плечи, и потешит глаза товарищей и молодиц. Он сумеет за скандачком и ударить трепака, то есть пустить дробный топот обеими ногами с мелким перебором. Разуважит он подгулявших зрителей всласть, по самое горлышко, и артистическими коленами вприсядку с вывертами и прискоками, для которых, впрочем, еще не выработано определенных приемов и точных законов, по примеру бальных и театральных танцев.

ИГРАЙ НАЗАД

Известно, что в нашем богатейшем языке существуют десятки названий иносказательного смысла, нежных — ласкательных и грубых, — укорительных, которые усвоены любимому народному напитку. Напиваются также каждый по-своему, сообразно с характером, званием и даже ремеслом. Говорят: сапожник настукался или накуликался, портной наутюжился или настегался, купчик начекался, приказный нахлестался, чиновник нахрюкался, музыкант наканифолился, немец насвистался, лакей нализался, барин налимонился,

солдат употребил, а дядя Семен Иванович нагрелся. Если всякий другой разночинец может наторопиться, то солдат в должное дозволенное время имеет право и подгулять. С одной такой компанией служивых один раз так и случилось. После приятельского угощения она набрела на скрипача-цыгана и заставила его играть. Играл он долго — устал. Пришло время гулякам расплачиваться. Самый богатый дал гривну. Музыканту показалось мало, и он варом пристал к нему, чтобы прибавил еще пятак, объявляя, что:

— Один камаринский больше стоит, а я сыграл его десять раз.

— Нет у нас ни гроша, хоть все карманы повывороти. На вот — испытай сам. А коли лишку сыграл, так сам давай нам сдачи: играй камаринского на пятак назад!

И НА СОЛНЦЕ ПЯТНА

Об отсутствии на земле вполне идеального человека без пороков и недостатков, объясняемом этим кратким пословичным выражением, говорят, таким образом, лишь в интеллигентных слоях общества. Народ из веков привык верить, что солнце — повелитель жизни на Земле, под влиянием которого находится все наше существование и все явления на земной поверхности — солнце, как некий Бог, чисто и непорочено. Оно не может быть запятнано: это противоречило бы достоинству и славе его. Оно должено светить во всю свою силу. Недостаток единого луча не

проходит даром ни Земле, ни всему живущему на ней. Тоска нападает на сердце, животные проявляют чрезвычайное беспокойство, птицы среди полудня располагаются спать, когда по каким-либо случайным причинам солнечным лучам что-либо мешает проникать до Земли, например, сгустившийся чад и дым во время громадных лесных пожаров, густые туманы и т. п. Но и в то время солнце является громадным бронзовым кругом, высветленным и вычищенным на славу. Если иногда кажутся на нем пятна, то это — либо мимоидущее облако, либо заслонила его какая-нибудь из звезд, которых так много бродит в беспредельном пространстве Вселенной между Землей и солнцем. Таким же точно образом думали и в Европе в то время, когда она только что начала просвещаться светом науки, но еще далеко не отреклась от схоластических верований. В 1610 году изобретена была астрономическая труба: вся поверхность солнца оказалась усеянною как бы рисовыми зернами (каждое зерно длиною в тысячу миль). Среди них попадаются черные точки («поры») и, кроме того, пятна. Последние в конце указанного года объявились разом трем наблюдателям и притом в разных городах и действовавшим независимо друг от друга. Фабрициус наблюдал в декабре, Галилей в октябре, а Шнейдер в марте 1811 года. Духовный начальник последнего астронома советовал не доверяться глазам своим в таком серьезном деле, а потому ученый принужден был воздержаться от обнародования своего наблюдения (двое первых не были столь трусливы и опасливы). В на-

стоящее время солнечные пятна составляют предмет весьма тщательного, всестороннего изучения: существует целый ряд гипотез, пытающихся объяснить происхождение, строение и жизнь солнечных пятен. Между прочим, удалось заметить зависимость некоторых явлений на Земле с числом солнечных пятен, — и притом эта связь поразительна. Когда на солнце большое количество пятен, то на Земле является большое число северных сияний и часто повторяются магнитные бури и т. п.

СТАРЫЙ ВОРОБЕЙ

Князь Кутузов молвил слово, —
Хоть нескоро, да здорово,
— Старый воробей!

(Из патриотической песни Отечественной войны: «За горами — за долами Бонапарте с плясунами»...)

Опытную птичку воробья, пожившего год-другой и налетавшегося по Божьему свету, не приманишь на те кучи, где сложена ворохом мякина (она же пелева и полова, древнеславянское и евангельское плевелы), — не обмануть птички этим призрачным видом сжатого и сложенного в скирды хлеба. В мякине нечем воробью поживиться: это — хлебный колос, избитый цепами в мелкую труху, от которого самым усердным образом отвеяно съедобное зерно хлебных злаков. За последним именно и гоняется эта маленькая

домашняя птичка, отличающаяся кратковременною жизнью и торопливостью истратить свой жизненный порох. Этим хлебным зерном она и жива. В Сибири, до прихода русских, воробей был неизвестен; с покорением же этой страны земледельческим русским народом и с заведением в ней пашен, прилетел и этот повадливый вор, вооруженный опытом и острым глазом, привыкшим отличать хлебные скирды от мякинных ворохов. В хлебородных местах этот вор притом же докучлив и настолько многочислен, что потребовал мистических заклинаний, признан проклятой птахой, породил особую легенду о своем происхождении от чертей, и в Малороссии приравнен к жидам. Тем не менее воробей счастливее многих людей, которым приходится — по пословице — «сеять хлеб, а есть мякину», «ходить по солому, а приносить мякину», примешивая ее в опару в таком избытке, что выпеченный хлеб кажется комком грязи, поднятым на проезжей дороге, а потребленный в пищу производит у непривычных людей острые желудочные колики и другие болезни. Такова, между прочим, судьба белорусов, питающихся так называемым пушным хлебом, который колет рот, язык и горло, но скудно питает. «Все едино — что хлеб, что мякина», — в отчаянии говорят там и в других бесхлебных местностях русского Севера в те времена, когда совсем нечего есть, и стучится в дверь и лезет во все окна настоящая голодовка: «Чем бы ни обмануть, только бы набить брюхо».

Голодный молодой воробей на мякину, по неопытности, сядет, — старый пролетит мимо. Старая

крыса почти никогда не попадает в мышеловку. Редкий счастливец излавливал старого ворона и даже старую форель. «Старого моржа-казака не облукавишь», — уверяют архангельские поморы, промышлявшие на Новой Земле. Причина чрезвычайно прозрачна и может остановить внимание лишь по нижеследующему обстоятельству.

Все старинные путешественники по полярным странам в одно слово, как будто сговорившись, рассказывают о глупости даже столь всем известного по своей хитрости зверка — лисицы. Рассказы их основаны на тех наглазных фактах, что лисицы попадали к ним в руки из самых незамысловатых, грубого устройства ловушек. При этом попадала не одна, а по несколько: зверек смотрел любознательно во все глаза, когда перед ним охотник налаживал пасти и сетки и клал съедобную приманку. Как только он уходил, лисица попадала в западню либо умной головой, либо быстрыми и сторожливыми мягкими лапами. Бывали случаи, что в течение четырех часов в одной ловушке попадалось до пятнадцати лисиц. Однако те счастливые времена прошли давно, остались едва вероятные предания, — в нынешние времена (как говорят) «народ хитер стал». Не столько человек успел изловчиться в измышлениях хитрых западней и в заметании своих живых и пахучих на чуткий нос зверя следов, сколько выучилось быть осторожным всякое животное. Много пало искусившихся зверей, как искупительных жертв, прежде, так что оставшимся в живых теперь осталось одно только — очень поумнеть. Так и сбылось.

В самом деле, для чего же и лежит приманка, как не для того, чтобы ее съесть? Для чего же протянута эта проволока, прилажены стойком и на́кось щепки и палки, на какие и глазам смотреть страшно? Вот в одном месте понавешаны сети, болтаются по ветру концы толстых и тонких веревок. Сколько лет и зим приходилось бегать по этим дремучим лесам, по веселым и светлым перелескам, а таких невиданных диковинок никогда не приходилось примечать. Все кругом внушает сильное подозрение, и зверь бежит прочь, как бы говоря про себя: хоть я вижу и чую, что ты зовешь меня в гости и угощение выставил напоказ — и я очень люблю мясо и есть хочу до тошноты, а не пойду: поймаешь, задавишь и шкуру сдерешь.

Лиса в самом деле на ходу постоянно держит нос против ветра, знает переулки и закоулки, входы и выходы: все это она точно удержала в памяти по наследству или с тех пор как довелось однажды подвергнуться опасности. Теперь, когда и самые дикие захолустья облюдели и ожили, этот ценный зверь к неизвестным предметам приближается медленно, что называется — на цыпочках, и недоверчиво обнюхивает издали, по ветру: каждый шаг для него подозрителен. Лису теперь можно поймать только на незнакомую ей приваду. Если же какую она раз испытала — к той не подойдет никогда. Она доучилась до того, что умеет притворяться мертвой: охотник думает, что положил лисицу на месте, а между тем она у него на глазах вильнула хвостом и — улизнула.

У архангельских звероловов есть ловушка, называемая «ставкой»: на толстом полене укреплены два ствола, к курку которых привязана веревка, выведенная под снарядом в ту же сторону, куда глядят дула. На конце веревки, конечно, привада: кто ухватится за нее и дернет, тот спустит курок прямо себе в лоб. Ставят ловушку на счастье: в большого зверя (медведя, волка) могут попасть обе пули. Небольших зверков убьет одна, обе же разнесут на куски. Обманутый промышленник подходит осмотреть ставку, — видит курки спущены, оба выстрела вылетели, а убитого зверя нет ни тут, ни вблизи. Разбросанные кусочки съедены и даже исчез тот, который привязан на веревке, а убитых не видать. Есть ямка, вырытая в снегу подле самых дул, и следы лапок можно различить и умятое телом местечко видно: была лиса да сплыла.

Не далась наука хитрости и осторожности только кое-какой полярной птице: гага, например, до сих пор еще ищет места для гнезда, выстилаемого ее драгоценным пухом, заходя на жилые дворы, к самым избам в становищах промышленников. Охотникам хорошо известно, что лиса любит замаскировывать свои следы, наступая на те, которые уже проложены зайцами, и потому, подкапываясь на этих тропах под следы, закладывают капканы. Всего чаще получают они здесь опять тех же зайцев с переломленными ногами. Заяц и капкан спустил, а лиса и не притронулась к тому кусочку ситца или крашенины, которым была накрыта вся ставка. Как бы то ни было, умному человеку снова нужно изловчаться при-

думывать что-нибудь особенное, изобретать невиданное и поразительное. Я припоминаю повсеместные жалобы архангельских промысловых людей на несовершенство и неудачи старинных самодельных снарядов, унаследованных от прадедов. Я встречал многих таких, которые придумывали улучшения, и знал одного, который усиленно допытывался до иноземных изобретений, заглядывая в книжные объявления и доискиваясь самых книжек.

— Надо пытать новые снасти, — говорил он, — иначе старого воробья мякиной не обманешь — он давно уже знает в ней вкус.

Малоизвестные лисьи проделки человек забыл, но наглазные, так сказать, ежедневные и наиболее известные ему воробьиные свойства перенес на себя и применил к тем людям, которые, при многочисленных опытах жизни, успели состариться: до такого превосходства, что не скажет слова спуста и не сделает дела спроста. Он всегда осматривается и одумывается, как бы его не обманули или как бы ему не обмолвиться. По пословице: «Старый ворон не каркнет даром, — либо было что, либо будет что».

КАНИТЕЛЬ ТЯНУТЬ

Из нагретой штыковой меди — да и из благородных золота и серебра — вытягивают проволоку и из нее, ухватив клещами и плавно подергивая, не спеша, и с великим терпением, позывают силою на себя, волочат нити и бити,

и тонкие проволочки, вытянутые в длину и кругло утонченные (это — нити) и затем сплющенные, до возможной тонины, а потому плоские (это — бити). Последние-то и называются канителью, которая с равным блеском и успехом навивается в фортепиано и арфах на басовые струны и употребляется на офицерские эполеты и для вышивания по сафьяну, сукну и бархату. Так как в последнем случае канитель погодилась на церковные ризы, то и надо полагать, что искусство тянуть ее перешло к нам, вместе с Христовой верой, из Греции, по крайней мере мастерили ее в тех городах, где много было святыни, монастырей и церквей, как в Киеве, Новгороде, Пскове и Москве. Когда Москва победила и ослабила все города на Руси, канительное дело перешло все сюда. В первопрестольной и в ближайших к ней шести селах четырех уездов (Московского, Бронницкого, Подольского и Богородского) оно свило себе прочное гнездо. Мелкие кустарные заведения ручными воротами тянут проволоку мелкими номерами, а плющат большие фабрики, работая обыкновенно конным приводом канитель крупных номеров.

Фабричному производству этих изделий минуло уже сто лет (первая фабрика, основанная около 1770 года, существует до сих пор), и в сравнении с иностранным наше далеко превосходит, да и самые изделия широко распространяются. В особенности большое требование на московскую канитель заявляют на Нижегородской ярмарке азиатские купцы и серебряную в большом количестве завозят в самую даль — в

Индию. Стало быть, и в самом деле тянули канитель столько лет — и не зевали. Впрочем, десять лет тому назад оборвались те именно нити и бити, которые шли в дальнюю Индию: спрос страшно упал и перепугал. Давай справляться по всем землям, по всем ордам — и господин Алексеев, первый московский канительный фабрикант, дошел до корня беды — ни ближе, ни дальше как у французов в Лионе и у немцев в Нюрнберге. Придумали там новый способ и довели канитель до 40-й пробы и непомерно удешевили, а наружный вид сохранили такой же. Купил москвич новые машины — и наладил дело. Теперь не только восстановился прежний спрос, но и несколько поднялся. С той поры клещи и вороты остались только у кустарей, и медленная работа, при которой волочебным нитям, кажется, и конца края нет, скоро перестанет служить притчею во языцех и стоять в числе насмешливых поговорок. Довольно, на замену его, про обиход и того уподобления, чисто деревенского и народного, которое применяется к человеку, медленно говорящему или вяло работающему, что он делает все это так, «как клещами на лошадь хомут натягивает».

ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ

По объяснению И. М. Снегирева («Русские в своих пословицах») на славяно-германском севере четверг был посвящен Турову или Громову дню (Thurstag). В этот день этому суровому бо-

гу, называемому славянами Перуном, молились о дожде. Проповедь Христовой веры обезличила языческую святость самого дня и обесцветила верования в старинного бога. Обо всем несбыточном стали говорить в смысле вышеприведенного выражения.

ЗАТРАПЕЗНЫЙ

Еще на нашей памяти, вплоть до пятидесятых годов, обучавшиеся в духовных училищах и семинариях дети бедного провинциального духовенства ходили в халатах, носивших название «затрапезных». Эти халаты представляли собою узаконенную обычаем и, кажется, обязательством форму для всех семинаристов, исключая лишь тех, у которых родители были побогаче. Те имели возможность одевать детей или в шинели, или в нанковые длиннополые сюртуки до пят, или, как острили сами семинаристы, «по сие время». Это обстоятельство пришло мне на память в виду недавно встреченного объяснения слова «затрапезный» именно тем, что подобные хламиды всего чаще можно было встречать за монастырскими обедами в трапезах. Отсюда же и самое название перенесено на всякое платье из материала самого дурного качества, поношенное, измятое и истрепанное, дозволительное только в монастырских стенах и терпимое лишь в семинарских классах, на плечах бедных семинаристов или мастеровых мальчиков. Известный М. М. Сперанский в подобной затрапезе при-

шел в ворота Александро-Невской лавры учиться, а потом в ту же лавру в торжественной процессии привезен был на погребение графом, знаменитым сановником, как крупная историческая личность, обессмертившая свое имя огромными трудами, каковы: «Полное собрание законов Российской империи» и систематический «Свод Законов». Эта резкая противоположность в его замечательной жизни послужила, между прочим, темою для надгробного напутственного слова.

Как бы то ни было, объяснение слова «затрапезный» несмотря на указанную легкость в изыскании корня — в этом смысле неверно. Произошло название вовсе не от того платья, которое носили семинаристы или в какое одевали бывшие помещики своих крепостных, содержа их в затрапезных или застольных покоях. Это — просто материя пестрядь, или пестрядина, или прямо «затрапез, затрапезник», получившая свое название от фамилии купца Затрапезникова, которому Петр Великий передал основанную им фабрику. Передал ее царь в поощрение способностей и полезной деятельности, подобно тому же, как это сделал с Никитой Демидовым, получившим от него уральский Невьянский завод, и т. п. Фабрика изготовляла пеньковую, грубую и дешевую ткань, пригодную для тюфяков, рабочих халатов, шаровар и т. п.

Столь различное применение пестряди в общежитии вызвало и разнообразные ее сорта. Эта пестрая или полосатая, чаще всего с синими по-

лосами, ткань в торговле до сих пор носит разные названия от ниток основы: третная, где одна нитка основы белая, а две синие; половинчатая: две нитки синие и две белые; погоняйка — в одну нитку редкими полосками, самая грубая; пу́танка — вся в полосатых крапинках; тяжина, в которой уток идет наискось, не образуя прямой решетки, как вообще принято. Есть еще скворцовая (по цвету), наволочная, рубашечная и прочее. С этой тканью отчасти соперничает и ее подсменяет голландский тик с косыми нитками и тоже полосатый, — по-видимому, образец и родоначальник нашего прославленного православного затрапеза.

ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ

По газетным рефератам одной из лекций профессора Тарханова, читанной в Соляном Городке, это обычное выражение получило следующее научное объяснение: многие, наверно, не подозревают, что выражение «искры (или звезды) посыпались из глаз», употребляемое для обозначения сильного удара глаза, не есть одно только фигуральное выражение. Оно заключает в себе реальный факт появления при ударе и производимом им раздражении действительных искр, дающих настоящий цвет. Несколько десятков лет тому назад в одном из германских городов разбирался процесс. Суду предстояло решить курьезный, при тогдашнем состоянии физиологии, вопрос о том: реален ли

или нереален свет от искр, посыпавшихся из глаз пострадавшего вследствие нанесенного ему удара преступником, нападавшим совершенно в темную ночь. Надо было удостовериться, насколько заслуживает уважения уверение пострадавшего, что этот свет помог ему тогда, в момент нападения на него, разглядеть преступника и настаивать на тождестве его личности с личностью подсудимого. Теперь уже в этом вопросе ничего курьезного нет. Теперь уже прочно установлено наукой, что световые ощущения и возможность зрительных впечатлений вызываются не только при раздражении сетчатки и зрительных центров. Они действуют и при всяком раздражении механическом или химическом, производимом измененной психической деятельностью, в зависимости от разных ненормальных условий, например, неправильного питания и т. д., и вообще от разных патологических причин. При болезненном состоянии сетчатки глаза, например, при воспалении, она совершенно не способна воспринимать извне световые ощущения. Между тем пред глазами больного постоянно целое море огня. Знаменитый физиолог Грефе рассказывает об одном старике, лишившемся зрения на четырнадцатом году своей жизни и уже в течение многих десятков лет не воспринимавшем никаких зрительных впечатлений. Его, после одного сильного душевного потрясения, стали преследовать разные видения иллюзорного и галлюцинаторного свойства, представлявшиеся ему с ясностью реальных образов, точно он был зрячий.

ДЕНЬ ИНОХОДИТ

Прислушался я к такому разговору двух мастеровых хозяев. Один толковал, другой поддакивал:

— Такой был парень-золото: работа в руках горела. Такого мастера поискать — во всем городе не найдешь. Да зашибал. Я и плату ему поднимал, — не унимается. Спервоначалу, как вышел из мальчиков в подмастерья, пошаливал вином с примеру старших за компанию. Дальше да больше, стал и загуливать. Надо говорить, не то, чтобы сплошь пил, не переставая, не прочухиваясь — к примеру, в запой, что ли, ударился. Нет. Украдет у тебя коротенькое воскресенье — в понедельник не работает, а там стал и вторника́ прихватывать. Я все терпел. Слышу, — ломается, выхваляться начал: мне-де цена мала, и мастера такого поищите, братцы, а найдете да покажете, я вам ведро водки ставлю. Стало мне это в обиду, начал я ему резоны сказывать разные всякие. А он и не слушает: повернет спину и пойдет в кабак, да еще пуще начнет заливать. Это уж из хвастовства, из одного бахвальства, чтобы поломаться надо мной.

— Знамо дело: на всем свете так-то. И в моем деле то же самое, — поддакивал слушатель. — Там он уж, поди, и в запой перешел?

— Да из запоя, бывало, когда выйдет, все еще золотые-то руки не покладывает. Работает чисто и усердно, словно, наверстывает, словно, и впрямь ему перед людьми совестно за все его

прежние прегрешения, за кабаки эти. Дрожат у него руки, да он их налаживает: ум-от при нем. Только диву даешься: дал ему Господь талан, и вот, мол, смиряет; он работает по-старому. А там опять закрутил...

— Значит, и у тебя, как у всех, по пословице: день иноходит, да два не ходит...

— Смотрю вот в газетах и читаю, что найдено тело неизвестного на спуске к Фонтанке. Пошел я — и доказал. Записали: предавался чрезмерному употреблению крепких напитков.

Подслушанное применение мимолетной пословицы требует некоторого пояснения, так как самое выражение очень метко и образно.

Первое слово взято от хо́ды лошади, то есть ее выступки и побежки, которые бывают, как известно, разных видов. Это — либо шаг, то есть простой переступ ноги, равный шагу человека, самая тихая побежка; либо это рысь, когда конь поднимает ноги накрест — левую переднюю и затем тотчас же правую заднюю и так далее в очередь: либо впритруску — мелкой рысцой, либо часто и размашисто — большой крупной рысцой. Либо, наконец, лошадь ходит иноходью, когда обе ноги одного бока заносит вместе, выкидывает разом, иногда с перевалом и перебоем, в три ноги — ни в тех, ни в сех: ни рысь, ни иноходь. С такой ходой, как иноходь — красивой перевалкой сбоку набок — знатоки не мирятся и говорят: «Иноходец в пути не товарищ». Это не всегда годная к работе лошадь, а чаще всего щегольская, то есть совершенно такая, что «день ходит, а два со двора не сходит», точь-в-точь

как говорят о пьяницах, в трезвом виде всегда исправных и работящих. Да и к одним ли пьяницам применимо это выражение: не заключается ли в нем отчасти знакомая черта вообще характера всякого рабочего человека, особенно по сравнению с мастеровыми из немцев?

ЗА ПОЯС ЗАТКНУТЬ

Несмотря на всем известную простоту и ясность этого выражения, употребляемого иносказательно в смысле быть доточником или мастером своего дела, — самое значение пояса невольно останавливает нас для кое-каких заметок. Мы не историю пишем, а потому не будем говорить о том, как в отмщение за позор и бесчестье по поводу сорванного пояса на сватебном великокняжеском пиру (с Василия Косого) поднялась война, имевшая следствием свержение с престола побежденного великого князя Василия Васильевича Темного. Словом, мы не будем объяснять исторического значения русской подпояски, так как за нею есть и другие достоинства. В самом деле, можно ли найти и указать, даже в настоящее время, хотя бы на одного простого русского человека, вышедшего из деревенской среды, который не имел бы на себе подпояски или пояса? Даже в тех случаях, когда городские обычаи заставляют надевать немецкое платье, деревенская привычка, скрытно для посторонних наблюдательных глаз, остается нерушимою и святою. Святым считается это непременное обязательство

в силу того, что при святом крещении всякий православный младенец опоясывается, при молитве о препоясании силою, ленточкой или шнурком по рубашке. Ходить без пояса по рубахе считается основным и тяжелым грехом, хотя и допускается в некоторых редких случаях неимение опояски сверх кое-какой мужской верхней одежды, например, кушака или подпоясника, то есть ремня с набором или пряжкою. Отсутствие этой туалетной принадлежности возбуждает у самых простых людей серьезное недоумение и вызывает искренние насмешки. Ни одна догадливая и любящая мать не пустит своего парнишку, рассеянного и необрядливого, без пояса на улицу в силу издавна укоренившегося поверья о порчах сглазу. И по пословице: «Рассыпался бы дедушко, кабы его не подпоясывала бабушка». У русских людей, наиболее преданных заветам старины, как, например, у раскольников, этот обычай получает даже строгое мистическое значение. Так, при молитве, налагая истовый размашистый крест во всю длину вытянутой руки, нельзя класть этого знамени поперек, то есть опускать ниже пояса. За крестным знаменем следует и малый начал или поклон святым иконам опять-таки поясной, то есть во всю спину. Уверяют при этом, что в старых людях, особенно принадлежащих беспоповщинским сектам, сохранилось поверье о делении человеческого тела на две половины: верхнюю — чистую, где помещается душа и сердце, и нижнюю — нечистую, где орудие плоти: «Все мы по пояс люди, а там — скоты». Во всяком случае каждая русская женщина имеет пояс, шерстяной, шелковый,

бумажный или плетеный нитяный домашнего дела, поверх сарафана, а в жаркое летнее время, при спешных работах в поле, пояс переносится прямо на рубаху. Заткнувши за этот пояс полу рубахи, работающая, как вол, и сильная русская женщина еще с большею легкостью, с усердием и без помехи отправляет свой честный труд поистине в поте лица своего. Даже и самая крестьянская нужда и деревенское горе являются в наглядном представлении не иначе как подпоясанными, хотя бы на этот раз и лычком. По длинной до самых пят белой рубахе подпояска, на левом плече серп, в руке ведерко с квасом, под правой мышкой охапка сжатых колосьев, — вот и жнея. Обе рукавицы, заткнутые обоими большими пальцами за кушак спереди, и кнут, круто заткнутый с боку, немного взад, — вот и удалой ямщик, поблекший уже на красивом фоне картин русского быта, стираемый с лица земли железными дорогами и изгоняемый кочегарами в засаленных и чумазых блузах. Топор назади, наискось по спине, закрепленный в петле кушака, означает плотника, приметного и Петербургу ранним утром с восходом солнца и вечером перед закатом его: нарубился, натесался, заложил топор за пояс так, что лопасть с лезом и обух с проухом пришлись снизу кушака, острием к земле, а деревянное топорище просунулось вверх к левому боку, — плотник теперь пошел спать и отдыхать. Все эти почтенные труженики, мастера своего дела, все налицо в приличной, издревле усвоенной форме. При них и орудие искусства и досужества и, между прочим, топор, острым носком которого

плотник попадает в промежутки растопыренных на бревне или доске пальцев товарища и не задевает живого тела благодаря приловчившемуся глазу и искусно набитой руке. Обязательный обычай и привычный прием при употреблении подпоясанного одеяния, конечно, вызвал и такие промыслы, которые удовлетворяют этим насущным потребностям. Не говорю о кушаках, для которых на Руси в разных местах мастеров очень много, но и такая мелочь, как узенькие пояски, обратила на дело ремесла очень многих. Очень славятся пояски тагайские из симбирского села этого имени и промзинские той же губернии Алатырского уезда (указаний на другие местности мы не имеем). Богатые семьи покупают шерсть, прядут, красят и потом раздают бедным женщинам на дом для плетенья. Такой шерстяной пояс продается не дороже двух копеек. Но ничего не может быть приятнее покупки на монастырском празднике или ценнее подарка знакомой богомолки, удостоившейся сходить к соловецким угодникам или киевским чудотворцам, — именно в виде подобного пояска, — изделия монашеских чистых рук. Как известно, и видно из вышеприведенного указания, эти руки отбили от мирян промысел изделиями столь нужного и распространенного предмета. В больших монастырях продажа поясов составляет изрядную статью дохода, крупнее всех для киевского Михайловского монастыря с мощами Варвары великомученицы. Эти пояса в особенности почитаются в народе вместе с медными и серебряными колечками, полежавшими у мощей в раке святой: ими богомолки в свою очередь

весьма с выгодою поторговывают, не без обычных обманов подделками. Особенно заманчивы и прекрасны на девичий взгляд шелковые пояски с вытканными молитвами — рукоделье женских монастырей: «По поясу-то пояски, а по пояскам-то поясочки (полоски) и слова молитовки нанизаны! И сколько тут много всякой благодати и спасенья!»

САМ БЬЕТ, САМ КРИЧИТ

Давно, очень давно было обыкновение, явившееся, собственно, по предписанию врачей (как remedium antispasmodicum) лечить брюшные завалы усиленным смехом. Чтобы достигнуть такого результата, чтоб нахохотаться вдоволь, в старину поляки брали преимущественно еврея, надевали на него тулуп вверх шерстью, для приличия опоясывали, давали в руку палку, выводили на середину двора, и потом спускали на него собак. Естественно, обороняясь, еврей бил собак и кричал на разные голоса (glosy), кривляясь по всевозможным направлениям. А от этого и произошла пословица: «Zyd sam bije, sam krzyczy».

Так объяснил господин Звенигородский эту старую польскую пословицу, проникшую, однако, и в русскую обиходную речь (см. Толковый словарь Даля), приведенную господином В. Пропевским как самый верный юридический аргумент в опровержение статьи Г. Гинзбурга («Спб. Ведомости», 1861, № 14). Объяснение

этого рода напечатано в журнале «Рассвет» (1861, № 46) — органе русских евреев. В сущности нам незачем было сюда ходить за справкой, так как стоит заглянуть на любую белорусскую ярмарку, где воочию не замедлят представить наглядные доказательства любой еврей (особенно же еврейки) — эти давние и непременные обидчики белорусских мужиков. В народной *привычке* и в племенных *свойствах* вернее следует искать подлинного объяснения. По-русски так не бывает, но с белорусами часто случается, если даже пойти на поверку по книгам волостных судов. Покупал мужик соль, да заспорил и выругал еврейку «жидюгой» и еще каким-то другим оскорбительным словом. Она обозлилась: схватила с правой ноги башмак «еврейским обычаем», отколотила этой пантуфлей обидчика по щекам и орала гвалт во все горло, сзывая соседок и мотающихся по улице жидков. Это с необыкновенною быстротою произошло у меня на глазах в городе Могилеве-на-Днепре, и если не били мужика в кровь, всем скопом, то потому только, что поспешила на выручку полиция.

ТУРУСЫ НА КОЛЕСАХ

Про иных ловких людей говорят так, что они умеют подъезжать «турусами», «подпускать турусы», то есть подправлять лестью медоточивые искательные речи, пристигать ими неприготовленных и неосторожных врасплох. «Нести же

турусы на колесах» — значит уже городить всякий вздор и болтать по-пустому, потому что «турусами» называется также сонный бред, обыкновенно бессвязный и пустяшный. В первом же значении это слово для объяснения своего отправляет нас в те стародавние времена, когда еще не был изобретен порох и на войне не были приспособлены огнестрельные оружия. Действовали стрелами в открытом поле и стенобитными машинами, когда защищающиеся уходили отсиживаться в города, окруженные рвами и огороженные бревенчатым тыном, сверху заостренным. В чистом поле против вражеских стрел русские витязи надевали доспехи, состоявшие из железной кольчатой брони (кольчуги), а иногда из дощатых лат (папорзи). Головы охраняли железными шлемами в виде воронки, а шеи — кольчужной сеткой. Про всякий случай имели они на руке большой деревянный щит, окованный железом и обтянутый сыромятной кожей — широкий сверху и суженный книзу и притом окрашенный в любимый русский красный («червленый») цвет. Когда расстраивались и ослаблялись неприятельские ряды войск тучами стрел и затем следовал неизбежно рукопашный бой, — пускались в дело обоюдоострые мечи, даже «харалужные» (то есть из восточной вороненой стали), копья или сулицы, секиры или боевые топоры и наконец ножи, которые даже у всяких из простого народа имелись всегда при себе либо открытыми за поясом, либо припрятанными за сапоги. Когда неприятели облагали осажденный город и прекращали самую возмож-

ность сообщения его с окрестностями, пускались в ход стенобитные машины, или «пороки». Из одних метали большие камни и бревна, из других зажигательные снаряды, чтобы теми и другими производить в городе разрушение и пожар. При неудачах против стойких прибегали к хитрым машинам в виде дощатых башен с отверстиями на боках, поставленных на низких и толстых колесах. Эти-то туры, или турусы, столь известные средневековой рыцарской Европе, знакомы были и монголам, завоевавшим Русь. Точно также темной ночью, после беспрерывных во все сутки приступов, подкатывали они их под самые стены и еще с большим успехом пускали в осажденных тучи стрел, и еще с большим удобством приставляли к стенам лестницы и лезли прямо в город. На деревянные русские города монголы пришли уже тогда, как выучились брать большие азиатские, укрепленные глиняными и каменными стенами, а не удобосгораемыми бревнами, как все наши русские.

К слову. Под этим заглавием вышла в Москве брошюра, намекавшая обличительно на темные дела тогдашней полиции. Обличала она в форме рассказов раевщика, столь излюбленной современными фельетонистами малой прессы. Этот давний и первоначальный их первообраз продавался в Москве в книжной лавке И. Г. Кольчугина по 20 копеек экземпляр, но вскоре очень быстро исчез из продажи: за нее охотно стали платить по синенькой и даже красненькой. Напечатана эта книга в 16-ю долю, в 1846 году, в типографии А. Евреинова, с одобрения цензора

Зернова (профессора математики). Заключала 24 страницы и начиналась так:

Вались народ
От Яузских ворот...

«Что честной народ повесил головушку на правую сторонушку? Иль плохо можется-нездоровится! Взглянь-ко глазиком, поздравь с праздником. Други, или забыли, как в старину жили? Ай люли-люли! в старину, в старину! Любо! народ простой тароватой, хоть золото греби лопатой. Были, были времена, не то что ныне от большого ума у каждого сума. И в двадцать лет уж постыл белый свет. Лихих болестей не знали, вин заморских не пивали, лишь мадеру Деверье, без посуды сорок две, медку да русской бражки, сердцу для отважки. Жили, братцы, не тужили, в пору други старались, за чужим добром не гонялись с багром, слову честному цену знали и на деньги совесть не меняли: вот как жили да поживали. Ахти старина-старина! Бывало крикнешь-гаркнешь, вались народ от русских ворот! Народ, как волна, и шапка полна»[1].

НИ ДНА — НИ ПОКРЫШКИ

— является в значении шуточной брани в России, в Сибири же советуют принимать пожелание это не за легкую шутку, а в самом строгом смысле

[1] Об этой редкостной книжке уже представлялся случай упомянуть в статье: «Правда у Воскресения в Кадашах».

зложелания. Там разумеют под дном гроб с неотъемлемой крышкой, будет ли он сколочен из досок, как у православных, или окажется выдолбленной колодой, как у беспоповщинских староверов, или «домовиной» — такой же однодеревой долбленой колодой, которую любят и православные в северных лесных губерниях, несмотря на то, что употребление колод запрещено законом. Эту домовину, в шутку называемую там деревянным тулупом, привычно сулят вору или обидчику («возьми себе на домовину»). Разумея завет всегда думать о смерти, верующие люди, особенно старухи, заранее шьют себе саваны и запасают гробы: саваны прячут на дне сундуков, гробы — на чердаках или подволоках. Соблюдают при этом лишь то поверье, чтобы гроб был в меру, по росту, ибо если окажется не в меру велик — быть в доме новому покойнику. Таким образом, заданное выражение, по сибирскому толкованию, оказывается самым злым пожеланием — именно быть похороненным без гроба, умереть без покаяния и возвратиться в лоно матери-земли без обрядового честного погребения. У малороссов заменяется оно одинаковым по смыслу: «Щоб тебе поховали на растаньках». А росстани, или распутье, то есть перекресток, где сходятся несколько дорог, — и в Великороссии недоброе место. На нем любят шалить черти (в Белоруссии они играют здесь в виде особых духов «вихрей»). Здесь в старину хоронили самоубийц, казненных преступников и злодеев всякого рода, по словам одной старинной песни: «промеж трех дорог, промеж тульской, рязанской, владимирской».

АЛЛИЛУЙЯ

«Несет такую аллилуйю, что уши вянут», — говорят по привычке и по завету от прежних людей и удивляются неприличию выражения. Между тем в Тамбовской и Пензенской губерниях сохранилось слово «алала, алалуя», что означает всякую чепуху, бессмыслицу и даже сонные грезы, ночной бред спящего. В ходу также глагол алалыкать — невнятно говорить, картавить, то есть объясняться либо с пригнуской, либо с пережовкой — мямлить; «алалуить» же означает, в прямом смысле, — болтать вздор[1]. Ясно, что здесь в говоре спутаны совершенно различные понятия, — явление, нередко замечаемое в живой речи, основанное на соблазне созвучий, вроде: «На тебе, Боже (вместо небоже — убогий), что нам негоже!» Но как объяснить бранные слова халдей и ха́лда — однозначущие и в равной мере обращаемые бранные прозвища (в первом случае к мужчинам, во втором — к женщинам) вообще к людям бесстыжим и грубым горланам на миру и наглецам в компании? Приписывать ли случайности, основанной на одном лишь необъяснимом созвучии, или отправляться за поисками в исторические справки? Известно, что греки и римляне, спознавшись с жителями междуречья

---

[1] Вместо аллилуйя говорят еще и «ахинею», что означает тот же вздор, чепуху, бессмыслицу, нелепицу, бредни, чушь, алалу — в прямом значении (по объяснению В. И. Даля), и пошлости, глупости — в переносном.

Тигра и Евфрата (Месопотамии), именно занятого издревле Ассирийским, или Халдейским, царством, невзлюбили их, и слово «халдей» обратили в бранное и укоризненное. Это слово у цивилизаторов древнего мира обозначало понятие шарлатана — звездочета и кудесника. Халдеи — изобретатели астрономии как искусства по звездам предсказывать будущее в то же время держались веры в демонизм, и последний вызвал сильное развитие в Халдее колдовства или магии. «Халды́-балды́ и ха́лды-ба́лды» как пустословие и одновременно праздношатательство с наибольшею охотою относит наш народ и посейчас к тому бродячему племени, которое старается прославить себя и тем, и другим (ворожбой и брехней), и которое явилось к нам из той же южной Азии и живет под именем цыган. Еще при патриархах халдеями назывались потерянные и бесшабашные люди, которые потешали толпу и в святочное время надевали хари, не считая позором для себя бесовские действа: беганье по улицам наряженными, с факелами в руках, буйства всякого рода, доходившие до того, что у проходящих они жгли бороды, если те не хотели откупаться от такого несмываемого позора деньгами. Их все презирали. Олеарий уверяет, что будто бы их по окончании святок всякий год крестили в Иордане, как вновь вступающих в число православных. Отсюда и не исчезнувший до сих пор обычай наряжавшимся на святках окунаться в крещенских прорубях, а в старину самое право наряжаться получалось не иначе как с патриаршего благословения.

НИ БЕЛЬМЕСА

Ленивый школьник ни «бельмеса» не смыслит очень часто, то есть в прямом переводе на русский язык — «ни аза в глаза», и еще прямее и точнее — «ничем ничего», то есть даже самой первой азбучной буквы: «аз, да увяз, да не выдрахся» — как привычно острили старинные семинаристы. Хотя к слову «бельмес» и прилажена настоящая поговорка «Не смыслит ни бельмеса, а суется бесом», тем не менее слово не наше, а заимствовано от татар, где этим именем честят всякого неуча-дурня и болвана, ничего не смыслящих. В Турции это слово также целиком годится в ответ не говорящему по-турецки, когда из слов его ни одно не понятно. Там «бель-мес» прямо значит — «не понимаю». В план настоящей работы по множеству уважительных причин не могло войти объяснение тех вращающихся в языке слов, которые взяты из иностранного целиком или по требованию русского языка и народного вкуса перестроены так, что потеряли свой прирожденный облик. Вот хотя бы, например, слово шарманка. Кто бы мог думать, что название этого музыкального инструмента зависит не от тех ширмочек, из-за которых обычно выскакивает с палкой и сердито покрикивает пресловутый хохотун и драчун Петрушка, а от немецкой песенки. С нею явились заморские нищие впервые, и незатейливый романсик так пришелся по вкусу нашим бабушкам и дедушкам, что потребовался русский перевод, до сих пор пользующийся всероссийскою известностью. Немец-

кая песенка известна под заглавием «Scharmante Catherine» (почему во всей Польше и на юге России самый инструмент называется еще проще «Катеринкой»). На русском языке эта песня томно и нежно докладывала о том, что «Во всей деревне Катенька красавицей слыла, и в самом деле девушка, как розанчик, цвела; прекрасны русы волосы по плечикам вились и все удалы молодцы за Катенькой гнались» и т. д. По тем же причинам и в последовании азбучному порядку не настояло необходимости и в объяснении забавного слова шеромыга, он же и шеромыжник, в значении плута и обманщика, промышляющего на чужой счет и незаконно народившегося от французского cher ami. Равным образом забыл я и о том, что «задать феферу», значит то же, что досадить и наказать, и прочее. В этой области исследований интересны не только сами передатчики и распространители, но и самый способ передачи и переделки чужих слов. Подобная задача иного характера, и ее несомненно исполнят другие, могущие и знающие. Попробую, впрочем, сделать несколько указаний из этой области «чужеземных переводных крылатых слов».

АЛТЫННИК

Бранное слово, обращаемое к скрягам, скупцам, крохоборам испытало ту же участь, как все старинные разменные монеты, названия которых остались в народной памяти под видом укоров и

насмешек. Алтыну — бывшей серебряной монете в 6 денег, или в 3 копейки, посчастливило лишь больше других в смысле частого упоминания до пятиалтынного включительно. До 30 поговорок и пословиц собрал В. И. Даль в своем Толковом словаре как выражений народной мудрости в применениях этого слова, из которых многие особенно характерны. Бестолковому, непонятливому человеку отвечают: «По-латыни два алтына, а по-русски шесть копеек». Крестинные обычаи установили правило, выраженное коротким обязательством: «от кума алтын (то есть деньги), от кумы полотно». Торговое правило вызвало изречение, объясняющее неизбежный закон во многих случаях взаимных обменов и договоров: «жалеть алтына — отдать полтину». Житейские порядки прямо указали закон, что без денег не обзаведешься хозяйством, а тем более достатком, — это значит коротко и ясно «алтыном постановка спора́». У скупого или очень расчетливого человека каждая копейка алтынным гвоздем прибита. Корыстник, мелочной и низкий взяточник обзывался в старину так «подьячий с приписью: урывай-алтынник».

Из остальных старинных монет или разменных единиц осталось в памяти народа лишь по одной поговорке. Когда разменивались кожами зверей (даже еще при Димитрии Донском), обращались в купле и продаже: ку́ны — цельные шкурки куниц, векоши — таковые от белок или векшей, резаны, то есть лоскутки от тех и других шкурок, ного́ты, или ножки, и лапки, и мордки, то есть рыльца. Вот и говорят пока (но очень

уже редко): «нужда куны родит»; «не дам ни мордки». Когда приняты были татарские обычаи вместе с домашними и торговыми, обзавелись счетами (вывезенными, по преданию, из Сибири именитыми людьми Строгановыми), обзавелись попутно кнутом и колом, приняты были вместо денежных пеней и рабства, для преступников, и татарские танги, то есть деньги, и медные монеты — пýлы. Память о последних сохранилась в названии полушки, но теперь исчезла мало-помалу со времен указов Петра, приказавшего вести счет рублями и копейками. Тогда исчезли эти полушки вместе с грошами и алтынами. Кое-где говорят еще «у Никула ни пула» и «за эту бородку давали две новгородки, да третью ладожанку». В последнем смысле по тому именно, что новгородцы чеканили свою монету издавна, татарской монеты не принимали, предпочитая ей иноземные, которых много поступало от ганзейских купцов. Полушка также поминается почти только в поговорках, и, например, в наиболее всем известной и наичаще употребительной: «За морем телушка полушка, да рубль перевозу». Теперь даже упрямые и устойчивые в старинных обычаях деревенские бабы захолустных мест нашего Севера перестали считать на алтыны и сóроки (не десятками и дюжинами, а как соболей по сороку в вязке и пучках, и как в Москве даже церкви). «Возьми сорок алтын!» — подсмеивается присловье над старичанками (торговками в тверском городе Старице, обычаями оправдывающем свое название). Отвечают: «Сороцы́ не сороцы́, а меньше рубля не отдам».

Замечательно при этом то обстоятельство, что деньга в смысле монеты в полкопейки или две полушки, исчезнувшая из употребления, осталась во многих местах в значении участка земли, достающегося на долю крестьянина. В этом именно значении известна пишущему эти строки деньга на месте его родины, в Кологривском уезде Костромской губернии, казавшаяся до сих пор странным исключением, труднообъяснимым народным выражением. А. А. Титов, наш известный археолог и ученый исследователь, в особенности своих родных (ростовских) местностей, в превосходном сочинении своем «Ростовский уезд» (Москва, 1885 г.) помогает в этом вопросе своими остроумными замечаниями и вполне основательным толкованием. Он, между прочим, говорит, что в селе Ильинском, в 40 верстах от города Ростова, других счетов и мер, как-то десятин и сажен, и в настоящее время не употребляют и даже не понимают, как деньги и полушки. Господин Титов ясно толкует это тем обычаем купли земель в складчину, который существовал в старину. Купленная земля разделялась между домохозяевами соразмерно внесенной сумме каждым. Денежка в отношении количества или пространства означает совокупность 14 пахотных полос, считая в полосе один, два и даже три загона, полушка — 7 полос, полуполушка $3^1/_2$ полосы. Денежка в значении ценности соответствует 100 рублям ассигнациями, полушка 50 рублям и т. п.

КРАСНОГО ПЕТУХА ПУСТИТЬ,

в смысле совершить поджог, объясняется заимствованием. У немцев этому выражению буквально соответствует «den rothen Hahn aufstecken» и малороссийское «червоного пивня пустить». У нас «подпускают» или прямо-таки «сажают» красного петуха на кровлю из мести за донос или преследование преступных деяний уличенные или пойманные, или наказанные злодеи. Обещанием поступить так держат они в страхе и вынуждают к молчанию целые селения, например, шайки конокрадов и других мелких воров. Поджигают селения беглые с каторги и мест поселения в Сибири, когда переполнится чаша терпения мирных жителей от частых набегов, краж и грабежей этих придорожных бродяг. За пойманных передних мстят поджогами задние, еще гуляющие на свободе. Первым делом проявляет свое существование на земле и в близком соседстве обвиненный в Сибирь арестант, проскользнувший мимо глаз тюремных дозорщиков на лесную волю и прогулку, и т. п. Петух издревле у славян и скандинавских народов служил символом бога огня, в умилостивление которого он приносился в жертву. Остатки этого обычая приношения, обезличенные и растерянные, говорят, существуют еще у некоторых славянских племен и у финнов. У древних германцев петух также был посвящен громовержцу Тору.

— (по-польски и по-украински также точно, слово в слово), бросает дело неудачный и вышедший из терпения после тщетной борьбы с препятствиями, и ежедневно погружается в глубокий и живительный сон сильно истомившийся рабочий человек. Он опускается на ночное ложе, как ключ или топор на дно. Иной человек, от всяких неудач в жизни и от своих прегрешений и личных недостатков, «пропадает, как камень на дно упадает». Нужно ли этому образному выражению искать начала (как уже сделали некоторые) в языческих временах и вести его от символического обряда бросать камень в воду при заключении мира с врагами? Так по крайней мере объясняли ученые наши. Да и вообще следует ли делать напряженные усилия для объяснения таких слов, которые ясны сами по себе?[1]

---

[1] Другое дело такие выражения, как, например, употребительный в г. Болхове (Орловской губернии) такой совет: «без козла с узла» — это значит в покупке или при продаже будь решительнее, чтобы другой не подвернулся и из-под носу не унес бы вещь, тебе очень нужную, или сам купец не раздумал бы и не попятился. Попадаются и такие поразительные случаи, как в Архангельске, где поговаривают до сих пор: «день ушел между чахи и ляхи», то есть не знаю куда ни в тех ни в сех, без дела, ни туда ни сюда, и не видал, как ушел, и в самом деле, как древний киевский князь Святополк Окаянный, про которого говорит летопись, что он «ушел между Чехи и Ляхи» и в Киев больше не возвращался.

ГАЛИМАТЬЯ

Жил себе в Париже врач, обладавший необыкновенным даром смешить своих больных в такой степени, что вынужденный смех служил освежающим и зачастую целительным лекарством. Приедет он, насмешит и уедет, не оставив ни клочка рецептов. Между тем больной уже почувствовал облегчение, обрадовался, похвастался перед знакомыми, всех удивил и соблазнил. Доктор — по имени Галли Матье — вошел в моду и получил обширную известность и практику. Его стали приглашать нарасхват и, конечно, затруднили ему личные посещения: надо было придумать новый способ. Он стал вместо себя рассылать своим пациентам печатные листки, в заголовке которых стояло его имя, а под ним разнообразные остроты и каламбуры. Отсюда производят обычай называть бессвязный и бессмысленный вздор, словесную чепуху именем и фамилией оригинального и счастливого целителя душ и телес. Впрочем, у народа для пустословов, вздорных болтунов, умелых городить такую чепуху, от которой вянут уши, придумали слово алалой (по звукоподражанию, как уже сказано раньше, от алалыкать или картавить, нечисто произносит буквы и слова).

В МАЕ РОДИТЬСЯ

В мае родиться (жениться), *век промаяться* — суеверно предполагают и наши коренные русские люди и даже поговаривают таким убеж-

денным и решительным образом: «В мае добрые люди не женятся». В последнем смысле и действительно так в хозяйственном деревенском быту: некогда разводить веселье и искать опоры в чужой и молодой силе женитьбой, — начинаются полевые работы одна за другой в таком изобилии, что «лба перекрестить некогда». «Захотел ты у мужика да в мае перепутья», — того, чем бы довелось ему угостить прохожего и проезжего. Запасного старого ничего уже нет — надо усиленно хлопотать о заготовке свежего и нового. Женятся осенью, когда оказывается достаток с излишком, на который можно и подарков накупить, и угощение добрым соседям предложить. По окончании полевых работ и досужее время к услугам. Таков закон для русской земли искони, откуда идет и предрассудок, обесславивший весенний месяц май.

В Риме в мае месяце отправлялись праздники ночным привидениям, называемым лемуриами. Тогда запирались все храмы, и все свадьбы того времени почитались несчастливыми, отчего произошла пословица: «Malum mense Majo nubere» (худо жениться в месяце мае). Вот откуда ведет начало и русский предрассудок, особенно сильно распространенный в образованном обществе и отсюда, через дворню, проникший и в среду простого народа. Нам она погодилась и полюбилась по созвучию: в мае жениться — целый век маяться, что фактически доказывается ежегодно и наглядными примерами, и статистическими цифрами браков в обеих столицах.

ВЫКРУТИТЬСЯ СЕНОМ

Выражение «выкрутиться сеном», сколько помнится, в Великороссии неизвестно, да, к тому же, и все подручные справки приводят к одинаковому заключению. Дальнейшие расспросы показали, что это крылатое слово известно в Польше, откуда перебралось оно в Малороссию. Слово объясняется следующим бытовым анекдотом: «При дворе польского короля жил пан Смолик. Его уговорили приятели купить в складчину бочку самой лучшей венгржины (венгерского) и выпить ее всю разом до последней капли тут же в погребе, не выходя за дверь его. Стали пить. С первых стаканов Смолик раздумал исполнить уговор. Когда товарищи порядочно подвыпили, он побился об заклад, что всех их вытянет из погреба веревкою, свитою из сена, которого очень много валялось на полу между бочками. Давши в руки одному клок сена, он начал крутить из него веревку и при этом, конечно, пятился задом, налаживаясь прямо к выходу и прикрикивая: «Держи крепче!». Когда Смолик совсем выпятился из погреба, то привязал веревку к крюку на стене, по счастью попавшемуся ему тотчас же на глаза, — а сам давай Бог ноги.

УЛИТА ЕДЕТ — КОГДА-ТО БУДЕТ,

а во всяком случае нескоро: надо очень подождать, потому что, как прилип этот слизень к листу или ветке, так и не движется. Деревен-

ские ребятки советуют посулить ему «пирога-гороховика», тогда улитка начнет высовывать два рога, а сама все-таки остается на прежнем месте. Выбрался же этот медленный ездок для поговорочного примера (как такой, который на том же месте, где родился, и погибает) — по созвучию с женским именем Улиты (Иулиты). Имя это в деревнях любимое, а какая же там баба и в особенности в нынешние времена необычайного развития отхожих промыслов не исполняет всех без исключения мужских работ и не делается умнее очень многих мужчин, особенно, когда овдовеет?

ХОТЬ ТРЕСНИ

Хоть разорвись, ничего не поделаешь; хоть тресни, хоть лопни, а дело заканчивай! — внушительно велит судьба злосчастному, и приказывает подневольному и подчиненному суровый хозяин или строгий начальник, зачастую сами непривычные и неумелые производить заказанную работу. Этому суровому приказанию выучил едва ли не тот хвастун, который, посмеиваясь над чужими пчелами, хвалил своих.

— Ульи те же, а пчелы ростом в кулак!

— Как же они попадают в улей, пролезают в узенькой леток (или лазок)?

— Пищит да лезет. У нас строго: хоть тресни да полезай.

НАФЫРО́К И НА ПОПА

На голом персте — именно на большом пальце правой руки, сгибая его взад, делают между обоими сухожилиями ямку: это — соколок. Привычные к употреблению нюхательного табаку этой ямкой пользуются как табакеркой, насыпая туда чихательного зелья ровно на две понюшки и на добрый прием за один раз. Те, которые носили табак в рожке, нюхали его не иначе как с этого «соколка», другие же с ногтя того же большого пальца, прижатого к указательному, и этот способ назывался уже нюханьем «нафырок».

В последнем слове в грамматическом смысле вышла особая часть речи, наречие, столь своеобразная и замечательная в нашем богатейшем языке, действующем с большею правильностью и свободою, чем все наши казенные и учебные грамматики. В данном случае характерно слитие союза не только с существительным именем (в именительном, винительном и предложном падежах), но и с наречием. Образовавшиеся через такое слияние наречия бывают не только поразительны, но и знаменательны своею неожиданностью. Так, например, «на попа», столь употребительное и известное в среде рабочих всякого рода, — значит: стойком поставить хоть что-нибудь, торчмя, например, товарный тюк или квасную бочку. Натощак едят пироги и ставят их напопа: начинкой к себе на вид, с намерением сдобрить ее сверху подливкой из рыбной ухи или мясного супа. Ставят на попа или тем же торчком рюху уличные мальчишки в игре «городки, или рюшки» выбитую из кона деревяшку и т. д.

ПИРОГ С ГРИБАМИ

У императрицы Елизаветы Петровны был любимый стремянный, человек атлетического сложения, крепкий телом и духом Гаврила Матвеевич Извольский, которого она иногда навещала в его уютном жилище, угощалась любимой своей яичницей-верещагой, блинами, домашней наливкой и прочим. Она позволяла ему говорить прямо правду, веря тому, что Извольский предан был ей душой. Это придавало Извольскому известную смелость, которая не могла нравиться придворным и могла при случае простираться до обидных дерзостей и незаслуженных оскорблений. Елизавета любила также награждать Извольского. Раз заметив, что он нюхает табак из берестяной тавлинки, она подарила ему серебряную вызолоченную табакерку устюжской работы с чернью. Гаврило поклонился до земли, но, взглянув на подарок, примолвил, что лучше бы, когда царица пожаловала золотую. Елизавета благосклонно выслушала просьбу и хотела уже идти и переменить, но стремянный заметил, что эта серебряная будет у него будничною, а та, золотая, праздничною.

Другой раз на именины этого Гаврилы императрица прислала ему пирог, начиненный рублевиками. Когда он благодарил за подарок, она спросила его:

— По вкусу ли пирог с груздями?

— Как не любить царского пирога с грибами, хотя бы и с рыжиками?

Завистливым придворным как-то раз удалось словить этого невоздержанного на язык и

зазнавшегося баловня на каком-то неосторожном слове. Вследствие доноса он попал не только в опалу но, как водилось, в óно строгое время, по выговоренному «слову и делу», — прямо в страшный Преображенский приказ. Там он высидел несколько времени и был прощен лишь по особому ходатайству своей жены.

С той поры, когда хвастались перед ним близостью ко двору, особенно те женщины, которых царица допускала к себе временами, когда, лежа на софе или в постели, любила слушать старинные сказки или городские новости, — всем таковым хвастунам Гаврило Извольский стал советовать обычным своим выражением:

— *Ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами*. Не разглашай, что бывал во дворце и говаривал с государыней. А не то жилы вытянут, в уголь сожгут, по уши в землю закопают!

«Такие угрозы, заимствованные из преображенских и константиновских застенков, нередко тогда употреблялись, когда хотели кого-либо пристращать» (по свидетельству московского археолога и бывшего цензора Ивана Михайловича Снегирева). Стало быть, едва ли не здесь, в этом анекдотическом случае, следует искать нарождение нашего, столь всем известного, мудрого пословичного совета и теперь строго предлагаемого на подходящий час и в опасное время.

ПОД КРАСНУЮ ШАПКУ

Только в недавнее время, как запугивающее, выражение это стало забываться в виду всесословной воинской повинности. Дрожь и трепет наводило оно, когда обращалось в особенности к тем, которые не освобождены были, как дворяне, от тяжелой солдатской лямки. Надевали шапку не красную, а лишь такую, которая не имела козырька, но в старину действительно всякий сдатчик, ставивший за себя рекрута, обязан был снабдить его красной шапкой, бердышом и прочим.

ТУРУ НОГУ ПИШЕТ

Бессмыслица одной очень старинной песни и другой таковой же сказки, смущавшая нас с детских лет и со слов нянек, останется таковою, если отправиться за объяснением к слову тур, дикий бык или зубр, некогда водившийся по всей Руси (теперь только на Кавказе в горах и в Беловежской Пуще Гродненской губернии), воспетый в былинах и упомянутый в известном завещании Владимира Мономаха детям. Поется в «старинах»: «Что царь делает?» — «Туру ногу пишет». — Стул подломился, царь покатился. Коза пришла. — «Где коза?» — «В горы ушла». — «Где горы?» — «Черви выточили». — «Где черви?» — «Птицы поклевали» и т. д. Когда же вспомним, что на Севере издавна, а в Архангельской губернии до сих пор «турок» и «тур» означает печной столб, основание которого,

называемое ногой, всегда расписывается красками очень пестро, то выражение становится совершенно понятным. Печка обыкновенно складывается из необожженных кирпичей на деревянном фундаменте — этом самом турке, который и обшивается у богатых крестьян досками и раскрашивается всего чаще красной краской фута на два или на полтора от пола. Оказывается, таким образом, что не только не молвится, но и не поется слово спуста.

НАСТОЯЩИЙ КАВАРДАК

Сытая и обеспеченная жизнь досталась на долю уральских казаков, но зато невеселая и тяжелая служба. Не будем говорить о несчастных походах в Хиву и Туркменскую степь, кончавшихся измором целых отрядов. Достаточно упомянуть о казачьей службе на сторожевых постах внутри Киргизской и Туркменской степей, чтобы понять тяжелые невзгоды жизни и походов в необитаемых пустынях. Это большею частью степи, покрытые толстым слоем сыпучих песков и отдельными песчаными холмиками, называемыми барханами, или те же пески вперемежку с твердыми солончаками и солеными грязями. С трех сторон облегли эти унылые, мертвые пространства землю Уральского войска, вдоль которой протекла богатая рыбой река Урал, по старому Яик — золотое донышко. Он-то и кормилец всего войска. Из-за него в течение двухсот пятидесяти лет казаки не нуждались в обработке полей

и хлебопашестве на землях, которые оказались чрезвычайно плодородными, производящими наилучшую во всей России пшеницу.

Придя сюда вот уже триста лет тому назад, казаки расположились селениями преимущественно на берегах Урала с притоками. Здесь отсиживались они от хищных кочевников и отсюда производили удалые набеги в степь для устрашения и наказания туркмен, хивинцев и киргизов. Тревожная боевая жизнь научила отваге, переезды по необитаемой голодной степи — осторожности не только против живого и дерзкого врага, но и против того, который подкрадывается незаметно и тихо, но бьет также наверняка и кладет насмерть после долговременных и мучительных страданий. Этот враг — голод, от которого не всегда в силах спасти и гостеприимный киргиз, будучи сам полусытым и круглый год впроголодь.

Отправляется ли казак на долгий срок сторожевой службы в степь, едет ли он разыскивать скот, который либо сам отшатился, либо отогнали киргизы, — во всяком случае уралец без съестных запасов не пускается. Между этими припасами едва ли не главное место занимает неизменный кавардак — ломти красной рыбы (всего чаще осетра), просоленные и провяленные на горячем солнышке и имеющие большое подобие с балыком. Он нарезывается ремнями, исключительно для домашнего потребления и в продажу не поступает. Тем не менее несмотря на свою глухую неизвестность, в своем месте и в нужное время, кавардак служит великую и неоценимую службу. Запихнет его казак на походе

в рукав, и, не слезая с коня, сыт и доволен. Кавардак ему пища и лакомство, и веселый собеседник, подобно тому, которыми являются для оставленных дома казачек арбузные и подсолнечные семечки. Он же служит за газету и книгу и подсменяет беседу, когда все переговорено и в глухой степи нет ни малейших поводов к обмену мыслями. Едет казак — и грызет кавардак. Он же, да еще разве песни про удалые подвиги, коротает и докучное время, и томительный путь, но, очевидно, не он, в своем настоящем невинном значении, принят в разговорный язык в известном условном смысле.

Мы (не казаки, а городские жители) привычно называем этим неподходящим словом всю ту бестолочь, раздоры и ссоры, которые развели и замутили искусно пущенные в оборот сплетни и всю ту хлопотливую суетню от бестолковых и опрометчивых распоряжений, которая кончается такими пустяками, что в них и не разобраться. Как бы в пояснение такой мути и путаницы в делах человеческих, — во многих местах варят настоящий кавардак, вроде болтушки. В нее, как в солянку, годится всякая всячина и чем больше, тем лучше, наудалую, что выйдет: лук и толченые сухари, соленый судак и свежая рыба. В густой и мутной болтушке, когда станешь есть, — ничего не разберешь, кроме хруста на зубах песку, который также полагается в числе приправ и принадлежностей этого невзыскательного бурлацкого варева, невкусного и сваренного в расчете лишь на привычные и голодные желудки. На Волге кавардаком зовут ловцы пшенную кашу, которую,

к нашему великому удивлению, варят там с рыбой, в явное доказательство, что русское горло, что бердо: долото проглотит.

С БУХТЫ-БАРАХТЫ

Кто поступает так, как понравилось ему на первый взгляд, без всякого предварительного обсуждения, не имея никакой надобности и без всякой определенной цели, — у того, конечно, очень часто выходят бестолочь и неудачи. Смысл таких поступков объясняется коротким словом «зря», сокращенным из «назря», на глаз, на зрение, как глянул или глянулось, или понравилось, так и сделал. Впрочем, в нашем языке, богатом на всякого рода эпитеты до поразительной роскоши, существуют для объяснения того же понятия другие однозначущие выражения человеческих дел и поступков. Таковы: наобум, опрометчиво, как ни попало, бестолково, ни с того ни с сего и т. д., — все-таки выходит «зря, что головой в копну» и «спустя́ рукава». Но если уже очень силен порыв «наобум» и слишком печальны последствия, то говорят о поступке «с бухты-барахты». Кто-то придумал какую-то бухту, назвал ее Барахтой, но до сих пор мы не встречаем еще такого знатока и бывальца, который бы указал нам, где находится и какого моря часть представляет собою эта бухта Барахта. Никому, как и первому автору этого выражения, не отказано в праве и возможности необдуманно говорить «с дуру, что с дубу», или, что одно и то же, поступать «с бухты-барахты» и в

самом деле при несчастном случае биться руками и ногами, как упавшие в воду: «бух и барахты». Для барахтанья достаточно подручной и спопутной речонки, а грудные дети умеют это делать, на утешение родителям, и на мягкой перинке.

СИЛА СОЛОМУ ЛОМИТ

Отвечая заинтересованным (на вопросы, полученные по почте) прошу их обратить внимание на самый состав указанного выражения в логическом и грамматическом смысле.

Под соломой мы привычно разумеем остатки, в виде стеблей, от обмолоченного хлеба всяких сортов и представляем ее себе не иначе как целым ворохом, непременно кучей, сгребенной лопатами в горку, в рыхлую груду. Отсюда охапками или теми же ворохами солома берется на подстилку и на крыши, на шляпы и другие плетенья разного рода, на поташ и даже на подпояску снопов. Вынутый из «соломы» одинокий сухой стебелек, от которого отбит колос и которым можно лишь в зубах поковырять, называется «соломиной», для надлома которой не требуется силы и смешно было бы вспоминать это слово и говорить о нем. Бессознательно требовательный к законам родного языка и руководимый навыком по слуху и правилам, завещанными дедами и прадедами, народ наш строг к себе в этом отношении. Ни в каком случае мы не имеем права подозревать нелепицы или темного смысла в изречении, которое он твердо установил в послови-

цу, обычно выработанную житейским опытом. Если бы он желал выразить смешную бессмыслицу, то сказал бы точно и правильно: «Сила соломину ломает». Между тем говорится вековечная правда, равно известная и испытанная всеми народами мира: «Ломит сила солому» — то есть могучее и властное побеждает слабое, хрупкое и ломкое. «Сила все ломит» (а не ломает) — говорит общеупотребительная поговорка. Ломать, переламывать может и слабая рука новорожденного младенца, но ломить и ломиться в состоянии лишь уверенная в себе крепкая сила: она напирает, валит, налегая, опрокидывая и руша. К тому же следует помнить о том, сколько надобится человеческих усилий, чтобы, пройдя все степени земледельческого труда, добыть про домашний обиход ворох соломы. Сколько мужественного, геройского терпения требуется для того, чтобы после трудов праведных иметь возможность и право подослать соломки, чтобы на ней отдохнуть, поваляться и выспаться. Силою одного человека это можно сделать, но обычно требуется на такие работы соединенный труд, помочь или толока. После работы испытаются — и ломота в спине, особенно когда жнут на корню выспевший хлеб и сажают его для просушки в овинах, и едкая боль в руках и плечах, и истома во всем теле, когда на токах отбивают спелое зерно и добывают солому и мякину, то есть высохшие стебли и избитые цепами колосья. «Нивка-нивка! — Отдай мою силку!» — отчаянно кричат суеверные бабы, катаясь по жнивью, когда кончат вязать последний сноп и завязывают ему бороду.

Некуда больше идти за объяснениями: если и жил-был на свете известный царь-горох, то про царицу-солому еще нигде не слыхать ни в сказках, ни в песнях, ни даже в загадках. Ни мифологические и исторические, ни бытовые и юридические да и всякие другие справки не представляют никакого выхода для толкований заподозренного в бессмыслице изречения, кроме приведенного сейчас.

ЕМЕЛИНА НЕДЕЛЯ

Болтуна и враля, принявшегося за свое привычное и досадное ремесло, слушатели останавливают, когда он сильно и бойко развяжет язык, — выражением: «Ну, мели, Емеля, твоя неделя!» Породил ее, очевидно, обычай, издревле установившийся в крестьянских хозяйствах, особенно во многосемейных, держащихся старинных уставов и прадедовских порядков, — работать по очереди, в сроки, всем бабам-невесткам и взрослым дочерям-невестам. Эти занятия уряжает либо свекровь, либо, за ее смертью, старшая невестка, занимающие в семье должность большухи-заказчицы. Большею частью каждая из младших работает понедельно. Понедельно бабы стряпают, мелют крупу и зерно на ручных жерновах. «Вот ты, баба, зерна мели, — говорит муж жене, — а много не ври, а мели хоть день до вечера!» Понедельно бабы смотрят за коровами, доят их и сливают молоко и т. д. Это объяснение, конечно, не отрицает права и не отнимает возможности искать его и в очере-

дях отправления церковных служб и духовных треб соборными священниками в городах и больших селах. Издревле они правят требы недельными «чредами». В самом слове «треба», по толкованию В. И. Даля, не только заключается смысл отправления таинства и священного обряда, но предполагается связь со словом «требити», то есть очищать от всякой скверны плоти и духа, как требятся плевелы при веянии хлеба. Что же касается до значения очереди в смысле чреды, то она обязательна не только священникам, но и архиереям для заседаний в Святейшем Синоде. Собственно же для священников, по давнему народному обычаю, нет череды только лишь на мельнице: когда священник или дьякон привезут свой хлеб, мельник старается поставить их на очередь прежде всех других, ожидающих помола. Для этих установлен другой закон, точно и беспрекословно соблюдаемый в деревнях и ясно высказанный пословично: «Не попал в свой черед, так не залезешь вперед»; «Жить на ряду — вести череду» и «Чей черед, тот и берет» — правила, неохотно соблюдаемые лишь в больших городах и особенно в столичных, против чего недавно придуманы и приняты так называемые «хвосты» в театральных и железнодорожных кассах и т. п.

ЧОХ

«На чох здравствуй!» — поздравляй, желая доброго здоровья тому человеку, который, невольным образом, напряженно чихнул, — таков

обычай повсеместный в России. Он исчез лишь в больших городах и в среде интеллигентных обществ, где не только выговорено, но и применено к делу твердое убеждение, что «на всякой чих не наздравствуешься». Свято соблюдаемый в селах и деревнях обычай старины применим не только к людям, но и по отношению к животным, например, к лошадям, вызывая оригинальное исключение. Чихнувшему коню следует поздравствовать, но тотчас же и обругать, например, так: «Будь здорова, черт бы тебя драл».

С глубокой древности чихание считалось известного рода знамением. Когда Ксенофонт убеждал свое войско сделать нападение, то каждый чихал, и это заставило прибегнуть предварительно к очистительной молитве. Напротив, тот же Ксенофонт избран был полководцем только потому, что каждый чихал во время его речи. Полагается, стало быть, чихать вóвремя и кстати. Чихание с полночи до полудня признается вредным. Точно также нехорошо чихать за столом. С полудня до полночи, напротив, чихание — хороший знак. Особенно же много обещает оно, когда при совещании оба собеседника чихнут одновременно. К Фемистоклу, во время жертвоприношения, привели троих пленных. Каждый чихнул вправо, и жрец указал Фемистоклу на это как на предвестие победы. Если кто чихнет при разговоре, то это принимается за подтверждение справедливости сказанного. Уже Телемак подчихивал на слова Пенелопы в «Одиссее».

У нас, впрочем, этот непокинутый обычай успел уже подвергнуться насмешке, выразившейся

непонятными приветами и ответами. Чихнувшему говорят: «Салфет вашей милости!» — находчивый привычно отвечает на это: «Красота вашей чести!» В прошлом веке, когда в язык ворвалось множество странных выражений даже в среде высшего и фешенебельного общества, говорилось там серьезным тоном, — теперь этот привет посылается в шутку. Удерживался и этот язык, и этот привет по заимствованию в среде лакейского сословия, когда еще прокармливалось оно богатыми барами, во времена крепостного права. Охотнее теперь желают после чиху так: «Сто рублей на мелкие расходы!» Теперь более убеждены в том, что «в чох, да в жох, да в чет нельзя верить», а потому и придумано такое бранное пожелание: «Чох на ветер, шкура на шест, а голова — чертям в сучку играть!»

ГЛУПАЯ БАБА И ПЕСТУ МОЛИТСЯ

Пословица народилась от побасенки, как одна старуха вздумала помолиться Богу в церкви. На селе она сроду не бывала и, встретив на пути мельницу, приняла ее за храм Божий: к тому же и на мельницах она сроду не бывала. Знавала только попов, которые наезжали, по указным праздникам, «со славою». Приводилось и ей давать им «отсыпного»: мукой, крупой, пшеном, откупалась и печеным хлебом, свежими яйцами и т. п. Спрашивает она бородатого старика, всего выпачканного мукой: «Не вы ли попы будете?» — «Мы». — «А где у вас тут Богу помо-

литься?» Он ей указал на толчею: «Вот тут!» А в ней, по обычаю, ходят на рычагах деревянные бойцы-песты, да постукивают, и все себе толкут, не уставая и не останавливаясь по указанному издревле закону: «Пест знай свою ступу». Глупая баба и помолилась песту: больно уж он сильно ворочает и словно бы и сам шепчет какую-то молитву, подсказывает.

Такой же путь для розысков объяснения темных пословиц в народных сказках, притчах, рассказах и побасенках указывают и прочие родственные нам племена. Между прочим, мне привелось встретиться в Белоруссии с очень распространенной пословицей, очень непонятной с первого раза, но нашедшей полное и ясное объяснение в сказке. Говорят: «Пускай тот середит, кто вверх или на небо глядит». Оказывается, что шла себе путем-дорогой лисица и нашла поджаренную говядину, а подле налаженную железную пасть. Догадавшись, что это ловушка, она не притронулась к мясу, а дождалась медведя. Спрашивает его: «Куманек-голубчик, ел ли ты что-нибудь сегодня?» — «Нет, кумушка-голубушка, не случилось». — «Ну, пойдем, я сведу тебя в такое место, где хорошая пища лежит. Сама бы я съела, да сегодня середа: ведь я католичка». Подвела лиса медведя к той говядине. Лишь только он сунулся к ней, как железо обхватило его поперек и подняло кверху. Лисица взяла кусок и съела. Медведь с навесу говорит: «Кумка-голубка, ведь у тебя сегодня середа». — «Эх, кумок-голубок: нехай той серадзиць, кто у гору (вверх) глядзиць!»

* * *

В прогнивших насквозь бревнах деревянных, преимущественно сосновых, жилых строений нередко заводится насекомое из того множества пород этих животных, которые питаются древесиной, пробивая в деревьях прихотливые лабиринты. Одно из таких, после выхода из яичка в виде гусеницы и после превращения этой последней в червячка или личинку, знакомо не только всем деревенским людям, но и столичным дачникам. Обладая, как все личинки насекомых, необыкновенным прожорством, эта гусеница докучна беспрестанным стуком, подобным бою часов или глухим ударам молотка. Такой стук нервных людей способен доводить до полного отчаяния, а для суеверных служит, подобно весеннему пению кукушки, поводом к загадыванию на число лет, какое доведется прожить тому человеку на свете. Стукнуло насекомое последний раз и замолкло — значит, *стукнул последний*, по счету, *год или час жизни*. Пришел конец — конец концов и делу всему аминь!

СОДЕРЖАНИЕ

КРЫЛАТЫЕ СЛОВА

МОСКОВСКИЕ ПРАВДЫ

ПО-РУССКИ

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ МАКСИМОВ

КРЫЛАТЫЕ СЛОВА

Редактор *И. Шурыгина.* Художественный редактор *И. Лопатина.* Технический редактор *Н. Привезенцева.* Корректор *Н. Вильде.* ЛР № 030129 от 02.10.91 г. Подписано в печать 22.06.95. Уч.-изд. л. 18,5. Издательский центр «ТЕРРА». 109280, Москва, Автозаводская, 10, а/я 73. Оригинал-макет и диапозитивы подготовлены ТОО «Макет». 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Первомайская, 21.